

РАСПЯТЫЕ



РАСПЯТЫЕ



Писатели —
жертвы
политических
репрессий

АВТОР-СОСТАВИТЕЛЬ

Захар Дичаров

ВЫПУСК 3

Палачей судит время

Историко-мемориальная комиссия
Союза писателей
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
Отделение издательства «Просвещение»
1998

УДК 929
ББК 83
Р. 24

*Настоящее издание осуществлено
на средства депутатского фонда
Председателя Законодательного собрания
Санкт-Петербурга
Юрия Анатольевича Кравцова*

От имени писателей Санкт-Петербурга
выражаем ему искреннюю признательность
за сочувствие и помощь

Распяты́е. Писатели — жертвы политических репрес-
сий: Вып. 3. Палачей судит время / З. Л. Дичаров — авт.-
сост. СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1998.— 255 с.:
ил.— ISBN 5-09-002457-X

В третьем выпуске книги продолжается трагическое пове-
ствование о писателях — жертвах сталинских репрессий.

© Издательство «Просвещение»,
Санкт-Петербургское отделение, 1998
Все права защищены

ISBN 5-09-002457-X

РАБОТА НАД СЕРИЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОДОЛЖЕНА

Кажется, первым был расстрелян Николай Гумилев. После него одного за другим сажали, ссылали и расстреливали писателей, поэтов, критиков — всех, кто имел дело со словом. Сло́ва всегда боялись власти России, но советская власть, как никакая другая, боролась ложью и репрессиями. Чудовищные дозы того и другого не могли заглушить страха правителей. Из всех слоев интеллигенции более всего пострадали писатели. Репрессиям подвергались ученые, композиторы, врачи, артисты, словом все творческие работники, хуже всех, однако, пришлось писателям. Судите сами: писательская организация Ленинграда насчитывала в разные годы в среднем 200 человек, репрессировано было 140, из них расстреляли 70 человек. Чудовищный процент! Всего же считается по Союзу репрессировано почти 2000 писателей.

Стоит вспомнить, что за годы Великой Отечественной войны на фронтах погибло 20 ленинградских писателей, в блокаду умерло от голода и обстрелов 50 человек, то есть годы сталинского террора уничтожили столько же, сколько Великая Отечественная война.

Несмотря на реабилитацию, до сих пор имена многих писателей, их истории всячески замалчивались. Между тем, без них немыслима история советской литературы, да и всей нашей культуры. Потому что такие имена, как Дмитрий Лихачев, Михаил Лозинский (переводчик Данте), Давид Выгодский, Осип Мандельштам принадлежат мировой культуре. Все они в разные годы были репрессированы.

И вот, начиная с 1981 года, писатель Захар Дичаров взялся за сбор материалов и документов, задумав выпустить серию книг об этих людях — «Распятые». В 1993 году вышла первая книга «Тайное становится явным», в 1994 — вторая — «Могилы без крестов». Ныне выходят в свет третья — «Палачей судит время» (название характерное — у нас суд над палачами вершит лишь неторопливое безмятежное время, общество от этого суда устранилось) и четвертая книга — «От имени живых...»

Третья и четвертая книги выходят в 1998 году. Перерыв вызван отсутствием средств. Эти две книги как бы завершают мартиролог. В них можно найти погибших в тюрьме таких замечатель-

ных прозаиков, как Василий Андреев, Леонид Добычин, Григорий Белых (соавтор А. Пантелеева по «Республике ШКИД»), детский писатель Ян Ларри, искусствовед Давид Выгодский, литературовед Григорий Гуковский, поэты Николай Клюев, Николай Олейников, Борис Корнилов, Александр Введенский. Все они были расстреляны или замучены. На мемориальном кладбище в Левашове, куда в тридцатые годы свозили тысячи трупов расстрелянных, сваливали их в рвы, я увидел символическую могилу Бориса Корнилова — деревянный крест под сосной.

Серия «Распяты» — дань нашей памяти писателям — жертвам сталинской эпохи, первый, далеко не полный свод. Трагические подробности их гибели до сих пор далеко не раскрыты. Лишь некоторые детали, даты время от времени удается узнать. Работа над этой серией будет продолжаться. Должна продолжаться.

Даниил Гранин

ВОЗМЕЗДИЕ?.. НО — КОМУ?

Стремительно мчится время. Стирает рубцы на лике Земли — могилы с прахом замученных Сталиным.

Кто и когда за это ответит?

...за все могилы в тундрах Севера,
в таежных чащах и болотах;
могилы — красные от клевера,
соленые от слез и пота?.. *

Кто?..

Не мы, а оно — Время судит человечество, открывая прошлое, предрекая будущее. Это оно требует ответа. И за то светлое, чем земля наша была славна и воспета, и за все уродливое, страшное, Богом наказуемое, что сбылось.

Нынешние поколения — и вчерашние мальчишки и уже зрелые мужи — не в состоянии понять событий сталинщины: как во все происходившее поверить? Дым не рассеянных иллюзий, слепая вера в них, самообман, с которыми никак не расстаться, все еще застилают глаза. И стало быть верно и справедливо сказанное Б. Н. Ельциным: «...много людей искалечено большевистским мировоззрением, слишком глубоко вошло оно в сознание определенной части населения...»

Еще с давних времен известно: «Умирает тот, кто забыт». Но что-то все тише, все глуше звучит жгучее слово правды о сталинских репрессиях и на радио, и на телевидении, и в прессе. Почему?

Миллионы жизней раздавлены железной пятой Сталина. Неужто они позабыты?

В. И. Даль толкует в словаре память как «свойство души хранить сознание о былом». «Отец народов» не отвергал подобного: тысячи угодливо написанных книг, брошюр о партийных деятелях, о героях истинных и мнимых, заполнили библиотечные полки. Но что в них? И факты, и сам исторический процесс толкования ложны, фальсифицированы. Искажения поощрялись. Изворотливые руки продажных писак лепили идеальный образ «великого вождя». Издательствам строго предписывалось: историко-революционную литературу печатать миллионными тиражами. Денег на эту элитную макулатуру не жалели.

* Стихи Захара Дичарова

А вместе с тем было приказано: не только стереть с лица земли «врагов народа», но и память о них предать вечному проклятию и забвению. Был Тухачевский — и уничтожен. Был Мейерхольд — и не стало. Были Борис Корнилов, Осип Мандельштам, Николай Клюев — поэты земли русской — и всех единым росчерком пера отправили в расход.

Никакие заслуги значения не имели. Чудовищная гильотина рубила головы и днем и ночью. Писатель Владимир Матвеев, известный своей книгой «Золотой поезд», в годы гражданской войны был комиссаром поезда, вывозившего золотой запас Республики из Сибири. Сквозь кольцо восстаний, облав и боев он доставил сокровища, спас золото страны. Но самого Владимира Матвеева ничего не смогло спасти. Он был арестован, сослан, расстрелян.

Однако смертный час еще не становился точкой в злосчастной судьбе казнимых. За этим следовало молчание. Чтобы о них больше — ни слуху, ни духу. Нигде и никогда. Вымарывать имена из учебников! Вырывать страницы! Предавать сожжению! Не произносить преступные имена вслух...

Спустя годы нашло отклик сказанное некогда русским публицистом Михаилом Меньшиковым: «Нигде не умирают так основательно, как в России. Люди падают в землю почти как камни в воду. Зарыт — забыт...»

Увы и с ним произошло то же: по приговору ЧК его расстреляли в 1918 году.

Кто ныне его помянет?

Христианин, размышляя о Боге, видит его в образе седобородого старичка в позолоте. Для него Бог истинный — есть вездесущность, чей удел — весь мир, вся Вселенная. Истинный образ Его неуловим.

Мы говорим: Сталин, сталинщина и пытаемся внутренним зрением представить себе, что он, Сосо Джугашвили, что оно — содеянное им зло?

Об этом уже говорилось бесчисленно. Ищут ответа философы и публицисты, художники и литераторы, просто люди, но он все еще в некоем туманном облаке, этот образ; и каждый раз, когда идет речь о его жертвах, возникает потребность заново всмотреться в его, будто вырубленные из камня черты.

Судить нечто недоказанное, нереальное нельзя.

Но как странно перекликаются иногда эпохи: в 1880 году в нелегальном «Листке народной воли» № 2-Николай Михайловский писал о председателе «Верховной распорядительной ко-

миссии по борьбе с революционным движением» графе Лорис-Меликове: «Он опустился до роли палача, он растопчет суд, правду, жизнь, но сделает это так, что наивные люди увидят только мягкие движения лисьего хвоста...»

Спустя полвека не приложим ли этот образ и к лику «вождя народов»?..

Итак, доказанное первое: Александр Фадеев — первый судья Сталина и его партии.

Через год после смерти «вождя», 13 мая 1956 года, сын Фадеева, школьник, обнаружил отца в его кабинете мертвым с огнестрельной раной в груди. Рядом — револьвер и тут же письмо на котором начертано: «В ЦК КПСС».

«Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии, и теперь уже не может быть поправлено. Лучшие кадры литературы — в числе, которое даже не снилось царским сатрапам, физически истреблены или погибли благодаря преступному попустительству власть имущих; лучшие люди литературы умерли в преждевременном возрасте; все остальное, мало-мальски способное создавать истинные ценности, умерло, не достигнув 40—50 лет».

Заключительные строки предсмертной исповеди Фадеева звучат как погребальный звон по самому себе: «Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавления от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из этой жизни...»

Понадобилось почти 30 лет, чтобы это письмо увидело свет.

Мертвый тащит за собой живого. И живого настигла казнь, совершенная собственной рукой.

Только в чьем-то расхожем представлении Высший суд — это важные господа в мантиях, многоречивый адвокат, суровый прокурор, обвиняемый за решеткой.

Не было такого суда над Сталиным.

Палачей судит Время.

Оно приступило к этому давно, едва ли не с первых лет революции.

Этот Суд вершился в тайно скрываемых дневниках, в письмах безвестных жертв «Чрезвычайки», в перестукиваниях тюремных узников, в беспощадных разоблачениях и тут и там, за рубежом, исторгнутый всеми, кто был против.

Он продолжается и поныне, этот Суд.

Ибо палачей судит Время. Свидетели? Они — есть.

Второе: Страх.

В средние века палач выходил на помост в глухом капюшоне и черной маске: угроза возмездия леденила его жилы. Была ли маска у Сталина? Была. Для него ею стала «Партия» — «монолитно-единогласная»: «Все, как один!»

Лишь несколько минут требовалось «тройке», чтобы решить судьбу арестанта: жизнь или смерть? Лишь сутки, чтобы привести приговор в исполнение. Сталин избрал страх как способ противостоять социальному и экономическому краху, к которому страна подошла вплотную в 30-е годы.

На страхе держался жестокий, неслыханный по размаху социальный эксперимент, исходивший не столько из теоретических постулатов марксизма, сколько из жажды тирана вознестись на недостижимую высоту. И чтобы никакой оппозиции! Главная мера — сохранить личную власть. Все, что мешает, убрать!

Нескончаемое народное горе баюкало эту реальность.

Самым частым термином, который встречался в прессе 30-х годов, было слово «бдительность». «Вождь» не верил своему народу. Теперь уже известно: одной из движущих причин сталинского террора был его личный страх. Страх перед тем, что угнетенные могут восстать, что доверенные лица предадут, уничтожат.

В апреле 1885 года Ф. Энгельс писал В. И. Засулич: «...русские приближаются к своему 1789 году. Революция должна разразиться в течение определенного времени, но она может разразиться каждый день. В этих условиях страна подобна заряженной mine, к которой остается только поднести фитиль».

Сталин страшился того, что возмущение его кровавым царствованием может достигнуть высшей точки и смести режим беспредельного насилия. Это был параноик, охваченный постоянным страхом. Он был труслив, низок, и расстреливая и подозревая всюду заговоры против своей особы, превратил свое правление в оргию жестокости и предательского лицемерия.

Поэтому он правил народом-исполином с помощью кнута, имя которому страх. Запугать. Устрашить. Заставить вечно дрожать за себя, за своих близких...

Но тот, кто возлагает ответственность за зверства и произвол «года 1937-го» только на Сталина, Берию и иже с ними, совершает ошибку. Они виноваты прежде всего в том, что создали такую систему коммунистического правления, которая уничтожала Человека, его Мысль, утверждала крепостное право в деревне и всеобщую нищету, зажимала рот всем, кто пытался сказать живое слово, пожизненно держала в железных веригах цензуры, губила малейшее духовное дерзание.

У тех, кого не расстреливали, а бросали на многие годы за решетку, жизнь была не отнята, но отнято самое драгоценное в ней — возможность творчества.

Вспоминаю, как из сырой баржи на крутой берег вблизи Воркуты мы толкаем тачки с углем — я и худощавый, сутулый грузин Сандро. Измотаны, обессилены. Присели.

— Ты знаешь, Захар,— шепчет он,— получил письмо. Узнал, что Георгия Бекаури уже нет... Понимаешь? Он мой родственник. И Сталина — тоже родственник. Берия сказал: «Сосо, твои близкие хотят тебя убить. Опасайся их». Ну вот теперь всех из нашего рода туда! — Он тычет пальцем вниз.

Бекаури? Крупный военный изобретатель? Я о нем слышал. Так и его значит?

Александр III и его клика приказывали: «Вешать, вешать и вешать!» Сорок лет спустя вождь коммунистов поучал палачей — крупных и помельче: «Убивать, убивать и убивать!» И у него были для этого Ягода, Ежов, Берия и еще тысячи им подобных.

Каждую весну в Приладожье волны реки Сясь вымывают из береговых откосов человеческие черепа и кости. Местные жители их закапывают, а река упорно делает свое жуткое дело...

Более полувека прошло, прежде чем раскрылась тайна: в октябре 41-го, когда Ленинград оказался в блокаде, приказано было погрузить в плавучую хоромину-баржу обитателей городских тюрем. В великую тесноту втиснули две с половиной тысячи заключенных. Медленно тянулся караван до Волхова, не раз попадая под бомбежку. Хлестали его шквалистые дожди со снегом. Прошли сутки... вторые... третьи... Без пищи и воды томился народ в ледяном трюме. Трижды вспыхивал бунт. Трижды косила охрана обезумевших людей из пулемета. «Урожай» — почти 900 живых душ.

Каждая весна в Приладожье вновь напоминает о «барже смерти» — лишь одним из бесконечного ряда преступлений. Есть предположение, что среди погибших был и поэт Даниил Хармс; официальная справка о том, что он скончался в периферийной психиатрической тюремной больнице, скорее всего ложь.

И еще о страхе.

В постановлении Комиссии Политбюро ЦК КПСС «О дополнительном изучении материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30—40-х и в начале 50-х годов» сказано: изучение материалов по крупным политическим процессам выяснило, что «все они, как установлено, явились следствием произвола и вопиющих нарушений законности. Материалы

по ним грубо фальсифицировались. Ни «Блоков», ни «Центров» не существовало. Их создавали искусственно».

Все так. Но почему же не названо при этом ни одно имя из тех, кто заседал в Военной Коллегии Верховного Суда? Тех, кто подписывал смертные приговоры? Кто вел следствие?..

И тут был страх: едва лишь тронешь краешек лавины — и она грозно обрушится; погребет под собой сотни палачей по-мельче.

Страх за личную власть, тщеславие и чудовищное самомнение затмили «вождю» логику общественного развития. И потому так странен и нелеп был его конец.

Он понимал — не мог не понимать, что физический его конец недалек, что нужно, стало быть, решить, кто же будет наследником, продолжателем? Кто встанет у руля огромной страны? Но как ни поразительно, о каком-либо завещании Сталина неизвестно. Почему? Неужто страх самой мысли о смерти мешал ему заглянуть за край неизбежного?..

Третье. Счет по головам. Итого — сколько?..

Отсчет репрессий ведут обычно от года 1937-го. Это ошибка. Кровавый сталинский социализм начинал свое зловещее шествие задолго до этой даты. Из книги Елизаветы Малиновской «Репрессированная архитектура. Казахстан» мы узнаем, что магистраль Турксиб, стройки Алма-Аты, Караганды создавались руками заключенных и ссыльных в самом начале 30-х годов.

Свои бредовые теоретические постулаты Сталин утверждал жестоким насилием. Год 1927-й. Три четверти казахов ведут кочевой образ жизни. Но... Только за одну первую пятилетку принудительно переведены на оседлость 384 тысячи хозяйств. Веко-вой уклад, традиции, основы народной жизни? Сломаны. Уничтожены.

Итого?.. Страшный голод 1932 года.

Впрочем, что Казахстан? — «Частный случай». Ложь и дутая помпезность обитают рядом с произволом и беззаконием. В конце 20-х — начале 30-х годов на все лады звучат декларации о расцвете малых народов Севера. У эвенков, чукчей, ненцев появляются первые ученые и поэты. О-о, сколько вокруг всего этого подобострастного визга!

Чаще всего называют имя прозаика Тэки Одулока: первый литератор-юкагир. Но затем наступает молчание. «Тройкой» уготована писателю пуля и могила. Имя его надолго забыто.

А какой тяжелой кровью цементируется так называемая «национальная культура»?.. Еще целых шесть лет остается до

1937 года. Простирается над «одной шестой планеты» мир. Но мир ли это?.. Катятся, катятся в Казахстан теплушки. Товарняк. За один лишь 1931 год туда доставлено 2 миллиона 173 тысячи «спецпереселенцев» из числа «раскулаченных». В Караганду 500 тысяч. Половина умерла в первый же год, во второй год почти все оставшиеся. Сосчитаем по головам: кто-то еще остался?.. Ага, ну для них создан лагерь.

Пришло Время-судья и открылось утаенное.

По учету на 1 марта 1940 года ГУЛАГ состоял из 53 лагерей — в каждом десятки и сотни тысяч «населения», 425 исправительно-трудовых колоний и 50 колоний для несовершеннолетних.

И не иссякал на каторжных дорогах топот. Шли и шли новые колонны: «Не вертуйхайсь! Шаг влево — шаг вправо...» Перовск, когда-то названный так в честь царского генерала, переименовали в Кзыл-Орду и решили сделать столицей Казахстана. За три года возвели современный город. Но вот создателям брошено обвинение: «вредительство!» И следом — горячо и азартно трудится Верховный суд РСФСР. Ему помогает Особое совещание ОГПУ. Можно и подсчитать «добычу»: лишены свободы почти три тысячи «злодеев»: профессоров — 85, инженеров — 1151, экономистов — 249.

Продолжаем счет.

«За период с 1921 по 1954 год за контрреволюционные преступления было осуждено 3 777 380 человек, в том числе приговорено к высшей мере наказания 642 980, к содержанию в тюрьмах и лагерях на срок от 25 лет и ниже 2 369 220 человек, в ссылку и высылку 765 180 человек», — так сказано в докладной записке Н. С. Хрущеву, подготовленной МВД СССР в 1954 году.

Столько вот — «по головам».

Но прошли годы, и цифры эти тоже стали изменяться.

По официальным данным КГБ только с 1 января 1935 года по 22 июня 1941 года было арестовано 19 миллионов 840 тысяч «врагов народа». Из них 7 миллионов расстреляно. Большинство остальных погибло в лагерях.

А в это же время по радио гремит:

«Я другой такой страны не знаю,

Где так вольно дышит человек».

Песня и сухие цифры... Сухие? Нет! Самые последние данные гласят: репрессировано было 22 миллиона.

Провозглашаемые на весь мир права личности — слова! и наглое их попрание на деле.

Убивали людей. Убивали культуру. Убивали сооружения: почти 70 тысяч храмов уничтожено после 1917 года. Указующий перст Сталина безмолвно приказывал: вколотить смерть в «душу живую», разрушить все, что могло эту душу утешить, дать ей веру и силу жить.

Точный счет по головам. Мертвым.

Итого — сколько?..

Четвертое. ...из года 2197-го.

Человек, поднявшийся в космос через два века после нас, — что увидит он из прежнего? Неизвестно. Однако человечество сохранит как зловещую память темные бараки Маутхаузена, страшные печи Освенцима — зримые пятна фашизма. И стоять им вечно, точно верстовым столбам на страдальческом пути мировой цивилизации.

Но увидеть следы, оставленные многими годами сталинских злодеяний он не сможет. Ни клочьев заржавевшей колючей проволоки вокруг зоны; ни рухнувших сторожевых вышек; ни давно уже сгнивших барачных; ни осыпавшихся могильных холмиков на арестантских кладбищах.

Ничто из этого на планете не уцелеет.

Только память, застрявшая на столбцах газет и журналов, на страницах книг, на фотопленке сохранится для будущего. И наверно, листая документы этой эпохи, земляне озадаченно будут спрашивать себя:

— Как это?.. Почему?.. За что?..

И если не сейчас, то уже никто и никогда не сможет ответить на их вопросы.

Мы, те, кого терзал и когтил «горный орел» Сталин, не имеем права ожидать, что кто-то вместо нас, за нас возьмется донести горчайшую правду тюремного, лагерного, ссыльного бытия безвинно распятых. Это должны сделать теперь: мы, наши друзья, наши дети.

Документы, фотографии, осязаемо существенные реликвии давно минувшего времени, — все это, наверно, останется в музейных витринах. Но ничто из этих вещественных доказательств преступных действий Сталина не сможет передать наибольшего: атмосферы дней и ночей, в которые вершилось зло.

Палачей судит Время.

Но не парадоксально ли, что и само время, и живущие в нем становятся палачами?.. Что сам воздух, которым дышит народ, толкает его на край пропасти?..

С детских лет помнится нам сказка, в которой Мальчику-

-с-пальчик угрожает бородатый великан с огромным топором. Сталин никогда собственных рук кровью не обагрят. За него это делали другие. Ни он сам, ни его первый советник Берия не смогли бы устраивать великому народу в великой стране столь великое кровопускание, если бы доказчики и приказчики, от краевых и областных сатрапов до держиморд-конвоиров, не склонялись угодливо перед ними и не исполняли все, что повелевалось.

Он был как многорукий Будда в Ангкоре — все видящий, все знающий, всегда готовый грубой дланью схватить чью-то плоть. И уничтожить. О, это был очень коварный Будда. Совершая преступления, он требовал при этом полного себе одобрения со стороны 20-миллионной партии. И всего народа.

Ворошу старые газетные подшивки, листаю страницы и вижу: сколько было тогда массовых митингов и собраний с единственной повесткой дня: «враги народа». Заводы, колхозы, шахты корабли, армейские батальоны — везде, «в едином порыве», «как один», «единогласно» подымали руки и возглашали ревуше: «Рас-с-стрелять!»

И результат: 4 миллиона доносов.

Сталин сделал заложником своих преступлений всю партию и весь народ. Душу народа уродовали, ожесточали диктатурой лжи и страха; этими «рас-с-стрелять!», «осудить!», «пригвоздить!» ее обучали жестокости. И обучили!

Можно говорить о психической патологии общества, даже целого народа. Вероятно, это будет правомерно. Мало ли на свете странностей? Знаменитый французский астроном и писатель Лаплас, работая, обязательно вертел в руках катушку ниток. Без этого мысль его останавливалась.

Сталин был бы не в состоянии главенствовать над огромной страной, если бы деяния его не были залиты кровью. Нет слов и нет числа, которыми можно обозначить эту жуткую патологию.

Получая под гнетом страха одобрение своим преступлениям коммунистами, народом, он сделал их заложниками собственной совести. Он превращал их в одного огромного палача. Не он, дескать, виновен в репрессиях. Это Партия, это Народ такого хотели и такое содеяли. Он же — кто? Лишь идейный руководитель... Жуткая, не имеющая подобия в истории, комбинация жестокости, лицемерия, фарисейства, лжи и трусости!

Помним ли мы заключительную ремарку в «Борисе Годунове» Пушкина: «Народ безмолвствует»? Мудры и многозначительны эти два слова. Спустя столетие, хотя и по-иному, их повторил погибший в колымских лагерях писатель Бруно Ясенский.

«Не бойся врагов — в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей — в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных — они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и убийство.»

Так не был ли сам народ в проклятые «Девятьсот тридцать седьмые годы» собственным палачом?..

Пятое. Казненные дважды и трижды.

Нет, он, народ, не был палачом.

«Самое ужасное, что произошло в жизни советских людей,—писал Роберт Конквест,— они были вынуждены существовать как бы в двух измерениях: реальном и вымышленном».

Эта истина неопровержима.

Как бы ни свирепствовали НКВД — КГБ, как бы ни измылся над законом тиран, преодолеть силу жизни они были не в силах. Народ продолжал работать, строить, творить. Под страхом насилия?.. Да, отчасти. Но главное: жизнь продолжалась, несмотря ни на что и уже это само по себе было вызовом беззаконию и произволу.

Инквизиция, однако, от своего не отступалась.

«Соблюдение процессуальных норм и предварительные санкции на арест не требуются... Решения троек окончательны...»

Прокурор СССР А. Я. Вышинский давал прокурорам на местах свое благословение на пытки и казни. На дворе был июль 1937 года.

Так начиналась свирепая и пестрая эра дважды казненных.

В 1937—1938 годах почти по всему ГУЛАГУ прокатилась волна массовых расстрелов. Как было искать в этом очередном палачестве логику? Но она была. Логика Сталина, Берии, Ягоды, Ежова, Вышинского и иже с ними. Логика убийц была проста: достаточно ли жестоко и сурово осудили тех, кто оказался в лагерной зоне? Не укрылись ли они, таким образом, от истинного наказания? Минет время — они, глядишь, вернутся в общество, исполненные гнева, и уж конечно нераскаянные... Так не правильной ли уничтожить их теперь же?..

Так погибла Евгения Мустангова, талантливый литературовед и критик. Среди моих наставников, тех, кто учил мастерству молодых писателей в Ленинградском Литературном университете Союза писателей (существовал такой в 30-е годы), была и она. Хрупкая, тонкая, юное смеющееся лицо, густая копна темных волос...

Она получила по суду 10 лет ИТЛ. Писала из-за «колючки» бодрые письма. Надеялась на лучшее. И быть может, воспомина-

ла «Записки из мертвого дома» Достоевского: «...посмотришь сквозь щели забора на свет божий... и увидишь... маленький краешек неба, не того неба, что над острогом, а другого, далекого, вольного неба».

Но мало показалось стервятникам. В Белбалтлаге Мустанго-ва была расстреляна. Без суда.

И еще одного моего наставника постигла такая же участь: известного критика Михаила Майзеля, ректора Литуниверситета.

Вот так их казнили: дважды. А трижды — это еще и полным забвением имен и творчества.

Сажали и приговаривали по доносам, по сфабрикованным в недрах НКВД обвинениям. Измышляли «факты», а когда мерещилось, что этого мало, судили за... мысли. Так вынесли несправедный приговор ленинградскому литератору и журналисту Анатолию Сысоеву. Вина? Найденные во время обыска, но нигде не опубликованные черновые записи.

Трудно, тяжело возвращаться мыслями к прошлому. Но куда от него уйдешь? Для всех узников одинаковое — «Сижу за решеткой в темнице сырой...», оно для каждого было разным. Своим.

У палачества не было границ. Можно было пропускать арестанта сквозь строй пыток. Или держать в жутком карцере-гробе. Или загнать в камеру, где царила ледяная стужа. А можно было и по-иному: отнять у матери годовалого ребенка, отдать в чужие руки — чужому народу, с другим языком — и вновь показать лишь пятнадцать лет спустя. О таком рассказывает в своих воспоминаниях Анатолий Горелов. Он видел это.

О таком как не сказать: дважды казнь?

Одних томили в ледяных «кандеях» — карцерах, другим на допросах ломали ребра и вышибали челюсти. Третьи, поставленные на круглосуточный «конвейер» — непрерывную стойку, теряли сознание, четвертые тихо доходили в лагерных бараках от истощения...

И уже стирались грани между жизнью и смертью.

А иной раз спешили предать погребению несчастного зэка, когда он еще не умер...

Известный ленинградский литератор, ученый Юрий Оксман летом 1937 года заболел тифом в Омском лагере. Эпидемия косила людей, так что уж некогда стало разбираться — кто жив, кто помер. Оксмана вытащили в мертвецкую, когда он еще дышал. От могилы спас случай: больницу принимал новый главврач; зашел в морг, увидел еще не погасшие глаза и вскричал:

— Да тут живой человек!

Годы и годы репрессий, война, блокада — все это как будто убивало в нас чувство гнева, жалости, боли, возмущения. Столько пережили, столько перетерпели; что может быть ужасней того, что было. Но вот читаешь «расстрельные списки», публикуемые в «Вечернем Петербурге»... Люди, люди, люди... Нажатие курка — и они трупы. Длинный, уходящий в бесконечность шлейф нестерпимой муки, горя, предсмертной тоски, — люди не свершившие всего, что могли; так и не успевшие изведать радость жизни.

За что?

И еще. В чередовании дней и ночей, исполненных мук и страданий, самое дорогое для человека — жизнь, становилась ненужной, лишней.

Он искал от нее избавления.

Адриан Пиотровский — писатель, драматург, сценарист, крупный организатор кинематографа, будучи не в силах вынести пыток, сам решил покончить с ними. Сидевший с ним в следственной тюрьме Большого дома ленинградец Алексей Подократ рассказал мне:

— Адриана Ивановича избивали так, что с допросов приносили на руках. Повторялось это не раз, и так, видно, стало невыносимо, что он стал искать смерти. Мы заметили, что на спальных деревянных щитах он пристраивает гвоздь, острием наружу. А потом... Да, потом разгоняется и головой об него: проткнуть глаз... Ну, мы это углядели, не допустили, конечно... А пытался — не раз...

Пиотровский со своей желанной смертью не встретился. Но от казенной — не ушел.

Шестое. Миллион плюс бесконечность.

Митинги... собрания... съезды... И бурные и спокойные... и почти на каждом увидишь старушку, молитвенно прижимающую к груди, как икону, портрет Сталина: духовное рабство тех, чью душу растлел «культ личности». Избавить от него способна только правда.

Сколько их было — этих изображений — на одной шестой части планеты? А на всей планете? Не поддается подсчету, так же, как число изображений Христа. И когда я вижу этих слепцов и сегодня все еще славящих главного палача — душу шемит острая боль.

Как же избавиться от обмана и лжи искалеченный народ, ставший его жертвой?..

Он убивал тех, кто по его приказу был убийцей. А затем

и самих этих убийц. И так от одной волны до другой. Нельзя было представить, что у этого кровавого моря есть берега...

У Даля нет термина «диктатор», но — «злой мучитель, жестокий деспот, тиран». Ни один тиран древнейшей и древней истории, ни один диктатор современности не обладал столь безоговорочной и абсолютной властью. Там, на недостижимой вершине самодержавства, повелевал он жизнью миллионов своих подданных.

Не было ни единого уголка в огромной стране, ни одной области экономики, социальной или культурной жизни, над которой не простиралось бы его «я». Его воле и прихотям покорялось все и вся. Не было над ним власти, перед которой должно было отвечать. Партийные съезды?.. Пленумы ЦК?.. Те, что при слове «Сталин» трепетали?

Им могла бы повелевать совесть, но для него этого понятия не существовало. Не было преграды, которая могла остановить его жестокость.

То было время, когда невероятное насилие под страхом насилия, в условиях бесправия, беспомощности народа, являлось законом жизни и смерти.

То было состояние запредельности общественного сознания.

Миллионы людей боялись его; миллионы — поклонялись. И среди этих обожателей, восхвалителей, Сталин был одинок. Он не имел друзей: одни боялись его, других он сам опасался. И даже его «кардинал Ришелье» — Берия не пользовался у него полным доверием. Уж тот-то хорошо знал, что любой из приближенных, возвышенный сегодня, завтра может оказаться в камере смертников Лефортова...

Я повторяю: ладони главного палача, его короткие пальцы не были замараны живой кровью. Для этого были другие. А если кто-то отказывался взять в свои руки пистолет, с ним поступали, как с врагом.

Так рассчитались с моим другом Михаилом Ишовым.

Военный юрист, партиец, комсомолец времен гражданской войны, он твердокаменно считал, что служить Родине надо честно, а тем более на посту Главного военного прокурора Западной Сибири, куда назначили его еще в 1935 году.

Когда органы НКВД с бешеной удалью пачками бросали людей в тюрьму и сочиняли «дела», за которыми следовал расстрел, Михаил Ишов применял власть: без его санкции приговор не имел силы. Раз за разом убеждаясь в том, что люди невиновны, он не давал санкции.

Это был Дон-Кихот 30-х годов XX века.

В своей борьбе — наивная душа! — он дошел до Калинина, до Вышинского, некоторым схваченным спас жизнь, но сам стал жертвой произвола. Мы познакомились уже в те годы, когда оба вернулись в Ленинград. Он написал воспоминания: сильное перо публициста помогло ему создать подлинно обвинительный акт против палача. Мне удалось опубликовать этот документ, но самого «Дон-Кихота» тогда уже не было в живых.

Был ли он один в поле воин?..

Кто-то сказал: «Память, это ступени, по которым мы поднимаемся к высотам будущего». Это так. Но по гнилым, изломанным ступеням вверх не поднимаешься. Ступени нужно хранить. И сохранить.

В одном из полученных мной писем Игнат А., бывший студент, рассказывает о том, что входил в юношескую организацию, которая в годы репрессий пыталась затащить на купол Исаакия пулемет, чтобы расстрелять оттуда партийную верхушку Ленинграда во время октябрьской демонстрации. Чем это окончилось для него и его товарищей, он не сообщает. Но это была та самая «сила в обществе», которая пыталась сопротивляться беззаконию.

По расследованиям документалистов 20 тысяч чекистов подверглись репрессиям за отказ подчиняться произволу и беззаконию. Преуспев в растлении тысяч душ, Сталин не смог сделать этого со всеми — превратить весь народ в палачей; но подлое дело оставило свой долгий след.

Облик палача, повторенный миллион раз, плюс бесконечность... Он был своего рода гербом в стране, обескровленной страхом и всеобщим террором. То была расплата за почти ребяческое доверие каждому слову «великого и гениального». Волна за волной, нагло и гибельно сметал он с лица земли всех, кто был способен правдиво думать и правдиво поступать.

Он уничтожал одних и растлевал души других.

Мы спрашиваем себя — да откуда же она, нынешняя жестокость, преступность среди, казалось бы, здравомыслящих людей, среди подростков; откуда «дедовщина» в армии? Откуда и почему духовный распад?

По стратегическим планам великого Кобы требовалось построить социализм спешно, чуть ли не мгновенно. А тактику исполнения определяли два слова: «любой ценой». Днепрогэс и Магнитка... Канал Москва-Волга и Волго-Дон... Любая цена — это были кровь и смерть тех, чьими руками и на чьих костях воздвигались «великие стройки коммунизма».

Любая цена требовала миллионов жертв. Вместе с террором она подорвала не только физическую, но и моральную силу на-

ции. Заразила ее вирусом всеобщей подозрительности: доносы, доносы, доносы... Всеобщее самопожирание. Взаимное палачество.

Разве не был палачом партийный секретарь в цехе, в конторе, в колхозе, когда «клеил позором» направо и налево, лишь бы угодить всемогущему НКВД — КГБ или устроить собственную карьеру?.. Разве не был им угодливый редактор, когда спешил разделить в своей газете «подголосков мирового империализма» или «антипартийного перерожденца»?.. Ярлык навешан, и той же ночью приезжает за человеком «черный ворон» и увозит. Куда?..

Жестокость, как закон жизни, была повсюду. На земле и под землей. Перед глазами газета «Заполярье» (год 1990), издаваемая в Воркуте. Письмо в редакцию, подписанное «П. Негретов», об узниках, что остались тут, в вечной мерзлоте, навечно: «...от многих захоронений не осталось и следов... Кладбище на 40-й шахте засыпали толстым слоем породы. на его месте проложили дорогу. А под ней лежат кости заключенных и каторжан 40-й шахты...»

И это — тоже дело рук палачей.

Если они уже умерли, то могилы их наверное обихожены и обряжены, аккуратные оградки сторожат надгробья. А если живы еще — что сказать о них?..

Исчез ли сегодня тот страх, который заставлял всю страну жить двоемысленно: на людях — одно, дома — другое? Наверное, этого уже нет. Но, забыв страх, забывают и о том, что его порождало.

Миллион плюс бесконечность. Это и есть, наверное, число преступлений Сталина.

Седьмое. Исход.

Коммерсант, прикидывая, сколько прибыли принесет ему доходное дело, заранее «подбивает бабки»: подводит итоги.

Подводил ли генералиссимус Иосиф Джугашвили итоги всему, что удалось ему свершить, не знаем. Судьба уже подсчитывала, сколько недель и месяцев остается до конца дней его, но мертвая хватка, которой сжимал страну Лаврентий Берия, не ослабевала. По-прежнему — хотя и пореже — шастали по ночным улицам «черные вороны», по-прежнему томились в лагерях, умирали от непосильного труда армии рабов всех возрастов и наций. Размышлял ли когда-нибудь Сталин об исходе событий и перемен, какие уже навсегда вошли в историю?.. Неведомо. Он не оставил после себя дневников или письменных заветов.

Но не думать об исходе все же не мог.

Он должен был испытывать довольство: социализм построен. Какой?.. Ну, это как на чей вкус: «развитой», «с человеческим лицом», «гуманный»... Но знал ли, что за всем этим маячит, каков будет исход теории и практики, обозначенный штампом: «Ленин — это Сталин сегодня»?

Исхода он не знал. Он известен сегодня нам. Хотя пока еще не определилось, как его надо называть: «постсоциализм», «соцреформизм», «соцкапитализм» или, может быть, «общество без лица»?

После выхода в свет первых двух выпусков серии «Распятие» — «Тайное становится явным» и «Могилы без крестов» — приходят письма. И чаще всего с вопросом: «Почему не состоялся своего рода «Нюрнбергский процесс»? Почему не судимы — пусть даже посмертно — Сталин и вся его зловещая свита, те, кто приказывал, допрашивал, пытал? И те, кто расстреливал?

Что тут ответить? Что «иных уж нет, а те далече»? А те, кто и ходит еще по земле, стары и дряхлы?

Это так. С кого спрос?

Палач еще отсиживался за кремлевскими стенами, он еще тащил на аркане страну, но неостановимое время уже судило его. И так же, как едва родившийся младенец по законам биологии начинает свое движение к неизбежному концу, так и воздвигнутая Сталиным «система» роковым образом близилась к дням, когда она рушится.

И она рушилась. Однако прощения ее творцам, всей этой армии палачей не будет! Всеохватного трибунала для тех, кто должен предстать пред ним, нет. Но Суд, самый высший. Суд народа! — уже вершится.

За пределами лагерной зоны, за тюремными стенами, снаружи была воля. Какая?.. Атмосфера политического садизма, произвола, ничем не ограниченной жестокости, зверства. В ней задышалась вся страна.

И вот теперь с высот прошлого для нас особенно важно зорко разглядеть то время.

То, что есть сегодня гласность, открытость в общественной жизни и в прессе; то, что свобода слова, это не слова, а действительность; то, что раскрываются секретные архивы; то, что по-прежнему возвращены не только свобода, но и права, — это уже Суд над палачами.

В древности преступник по имени Герострат, чтобы прославиться, сжег Седьмое чудо света — храм Дианы Эфесской. Его имя вычеркнуто из истории цивилизации.

Наш суд над палачами — это прежде всего восстановление памяти об их жертвах.

Суд — идет.

Каждый день пишется приговор: вечная и всеобщая ненависть к черному прошлому, к страшным буквам НКВД — КГБ, полное презрение к творцам террора.

Палачей судит Время.

Но только ли их?

Скорбно и больно признаться — оно судит и тех, кто молчал, когда других душили; молчал, видя как в окружении псов и конвоиров ведут колонну эзков; молчал, когда раскулачивали соседа; молчал, когда...

Нет числа этим «когда».

Палачей судит Время. Оно судит и тебя и меня. Мы не можем изменить прошлое, но будущее зависит от настоящего, а настоящее — от нас. Наступил ли уже конец диктатуре лжи? До конца ли прорвана блокада молчания вокруг всего и всех, кто был раздавлен единовластной лесницей Сталина?

Позади — трагическая вера в то, что царство добра, света, справедливости совсем близко, вот-вот, «за углом», стоит только верить заклинаниям партийных боссов и следовать их «ценным указаниям»...

Позади слепая вера малодушных в утопию.

Ныне живущим поколениям, памятуя о прошлом, не в чем каяться. Разве что перед самими собой за легкомысленное доверие современным демагогам, долбящим, что их «волшебная палочка» единым взмахом все сущее мгновенно изменит к лучшему.

Такие книги, как наша, — это не покаяние перед погибшими, а только крупица его. Но может быть, мы дождемся и той даты, которую назовут «Днем Покаяния». Когда-нибудь...

Сталинский коммунизм, который с помощью великой лжи и фальши манипулировал общественным сознанием, обрушивая на него вал страданий и морального опустошения, рухнул. Его падение дает обществу нравственную силу, чтобы все начать сначала. Но достаточно ли сил для нового начала?

Находятся «пророки», которые считают: надо все прошлое забыть, а забыть — значит простить. Но нет, мы не прощаем содеянного зла. Мы помним и обязаны помнить о нем. Чтобы память эта вечно питала жажду познать истину.

Дело не в том, чтобы при этом похлеще, позубастей опорочить все бывшее с его светлым и темным, поуродливей вывернуть наизнанку все, чему ранее поклонялись. Нет, надо страшное отделить от истинного, достойного.

Мы не сможем возродить гражданское самосознание, политическую культуру без глубокого познания прошлого, без осуждения насилия и восстановления того, что было унижено и уничтожено. Но надо казнить палачество и в самих себе. Не позорно ли, что порой, будучи не в состоянии владеть ситуацией, сделать ее демократической, мы призываем к Чрезвычайному положению?..

Наша книга посвящена памяти литераторов. В безбрежном море крови, залившем СССР, они были крохотной частицей. Рядом с ними погибали еще и еще — «несть бо им числа» — люди всех профессий.

«Распятые» — это не только еще одно документальное разоблачение ГУЛАГА и всего комплекса сталинщины. Это также и средство воспитания молодых умов, которые, постигая зло минувшее, должны восстать на зло сегодняшнее; на то, что таится в призывах фашиствующих кликуш и лидеров, тоскующих по сталинскому СССР и компартийной номенклатуре.

Быть может, кому-то книги серии «Распятые» покажутся не актуальными, не столь нужными сегодня, в период создания рынка. Ну что ж, не будем скрывать того, что о подобном кричат как раз те, кто хотел бы забыть мрачные страницы истории, вытеснить их из народной памяти.

Но не раскрытое, не объясненное прошлое делает искривленным и представления о настоящем. Порождает новые заблуждения. «Распятые» — это лишь малая часть покаяния, которое в масштабах страны так и не состоялось.

Да, мы, репрессированные Сталиным, не были и не могли быть в числе правозащитников 50-х — 60-х годов. Мы все еще населяли лагерь или томились в ссылке. Но теперь, когда слово «репрессированные» поставлено в один ряд со словами «Ветераны Отечественной войны», мы стали защитниками той правды, которую 70 лет скрывали от собственного народа и от всего мира.

Нас, чьи силы истощила тюрьма, шахты Колымы, железные пути БАМа, остается все меньше и меньше. Но нравственный долг тех, кто еще жив, сказать всю правду о том, что было. Правду, которую испытали на себе. И пока эта правда не будет высказана, раскрыта до конца, мы должны чувствовать себя глубоко униженными. Нельзя допустить, чтобы из памяти народа ушли не названными те, кто погибал в подвалах «Шпалерки» и Большого дома, на расстрельных пустырях Левашова.

Книги о распятых нужны обществу, которое ныне в муках пытается построить свободную от лжи и страха жизнь.

Мы говорим о праве каждого творца культуры на память. Все они: прозаик Владимир Матвеев и критик Евгения Мустангова, литературовед Николай Пунин и поэт Елена Тагер, прозаик Дмитрий Остров и поэт Вольф Эрлих — очень разные: по жанрам, по возрасту, по эстетическим позициям. И однако есть нечто, что объединяет героев книжной серии «Распятые» — глубокая бескорыстная любовь к живому Слову, родной литературе. Самой душе России.

Мы не ставим целью открытие сенсационных документов. Смысл нашей работы в другом: рассказать о людях, которые лишены были жизни адской машиной насилия. Напомнить о тех, кто некогда формировал нравственное здоровье народа. Мы до сих пор не востребовали духовные ценности, которые кликой Сталина были умышленно скрыты, утаены от общества и все еще остаются «терра инкогнито» для современного читателя. И мы все еще не осмыслили целый пласт советской литературы, не утвердили истинную ее роль в истории отечественной культуры.

Уходят «могикане статьи 58-й». Мы — последние.

Настоящее неотрывно от того прошлого. Эту цепь не разорвать, не вырвать из нее ни одного звена. Сталинизм — это зеркальное отражение фашизма. Сталин и Гитлер учились друг у друга. Сталинизм — это тщательно скрываемая моральная продажность партократии, помноженная на высокую экономическую преступность под вывеской: «КПСС — ум, честь и совесть эпохи».

Сталин возглашал, что он и КПСС уничтожают «проклятое прошлое», «родимые пятна капитализма», доставшиеся от царизма. На деле он уничтожал будущее. Тюрьмы и лагеря были средством убиения грядущих поколений, их веры в высокие идеалы.

Главный палач умер своей смертью; палачество рухнуло под натиском Времени.

Раздавались громкие требования — создать Трибунал для осуждения палача и палачества. Но сколько трибуналов потребовалось бы, сколько судей, и кто оказался бы на скамье подсудимых? Не сам ли народ, который, сжав зубы, молчал?..

Трибунал уже есть: это опубликование разоблачительных документов и материалов. Это публикации в прессе. Это и книга «Распятые».

Палачей судит Время.

Нет, это не только предание еще раз анафеме ВЧК — ОГПУ — НКВД — КГБ и всей железной сталинской когорты. Помня о жертвах, спросим и с самих себя: «Кто ты, что ты сегодня, куда стремишься, во что веруешь? Зачем живешь?..»

Судить палачей — значит жить по правде. Встать на защиту правды, когда есть в том нужда, а она всегда есть. Суд над палачами — это противодействие лжи, обману, насилию, лицемерию; это борьба с ними всегда; это бой за истину и справедливость.

Слышите ли вы толчки там, внутри себя?..

Это пепел безвинно и безвременно погибших в годы произвола стучит в наши сердца.

Этот пепел — наша совесть, наш гнев против всего, что чуждо социальной и нравственной сути общества. Наша великая боль за судьбу России и великая к ней любовь.

И пусть этот пепел не дает нам покоя до тех пор, пока не исполним своего долга, долга высшей человеческой правды!

Мы продолжаем публикацию книг серии «Распятые». Уже вышли из печати 1-й выпуск «Тайное становится явным», 2-й выпуск «Могилы без крестов». И наконец этот, 3-й — «Палачей судит время».

Захар Дичаров,
Председатель
Историко-мемориальной комиссии
Союза писателей Санкт-Петербурга

Фотография
не
найдена

**Юлий
Соломонович
БЕРЗИН**

1904 — 1942

Федеральная служба безопасности
Российской Федерации
Управление
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
№ 10/44-Д-6086-1
Санкт-Петербург

Берзин Юлий Соломонович родился в 1904 году, в Полоцке Витебской губернии, еврей, гражданин СССР, окончил Ленинградский университет.

Арестован 10 февраля 1938 года. До ареста проживал в Ленинграде, канал Грибоедова, дом 9, кв. 18, писатель, член Союза писателей.

Обвинялся в том, что «с 1930 года являлся активным участником антисоветской право-троцкистской организации среди писателей Ленинграда» (ст. ст. 58-10, 58-11 и 58-8 УК РСФСР).

Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 2 июля 1939 года Берзин Ю. С. «за активное участие в антисоветской право-троцкистской организации» приговорен к заключению в ИТЛ сроком на 8 лет.

Берзин Ю. С. реабилитирован Определением № 513-Н-57 Военного трибунала Ленинградского военного округа 8 мая 1957 года, дело производством прекращено за отсутствием состава преступления.

В документах архивного фонда УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в архивном деле по обвинению Берзина Ю. С. есть упоминание о том, что он 2 июля 1939 года был этапирован в Севвостлаг МВД.

Сведений о дальнейшей судьбе Берзина Ю. С. не имеется.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Берзин Юлий Соломонович (1904 — 11.IV.1942) — прозаик. Юрист по образованию. В начале 20-х годов служил в Красной Армии. Литературным трудом занимался с 1926 г. Входил в литературную группу «Смена». Автор пьесы «Эликсир молодости» (1935).

Форд. Роман. Л., 1927 1928; 100% любви, разгула и спекуляции. Роман. Рига, 1928; Конец девятого полка. Роман. Л., 1927, 1929 и 1968; Оптимистический роман. Л., 1930; Завоеватели и мелочь. М. и Л., 1930; Нокаут. 1931; Возвращение на Итаку. Л., 1934 и М., 1935.

Фотография
не
найдена

**Леонид
Павлович
КАРАСЕВ**

1904 — 1968

Министерство
Государственной безопасности России
28/IX—93 года
№ 10/16—10807

Карасев Леонид Павлович, 1904 года рождения, уроженец Звенигорода Московской области, русский, с незаконченным высшим образованием, беспартийный, женат, гражданин СССР, писатель-драматург, член Ленинградского отделения Союза Советских писателей, проживал по адресу: Ленинград, канал Грибоедова, д. 9, кв. 14.

Арестован 22 января 1950 года Управлением МГБ ЛО по обвинению в проведении антисоветской агитации, т. е. в пр. пр. ст. ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР.

11—12 мая 1951 года Судебной Коллегией ленгорсуда Карасев Л. П. приговорен к заключению в ИТЛ сроком на 10 лет.

Отделением Судебной Коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР от 5 июля 1951 года приговор ленгорсуда от 11—12 мая 1951 года отменен и дело передано на новое рассмотрение в тот же суд со стадии предварительного следствия.

27—29 марта 1952 года Судебная Коллегия по уголовным делам ленгорсуда приговорила Карасева Л. П. к 10 годам ИТЛ.

2 ноября 1953 года Судебная Коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР в выездной Сессии в Ленинграде по-

становила: Карасева Л. П. считать по суду оправданным, за недоказанностью предъявленного обвинения, с освобождением из-под стражи.

Из книги «Писатели Ленинграда»



Карасев Леонид Павлович (17.08.1904, Звенигород — 19.07.1968, Ленинград) — драматург. В 1920 окончил среднюю школу и вступил добровольцем в Красную Армию. С 1921 был актером и режиссером в театрах Ленинграда, Феодосии и Тбилиси. В 1933 окончил лит.-лингв. факультет ЛИФЛИ. Литературную деятельность начал в 1932. Участник советско-финляндской войны и Великой Отечественной войны (1941—1943) на Ленинградском фронте. Автор пьес «Медвежий углы», «Страна в цвету», «Крестьяне», «Яблоко

раздора», «Шелудивый пес», «Огни маяка» и др. В 1959 по его сценарию снят фильм «Улица полна неожиданностей».

Огни маяка: Пьеса. М.— Л. 1938; Когда рассеивается туман. М.— Л., 1945; Короткая встреча. М.— Л., 1947; Одноактные пьесы. Л., 1949; На месте происшествия: Пьеса. Л., 1957.



**Александр
Гервасьевич
ЛЕБЕДЕНКО**

1892 — 1975

Управление ФСБ России
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

Лебеденко Александр Гервасьевич, 1892 года рождения, уроженец г. Черкассы, украинец, гражданин СССР, беспартийный, женат, с 1925 года работал в Союзе советских писателей литератором, проживал: Ленинград, П. С., ул. Калинина, д. 11, кв. 101.

Арестован 20 октября 1918 года по делу «бывших офицеров».

Освобожден 27 октября 1918 года. К уголовной ответственности не привлекался.

Арестован 14 января 1935 года Управлением НКВД ЛО.

Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 15 июня 1935 года по ст. 58-10 ч. I УК РСФСР (за антисоветскую агитацию) осужден к высылке в Казахстан сроком на 3 года.

Определением Судебной Коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР от 9 апреля 1995 года постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 15 июня 1935 года отменено. Дело производством прекращено за отсутствием состава преступления.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Лебеденко Александр Гервасьевич (21.VI.1892, Черкассы — 9.XII.1975, Ленинград) — прозаик. Чл. КПСС с 1918. В 1912 поступил на фак. вост. яз. Петербург. ун-та. В 1915 ушел добровольцем на фронт. В 1917 участвовал в работе военно-революционных комитетов, затем служил в Красной Армии. С 1917 начал журналистскую деятельность. Работал в «Ленингр. правде» (1920—1925) — ночным редактором, зав. отделом, ответственным секретарем. В 1924 участвовал в плавании корабля «Франц Меринг» по маршруту Ленинград — Гамбург — Константинополь — Одесса. В 1925 как спецкор. «Ленингр. правды» участвовал в перелете Москва — Монголия — Пекин, в 1926 — арктическом перелете Амундсена — Эльсворта — Нобиле. В 1926—1931 вел журналистскую и редакционно-издательскую работу в «Крас. газ.», в РОСТА и ТАСС, в изд-ве «Молодая гвардия».

Перелет Москва — Монголия — Пекин: Очерк. Л., 1925; Как я летал в Китай. Л., 1926; Боевой полет. Л., 1927; На полюс по воздуху. М.— Л., 1927; В Китай по воздуху. М.— Л., 1928; Полет над океаном. М.— Л., 1928; Современная Англия: Очерк. Л., 1928; Осада полюса. М.— Л., 1929.— В соавт. с Д. Южиным; Четыре ветра. М.— Л., 1929; Современная Америка: Очерк. Л., 1929; Восстание на «Святой Анне»: Повесть. М.— Л., 1930 и др. изд.; Наша красная неделя. М.— Л., 1930; Индия, Индия!: Очерк. М., 1930; Крестовый поход. М., 1930; Сакко и Ванцетти: Очерк. М., 1931; Пожар в Испании: Очерк. М., 1931; Четвертая пуля Ли-Сина. Л., 1931; Тяжелый дивизион: Роман. Л., 1932 и др. изд.; Первая министерская: Роман. М., 1934; Книга о Беломорканале. М., 1934; Книга о челюскинцах. М., 1934; Тяжелый дивизион: Роман. Л., 1956 и др. изд.; Лицом к лицу: Роман. Л., 1957 и др. изд.; Война с невидимым врагом. Л., 1961; Ошибка в пути: Повести. М.— Л., 1962; Дом без приведений: Роман. Л., 1963; Первая министерская: Повесть. Л., 1963 и 1967; Ученый-мореход: Очерк. Л., 1965; Зоя Сергеевна: Повесть. Л., 1970; Шелестят паруса кораблей: Роман. Л., 1974; Собр. соч. в 3-х тт. Л., 1978—1979.

*Фотография
не
найдена*

Екатерина Михайловна МАКАРОВА

1900 — ?

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
№ 10/28—517
Ленинград

Макарова Екатерина Михайловна, 1900 года рождения, уроженка д. Померанье Тосненского р-на, Ленинградской области, русская, гражданка СССР, беспартийная, литератор, член Ленинградского ССП, в 1956 году проживала: Ленинград, Московский пр., д. 149, кв. 24

муж: Просянин Иван Максимович, 1908 года рождения, уроженец Полтавской области, литературовед.

Арестована 30 января 1945 года Управлением НКВД по Ленинграду и Ленинградской области.

Обвинялась по ст. 58-10 ч. II УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда), 58-11 (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления), 59-7 (пропаганда или агитация, направленные к возбуждению национальной или религиозной вражды или розни).

10 мая 1945 года Военный Трибунал войск НКВД Ленобласти приговорил Макарову Е. М. к лишению свободы в ИТЛ сроком на 10 лет с последующим поражением в правах сроком на 5 лет.

В 1954 году была досрочно освобождена.

Определением Военного Трибунала Ленинградского военно-

го округа от 2 декабря 1955 года приговор Военного Трибунала войск НКВД Ленинградской области от 10 мая 1945 года в отношении Макаровой Е. М. отменен и дело прекращено за недоказанностью обвинения.

Макарова Е. М. по данному делу реабилитирована.

Из материалов дела видно, что Макарова окончила Саблинскую общественную гимназию.

С 1918 по 1919 год служила сельской учительницей в Новгородском уезде.

В 1919 году около полугода работала счетоводом на Московском вокзале.

В 1920 году поступила в Ленинградский университет и в 1925 году закончила его, получив диплом преподавателя литературы.

С 1925 по 1930 год работала преподавательницей русского языка и литературы в школе взрослых при заводах: «Большевик», «Светлана», «Ильич», «Красная заря», «Русский дизель».

В 1930 году поступила в Институт советского строительства при ВЦИКе и работала там ассистентом до 1933 года.

С 1933 года начинает заниматься литературным трудом.

В 1936—1937 годах периодически сотрудничала с Институтом русской литературы Академии наук.

В 1938 году — доцент в Институте народов Севера.

В 1939—1940 годах работала преподавателем литературы и русского языка в Кораблестроительном институте.

За время блокады являлась Председателем горкома писателей.

В 1942—1944 годах заведовала отделом критики журнала «Звезда».

В деле упоминаются следующие работы Макаровой: «Ленин о Щедрина», «Сталин и художественная литература», «Сталин о народном творчестве», «Ленин и Пушкин», «Реальные источники «Господ Головлевых».

Из материалов дела следует, что в бывшем имении Салтыковых (с. Спасское) ею был найден родовой архив семьи Салтыковых, в котором были обнаружены и подлинные письма самого Салтыкова-Щедрина (архив был сдан в Институт русской литературы АН СССР).

На основе материалов архива С.-Щедрина Макаровой были подготовлены научные работы: «Реально-исторические основы «Пошехонской старины», «О реализме Щедрина», «Дворяне Салтыкова».

*Фотография
не
найдена*

Сергей Арсеньевич МАЛАХОВ

1902 — 1973

Федеральная служба безопасности
Российской Федерации
Управление по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
15 января 1998 года
№ 10/44-Д-6086-2
Санкт-Петербург

Малахов Сергей Арсеньевич родился 27 июня 1902 года в г. Можайске, русский, член ВКП(б) с 1920 по 1935 год, исключен при проверке партдокументов.

Арестован органами НКВД 9 июня 1936 года. До ареста проживал в Ленинграде, ул. Блохина, дом 2, кв. 21, литературовед, исполнял обязанности профессора в ЛИФЛИ.

Малахов С. А. обвинялся «в том, что являлся активным участником контрреволюционной троцкистской организации в Московском государственном университете. Был связан организационно и политически с активными контрреволюционными троцкистами. Боролся против партии, двурушничал, т. е. в пр. ст. 58, п. п. 10 и 11 УК».

Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР 31 июля 1936 года Малахов С. А. был приговорен к заключению в ИТЛ сроком на 5 лет.

Освобожден 3 июня 1941 года из Ухтпечлага.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Малахов Сергей Арсеньевич (27.VI.1902, Можайск — 4.VIII.1973, Ленинград) — поэт, критик, литературовед. Чл. КПСС с 1920. В 1920 вступил добровольцем в Красную Армию. В 1925 окончил Моск. ун-т, а в 1929 — аспирантуру РАНИОН (Российская ассоциация НИИ общественных наук). Преподавал в ленингр. вузах, был сотрудником научно-исследовательских учреждений. В 1926—1927 опубликовал ряд статей о русском футуризме, статьи «Теория и поэтика конструктивизма» («Печать и революция», 1929, № 4, 8, 10), «Алексей Чапыгин» («Лит. современник», 1934, № 10), «О творчестве Александра Прокофьева» («Октябрь», 1934, № 12). Ему принадлежат также статьи о Тургеневе. В 1941—1947 преподавал в Самарканд. ун-те и пед. ин-те. С начала 50-х гг. жил в Ленинграде, был научным сотрудником ИРЛИ. Написал работу об А. В. Луначарском (глава в «Истории русской критики», 1958), статью «Теория и поэтика романа Тургенева и Гончарова» (в сб. «Проблемы реализма в русской литературе XIX века») и др. Опубликовал воспоминания («Нева», 1970, № 3).

Стихи. Пг., 1923; Земля в огне: Стихи. М., 1925; О партии, о любимой и о другом: Стихи. М., 1925; Кожанка: Стихи. М., 1925; Песни у перевоза: Стихи. М., 1927; Как строится стихотворение. М.—Л., 1928; Переверзевщина на практике: Критика теории и практики. Л.—М., 1931; Против троцкизма и меньшевизма в литературоведении. Л.—М., 1932.



**Владимир
Павлович
МАТВЕЕВ**

1897 — 1940

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
21 декабря 1990 года
№ 10/14—7379
Ленинград

Матвеев Владимир Павлович, 1897 года рождения, уроженец г. Перми, до ареста управляющий Ленинградским отделением Союзфото.

Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 16 января 1935 года по ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР приговорен к 5 годам ссылки в г. Туруханск Красноярского края.

Определением Военной Коллегии Верховного суда СССР от 23 августа 1957 года постановление Особого Совещания от 16 января 1935 года отменено и дело в отношении Матвеева В. П. производством прекращено за отсутствием состава преступления.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Матвеев Владимир Павлович (1897, Пермь — 1940) — прозаик. Сын революционера, именем которого в Перми названа улица и несколько учреждений культуры. Чл. КПСС с августа

1917 г. В это время он был курсантом Третьей Петергофской школы прапорщиков. Активный участник Октябрьской революции и гражданской войны. Командовал красногвардейскими отрядами в Перми, был первым комиссаром Генерального штаба при ген. Андогском. Когда восстал чехословацкий корпус и возникла угроза захвата золотого запаса республики, В. Матвеев был назначен комиссаром поезда и начальником партийного отряда из тридцати чел., которому поручалось спасение золота. В дальнейшем вел работу в тылу у белых, затем был начальником политотдела 31-й туркменской дивизии. После контузии демобилизовался (1920). В 1921 — отв. секретарь газ. «Известия». В начале 20-х гг. переехал в Ленинград. Работал в «Ленинградской правде», в торгпредстве (Финляндия), затем снова в Ленинграде — в Госиздате. В журн. «Залп» (1932, № 1) опубликована его статья «Необходимые замечания», посвященная созданию истории гражданской войны.

Комиссар золотого поезда: Повесть. Л., 1930 и др. изд.; Золотой поезд: Повесть. Л., 1931 и др. изд.; Последний день Хлябинского совнаркома. М.—Л., 1931; Разгон совнаркома: Повесть. Л., 1932.

КРЕСТ ВЛАДИМИРА МАТВЕЕВА

О Владимире Матвееве нельзя сказать, что имя его было предано забвению. Он известен больше как «автор одного произведения», приключенческой повести «Золотой поезд» (в другом издании «Комиссар золотого поезда»). Есть в этом занимательном сочинении любопытный эпизод: комиссар Ребров (в его образе без труда угадывается сам автор) совершает «экскурсию» по Ипатьевскому особняку, где жили в то время царская семья и ее челядь. Комиссару надлежало возглавить охрану дома, то есть предлагалось, как мы знаем теперь, «черное дело».

Он отказался.

При ближайшем знакомстве с биографией Матвеева мы понимаем, что эпизод этот не был случайностью. Как не случайно и то, что Владимир Павлович — активный участник становления Советской власти, бывший комиссар, правая рука Зиновьева — был полностью реабилитирован только в 1989 году, то есть в последнюю волну «прощений».

Он мало написал за свою жизнь, это с горечью отмечали хорошо знавшие его писатели: Михаил Слонимский, Вера Кетлинская. Попробуем же внимательно вчитаться в наброски, сюжеты ненаписанных повестей и рассказов Владимира Матвеева...

Прощай, штабс-капитан!..

Юнкер Матвеев вступил в РСДРП, в ее военную организацию, в августе 17-го. Помещался комитет в Питере, на Литейном проспекте, а Владимир учился тогда в Петергофской школе прапорщиков. В военную организацию он надумал войти не один, а вместе с группой юнкеров-большевиков, были и такие в школе.

В массе своей юнкера послужили для Временного правительства последней «палочкой-выручалочкой», они защищали Зимний дворец. Юнкер Матвеев, напротив, по предложению Петергофского Совета, в ночь с 21 на 22 октября участвовал в захвате телефонной и телеграфной станции в Нижнем Петергофе.

«Самоволка», да еще с оружием, захват правительственного учреждения — все это грозило юному революционеру военным судом, если бы дело «провалилось». Мосты за собой были сожжены у всей группы захвата.

Петергофский Совет поднял восстание раньше, чем в столице. Благодаря этому шесть юнкерских школ, расположенных в Петергофе, не смогли выступить в поддержку петербургским юнкерам. А это значит удалось избежать массового, брагоубийственного кровопролития.

Уже шли аресты и контраресты, уже начались стычки между солдатскими патрулями и юнкерами... Как удалось Матвееву с товарищами провести отчаянную и рискованную операцию, мы не знаем. Об этом эпизоде своей бурной молодости он рассказывал иногда в кругу друзей-писателей, но сам описать его не успел.

В мае 1918 года Владимир Матвеев был назначен комиссаром Академии Генерального штаба. Он был «приставлен» к генералу Андогскому. Двадцатилетнему комиссару удалось весьма ловко, дипломатично провести непростую операцию по разоружению офицеров Генштаба и в то же время предохранить своих «подопечных» от попыток самосуда со стороны солдат. (Правда, генерал Андогский не оценит джентльменского поступка комиссара: через несколько месяцев он поступит на службу в штаб Колчака.)

После роспуска школ прапорщиков Владимир Матвеев работал в родных местах на Урале, участвовал в установлении Советской власти в Перми, в организации красногвардейских отрядов и частей особого назначения.

Когда Колчак подступил к Перми, Матвеева направили на подпольную работу в тыл белых.

Он выполняет особое задание Ленина: обеспечить сохранность золотого запаса Советской республики. Наступали белоче-

хи, одно за другим вспыхивали восстания в Ярославле, Невьянске... И все же задание было выполнено, «золотой поезд», комиссаром которого был назначен Матвеев, прорвался сквозь горящие кольца восстания, золото было запрятано до поры до времени в надежном месте. Под началом комиссара (и одновременно начальника партийного отряда) было всего три десятка человек.

Однако белым в то время сопутствовала удача на фронте, «пермской катастрофы» уже нельзя было избежать. Вот какой, в канун ее сдачи колчаковцами, предстала Пермь, губернская столица, перед глазами комиссара:

«Глубоким снегом занесена маленькая Пермь. Она уже не тиха и не безлюдна. Все екатеринбургские учреждения разместились здесь. Тридцатитысячный гарнизон. Штаб армии. Круто хозяйничает в городе Голованов. Не хватает места для лазаретов... Не хватает квартир военным работникам — пермские купцы и чиновники поживут в публичных домах на окраине, «Сахалине». Были закрыты шесть церквей, в них помещены школы...»

Пермь, однако, была сдана почти без боя, не удалось вывезти не только боеприпасы, оружие (в огромных количествах); в панике красные бросили на произвол судьбы и раненых. Безоружных, беспомощных, их расстреливали, докалывали, спускали под лед Камы «доблестные пепеляевцы», ворвавшиеся в город...

Под фамилией Голованов автор вывел видного уральского большевика, «крутого хозяина» А. Г. Белобородова. Выходец из демократических низов, почти земляк Матвеева (уроженец Александровского завода Пермской губернии), Белобородов сыграл одну из ключевых ролей в уничтожении царской семьи, или как тогда говорили, согласно духу времени, в «акте народной мести».

Владимира Павловича судьба миловала. Он в таких делах не участвовал. Не то воспитание. Отец, Павел Александрович, сумел воспитать в трех своих сыновьях уважение к личности; работал до революции старший Матвеев адвокатом, слыл социал-демократом, но, видимо, не случайно у него, революционера, прошедшего немало лет в тюрьмах и ссылках царского времени, тем не менее возникали разногласия с большевиками. Павел Александрович вступил в ВКП(б) будучи меньшевиком-интернационалистом. Его взгляды не могли не сказаться на сыновьях.

С «крутым хозяином» Александром Белобородовым судьба столкнула Матвеева еще в Вятке, когда в феврале-марте 18-го Владимир был командирован для укрепления Советской власти. Город был к тому времени почти потерян: новые органы власти

в Вятке и неуправляемы, и бессильны, кругом воцарился беспорядок.

«Разгон Хлябинского совнаркома» — так называет он свою повесть о тех днях (издавалась в Ленинграде в 1932 году незначительным тиражом, другое название — «Последний день Хлябинского совнаркома»). Хлябинск — это Вятка). Документальная основа произведения такова: чистка соваппарата, разоружение разложившихся частей, арест виновников разложения. Кому-то название показалось очень подозрительным. Время было такое, что антисоветскую крамолу можно было легко отыскать в самой невинной вещице, а тут — разгоняют совнарком, как можно? Автор, что называется, «подставился».

Началом повествования послужил реальный конфликт. В подворье Белогорского мужского монастыря произошла стычка — «бой в дыму, ничего не видно», с обеих сторон жертвы: убито и ранено около 15 человек.

Блистательную операцию по разоружению отряда почти в 60 человек М. Соловьев и В. Матвеев провели практически вдвоем. Соловьев был командиром красногвардейцев из пермских железнодорожников, позднее командовал батальоном губчека. В произведении Матвеева этот человек узнается в образе решительного командира Запрягаева.

В январе 1935 года во многих газетах страны, в том числе и в родной для Матвеева «Ленинградской правде», которой он отдал столько лет, было опубликовано постановление, извещавшее, что 49 участников зиновьевской оппозиции приговорены к заключению в концентрационные лагеря на сроки от 4 до 5 лет, и еще 29 человек — к ссылкам от 2 до 5 лет. Владимир Павлович получил 5 лет...

Он уже задолго до беды чувствовал, к чему клонится дело. С одной стороны, с внешней, положение у него было достаточно прочное. Безукоризненная, вроде бы, биография: один из самых молодых членов Ленинградского отделения общества старых большевиков; Ленсовет наградил Матвеева памятным знаком «Бойцу Красной гвардии, красному партизану». (Награда была вручена в связи с 15-летием Октября.) Его призывали на военные сборы, с которых он вырвался однажды осенью домой в форме, на петлицах у него были ромбы, стало быть — комбриг (звание, соответствующее генерал-майору).

И вдруг — перевод на новое место, затем еще одна переброска, и все это почти без объяснений. Да, собственно, объяснений и не требовалось: ясно было, что редакцию «чистили» от оппозиционеров. Матвеев был ответственным секретарем

«Ленинградской правды», то есть фактически заместителем Г. Е. Зиновьева, а когда тот всецело уходил в коминтерновскую деятельность, в оппозиционную борьбу и возвращение своего честного имени — в такие моменты Владимир Павлович оставался за руководителя всей газеты.

После убийства Кирова почти сразу стало ясно, где ищут виновников. С Алексеем Толстым Матвеев был хорошо знаком, они общались в ходе редактирования «Петра I». И даже этот крупный писатель позднее напишет в очерке «Русский богатырь» о том, что «Сергей Миронович был убит агентом бандитской троцкистско-зиновьевской террористической организации». Очерк Толстого изобиловал фактическими неточностями, но такова уж была официальная версия, которую распространили истинные заговорщики...

Владимир Матвеев относился к личности Троцкого резко отрицательно, он выступал и публично с критикой в его адрес. Личность свободомыслящая, независимая, Владимир Павлович допускал даже такую неслыханную по тем временам вольность, как неуважительные реплики по адресу самого «вождя народов». И уж если заявил Иосиф Сталин, что зиновьевцы — это не кто иные, как «замаскированные троцкисты!» — стало быть, так оно и есть.

Владимир Павлович успел еще поработать в Советском торгпредстве в Гельсингфорсе (Хельсинки). Там у него произошла одна радостная встреча с хорошим знакомым еще по Восточному фронту В. А. Трифоновым. Они дружили и семьями, у Матвеевых бывал сын Трифоновых, Юрий, будущий писатель. Пермь была памятна обоим «ветеранам». В годы гражданской, когда скрестились боевые пути Матвеева и Трифонова, приезжал в Пермь и Зиновьев, выступал перед красногвардейцами...

Из Гельсингфорса Матвеева быстро отозвали обратно в Ленинград. Когда уезжали, Владимир Павлович строго-настрого наказал своей жене, Лидии Васильевне: «Ничего не смей с собой брать».

Опыт его подсказывал: против него плетутся козни. Взяли Матвеева, когда он работал управляющим местным отделением Всесоюзного фото-иллюстрационного акционерного общества. Взяли после того, как он с женой послушали оперу «Лоэнгрин» Вагнера...

Высокий, худошавый, с небольшой русой бородкой, в очках — таким запомнился Владимир Матвеев многим писателям. Бывший комиссар «золотого поезда» вызывал интерес, по воспоминаниям М. Слонимского, не только своей биографией, но рез-

ким, острым умом, колкой речью, решительностью в суждениях и поступках.

«В то же время,— вспоминает Слонимский,— за стекляшками очков глаза его светились юмором, а за ключими словами вдруг в дружеских беседах раскрывались сердечность и простота человека, много испытавшего, много повидавшего, много и глубоко думающего о событиях, о людях, о будущем...»

Работая в издательстве художественной литературы, Матвеев близко познакомился с Н. Заболоцким, В. Бианки, Д. Хармсом и другими «обэриутами», с В. Кавериным (последний уделил Матвееву несколько абзацев в романе «Над потаенной строкой»). Некоторые молодые тогда писатели имели основания считать Матвеева одним из своих наставников, учителей. Сам Матвеев, как казалось окружающим его людям, не торопился с осуществлением творческих замыслов (а ведь был профессиональным писателем, членский билет Союза получил за подписью Горького).

Но он писал... Писал даже в условиях нервозности и слезки, в обстановке духовного гнета и невыносимой подозрительности, называвшейся «революционной бдительностью». Основание для такого вывода дает один из последних его рассказов (или набросок будущей повести?), названный «Крест мичмана Гефтера».

Сюжет этого небольшого и в принципе законченного рассказа прост и значителен. Выполняя задание некоей организации, судя по всему антисоветской, мичман совершает почти подвиг: плывет в холодной воде Финского залива, пересекает границу, рискуя быть застреленным. Однако его ожидает полный крах, когда он узнает, что в чемодане, доставленном им с таким трудом, находилось дамское барахло. А молодой честолюбивый мичман так жаждал бороться за идеалы, так мечтал всю жизнь нести ради них свой крест...

Образ незадачливого борца выписан Матвеевым со сдержанной иронией. В отличие от Гефтера сам автор был уверен в своих идеалах, ведь он не был просто пешкой в игре. Крестом Владимира Матвеева была революция.

Всем обликом своим Матвеев напоминал рыцаря — того бескорыстного защитника справедливости, вагнеровского Лоэнгина, который мог оставаться среди людей до тех только пор, пока жива была вера в него. Точку в деле Матвеева поставили быстро: после Туруханской ссылки его не выпустили на свободу. Писателя расстреляли, как и многих его единомышленников.

А вот дело с реабилитацией В. П. Матвеева затянулось на-

долго. «Неразоружившийся троцкист» не вошел ни в первую, ни во вторую волну реабилитированных. Справедливость в отношении Матвеева торжествовала, так сказать, поэтапно (вечный этапник!). Только в 1989 году он был восстановлен в партии комиссией Политбюро ЦК КПСС — «учитывая голословность политических обвинений и полную реабилитацию в уголовном порядке».

Владимир Гладышев



**Павел
Николаевич
МЕДВЕДЕВ**

1891 — 1938

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Медведев Павел Николаевич, 1891 года рождения, уроженец Ленинграда, русский, гражданин СССР, беспартийный, преподаватель литературы ЛГУ и Института им. А. И. Герцена, проживал: Ленинград, канал Грибоедова, д. 9, кв. 86.

Арестован 12 февраля 1938 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 58-10 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда), 58-11 (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления).

Постановлением Особой Тройки Управления НКВД ЛО от 8 июня 1938 года определена высшая мера наказания.

Расстрелян 18 июня 1938 года.

Постановлением Президиума Ленинградского городского суда от 5 ноября 1956 года постановление Особой Тройки Управления НКВД ЛО от 8 июня 1938 года в отношении Медведева П. Н. отменено и дело, за отсутствием в его действиях состава преступления, прекращено.

Медведев П. Н. по данному делу реабилитирован.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Медведев Павел Николаевич (4.1.1891, Петербург — 18.6.1938) — критик, литературовед. Окончил юрид. фак. Петрогр. ун-та (1914). Начал печататься в 1911 в кишиневской газ. «Бессараб. жизнь». После Октября в Витебске заведовал внешкольным образованием, преподавал в пед. ин-те, был ректором Пролетарского ун-та. В 1922 переехал в Петроград. Работал во внешкольном музее, в литературно-художественном отделе Госиздата (ГИХЛ), в 1922—1924 редактировал еженедельник «Зап. Передвиж. театр П. П. Гайдебурова и Н. Ф. Скарской», читал курсы русской, советской и зарубежной литературы в Пед. ин-те им. А. И. Герцена, Ленингр. ист.-лингв. ин-те, Воен.-политич. акад. им. Толмачева. Автор одного из первых курсов истории советской литературы. С 1935 — профессор Ленингр. ун-та. Автор многих статей и очерков по советской литературе, работ по методологии литературы, психологии творчества. Осуществлял публикации литературного наследия А. Блока, под его редакцией вышли первые издания «Дневника» (1928) и «Записных книжек» (1930) поэта.

Творческий путь А. Блока. — В кн.: Памяти А. А. Блока. Пг., 1922 и 1923; Демьян Бедный: Критико-биографический очерк. Л., 1925; Пути и перспутья Сергея Есенина. — В кн.: Клюев Н., Медведев П. Сергей Есенин. Л., 1927; Драмы и поэмы Ал. Блока. Л., 1928; Формальный метод в литературоведении: Критическое введение в социологическую поэтику. Л., 1928; В лаборатории писателя. Л., 1933; Методическая разработка по курсу истории русской литературы эпохи империализма и пролетарской революции. Л., 1933; формализм и формалисты. Л., 1934; В лаборатории писателя. Л., 1960 и 1971.

ПОСМЕРТНО РЕАБИЛИТИРОВАН

Павел Николаевич Медведев (1891—1938) прожил недолгую, но крайне насыщенную жизнь. Еще будучи студентом Петербургского университета, он начинает печататься как литературный критик. В 1912 году он предложил редактору журнала «Современник» сразу три статьи — о Брюсове, Блоке и «К философии русской литературы» (РНБ. фонд 118). В 1915 году он добровольцем уходит на фронт, публикуя в газетах и реляции из действующей армии и статьи о Пушкине, Гоголе и Андрее Белом. После февральской революции он становится городским головой Витебска, а после Октября играет ведущую роль в куль-

турной жизни Витебска тех лет как заведующий внешкольным образованием, ректор Пролетарского университета, преподаватель Педагогического института и инициатор многих начинаний, в частности, «Общества свободной эстетики». В начале 20-х годов Витебск становится крупным культурным центром, где жили, работали и общались Шагал, Добужинский, Бахтин, Юдина, Соллертинский и другие выдающиеся деятели отечественной культуры. С этого времени Медведева связывает близкая дружба с М. М. Бахтиным и их общим кругом, участие в «бахтинском» философском семинаре, продолжившееся затем в Ленинграде, — вплоть до ареста Бахтина в 1929 году. В 1936 году Бахтин, которому после ссылки было запрещено проживать в крупных городах, по рекомендации П. Н. Медведева был принят на работу в Саранский педагогический институт, а в 1929 году благодаря хлопотам П. Н. Медведева вышла в свет книга Бахтина о Достоевском (Литературное наследство, т. 93. М., 1983, с. 702).

Переезд в 1922 году в Петроград совпал для Медведева с выходом в «Полярной звезде» его книги о Блоке, оформленной Юрием Анненковым. Редактируя в 1922—1924 годах журнал «Записки Передвижного театра», Медведев почти в каждом номере выступает со статьями или рецензиями, внимательно следя за всеми наиболее интересными событиями культурной жизни. Памятен его моментальный отклик на «Письма о русской поэзии» Николая Гумилева — вероятно, первый среди немногочисленных откликов на посмертно вышедшую книгу расстрелянного поэта. На страницах журнала поддерживал Медведев и уже попавшего в опалу Клюева. В журнале сотрудничали привлеченные Медведевым Э. Голлербах, А. Пиотровский, К. Вагинов, В. Жирмунский, Б. Томашевский, В. Волошинов и многие другие литераторы.

В 1923 году Медведев становится деятельным участником творческого объединения петроградских писателей «Согрудничество», куда входили А. Чапыгин, М. Фроман, Н. Баршев, И. Оксенов, В. Рождественский, Б. Четвериков, Н. Катков, Б. Лавренев, М. Козаков, Н. Браук и М. Комиссарова. «Содружество» ставило задачи творческого роста и стремилось создать «благоприятную, сочувственную, дружескую атмосферу, вне которой тяжело прорастает художественное дарование» (П. Медведев).

В день трагической гибели Есенина Медведев, наряду с Рождественским и Фроманом, был официальным свидетелем, подписавшим милицейский протокол. Его совместная с Клюевым книга «Сергей Есенин» (Л. «Прибой», 1927) получила широкую известность и была сильно изругана рапповской критикой

(«О чем они плачут?»), — вопрошал «комсомольский поэт» А. Безыменский и наклеивал антисоветские ярлыки).

В Петрограде Медведев продолжает изучение литературного наследия А. Блока, с которым был лично знаком. Современный исследователь «серебряного века» А. В. Лавров пишет: «Медведев — один из первых исследователей русского символизма; особенно глубоко и фундаментально он изучал творческое наследие А. Блока. Книги и публикации Медведева — среди них «Памяти А. А. Блока» (1922), «Драмы и поэмы Ал. Блока (Из истории их создания)» (1928), подготовленные им «Дневник» (1928) и «Записные книжки» (1930) Блока — заложили основы научного истолкования творчества крупнейшего поэта начала XX века, ими во многом определяется уровень блоковедения 20-х годов». («Взгляд», М., 1988, стр. 430).

П. Н. Медведеву принадлежат также значительные труды по теории и истории литературы, психологии творчества, статьи о творчестве писателей-современников.

Поистине всемирную известность получила книга Медведева, вышедшая из философских собеседований и диалогического общения с М. М. Бахтиным — «Формальный метод в литературоведении» (1928), переведенная в последние годы на все основные языки.

По складу своему, по трудам, по темпераменту П. Н. Медведев был талантливым просветителем и собирателем русской культуры. Об этом свидетельствуют, в частности, ныне опубликованные письма к Медведеву Бориса Пастернака («Литературное наследство», т. 93. М., 1983) и Андрея Белого («Взгляд». М., 1988), публикации «Из архива Павла Николаевича Медведева» в журнале «Аврора» (1989—1991) и другие материалы.

Хорошо знали Медведева ленинградские букинисты и библиофилы. В своих книгах они вспоминают Павла Николаевича, собравшего одну из лучших в городе личных библиотек, в которой особенно полно были представлены прижизненные пушкинские издания. Глубокую любовь к Пушкину Павел Николаевич пронес через всю жизнь, читая о нем лекции, будучи автором статей о поэте, активным членом Пушкинского общества.

В конце 20-х и в 30-е годы Медведев читал курс русской литературы конца XIX — начала XX века, курс новейшей литературы, курс поэтики, курс западной литературы в различных ленинградских вузах, вел спецсеминары, руководил аспирантами. Еще до создания Союза советских писателей Павел Николаевич неоднократно избирался в правление Ленинградского писательского союза. «В писательской среде он пользовался уважением

и любовью», — пишет Е. Добин в предисловии к книге Медведева «В лаборатории писателя».

Многие научные труды Медведева оказались незавершенными: осталась недописанной его книга по поэтике, после ареста был рассыпан набор уже сданного в издательство учебника для вузов, остались ненаписанными воспоминания, а ведь он был связан творческими и дружескими узами со многими интереснейшими людьми. Конфискованный при аресте архив таит в себе множество ценнейших документов эпохи — письма, рукописи, бесценные фотографии, весь витебский период интенсивной культурной деятельности. Существует слабая надежда, что что-то еще найдется, когда-нибудь выплывет наружу — нашлись же в каких-то тайниках личные вещи Рауля Валленберга, само наличие которых так преступно долго скрывалось и отрицалось.

П. Н. Медведев был арестован в ночь на 12 февраля 1938 года как «участник антисоветской организации». Постановлением Особой Тройки он был приговорен к высшей мере наказания — расстрелу, с конфискацией имущества. Приговор был приведен в исполнение 18 июня.

Свидетельство о последних днях Павла Николаевича Медведева сохранилось в воспоминаниях Николая Заболоцкого, впервые опубликованных в журнале «Даугава» (№ 3 за 1988 г.). Вот что поведал мне Никита Николаевич Заболоцкий, сын поэта: «...Сообщаю то немногое о Вашем отце, что было рассказано моим отцом моей маме и сохранилось в ее памяти. Речь идет о трагических днях пребывания наших отцов в тюремной камере Дома предварительного заключения Ленинградского НКВД в апреле 1938 года. В «Истории моего заключения» Н. А. Заболоцкого говорится о встрече его с Павлом Николаевичем: «Узнав, что новичок — писатель, соседи заявили мне, что в камере есть и другие писатели, и вскоре привели ко мне П. Н. Медведева и Д. И. Выгодского, арестованных ранее меня. Увидев меня в жалком моем положении, товарищи пристроили меня в какой-то угол». Пристроить вернувшегося из тюремной психиатрической больницы Заболоцкого в угол (т. е. в удобное место) переполненной заключенными камеры, конечно же, было нелегко. Для этого требовались самоотверженность и решительность. Судя по всему, Павел Николаевич вообще вел себя в камере мужественно. «Мой отец рассказывал маме — и она это хорошо помнит, — как П. Н. Медведев не только сам не поддавался унынию, но и пытался по мере сил подбодрить других заключенных, которыми до отказа была набита камера». (Письмо Н. Н. Заболоцкого от 3 апреля 1990 года).

Ложь, жестокость и коварство преследовали репрессированных и их семьи на всем жизненном пути. Об истинной судьбе расстрелянного знать не полагалось. Даже в 1956 году в свидетельстве, выданном уже после посмертной реабилитации, было написано, что Медведев П. Н. «умер 24 августа 1942 года, причина смерти — инфаркт миокарда». А в 1938 году матери моей перед ее отправкой в ссылку с годовалым сыном (со мной) было сказано, что отец приговорен к 10 годам «дальних лагерей, без права переписки». Поэтому мама моя — Олимпиада Макаровна Медведева, — не подозревая о том, что она уже вдова, продолжала хлопотать, продолжала бороться за мужа. Ее хлопоты были поддержаны друзьями и товарищами отца по работе — писателями В. Шишковым и М. Зощенко, профессорами В. А. Десницким, Н. К. Пиксановым, О. В. Цехновицером.

Но вернуть к жизни П. Н. Медведева они не могли...

Юрий Медведев



**Александр
Иосифович
МОРГУЛИС**

1898 — 1938

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Моргулис Александр Иосифович, 1898 года рождения, уроженец г. Ростова-на-Дону, еврей, гражданин СССР, беспартийный, писатель, член ССП, проживал: Ленинград, Саперный пер., д. 14, кв. 23,

жена — Ханцис-Моргулис Иза Давыдовна (в 1955 году проживала: Ленинград, В. О. 24-я линия, д. 13, кв. 15)

сын — Моргулис М. А., 4 года (в 1936 году).

Арестован 28 августа 1936 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 58-10 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда).

Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 21 марта 1937 года определено содержание в ИТЛ сроком на 5 лет.

Умер 20 октября 1938 года в Севвостлаге.

Постановлением Ленинградского городского суда от 14 октября 1955 года постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 21 марта 1937 года в отношении Моргулиса А. И. отме-

нено и дело, за отсутствием в его действиях состава преступления, прекращено.

Моргулис А. И. по данному делу реабилитирован.

Моргулис А. И.— редактор Детиздата ЦК ВЛКСМ.

В 1927 г. переселился в Ленинград.

Сотрудничал в Детиздате и Гослитиздате.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Моргулис Александр Осипович (2.IX.1898, Ростов-на-Дону — 1938) — переводчик. Окончил юрид. фак. Дон. (Ростов) ун-та (1921). Работал редактором в ленинградских издательствах, зав. информ. отделом газ. «За ком. просвещение», зав. секретариатом «Крас. газ.». Начал литературную деятельность в 1929 (пер. романа А. Дюма «Три мушкетера»). В последующие годы перевел «Мадам Бовари» Г. Флобера, «Отец Горио» О. Бальзака, «Собор Парижской богородицы» В. Гюго, произведения Рабле.



**Евгения
Яковлевна
МУСТАНГОВА**

1905 — 1937

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Мустангова Евгения Яковлевна, 1905 года рождения, уроженка г. Днепропетровска, еврейка, гражданка СССР, беспартийная, литератор, член ССП, проживала: Ленинград, пер. Чернышев, д. 14, кв. 34.

Арестована 29 ноября 1936 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялась по ст. 17—58-8 УК РСФСР (пособничество в совершении террористического акта), 58-11 (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления).

Приговором выездной сессии Военной Коллегии Верховного суда СССР от 23 декабря 1936 года определено 10 лет тюрьмы с последующим поражением в политических правах сроком на 5 лет.

Направлена в Белбалтлаг НКВД.

Постановлением Особой Тройки Управления НКВД ЛО от 10 октября 1937 года определена высшая мера наказания.

Расстреляна 4 ноября 1937 года.

Определением Военной Коллегии Верховного суда СССР от 10 ноября 1956 года приговор Военной Коллегии Верховного суда СССР от 23 декабря 1936 года и постановление Особой Тройки Управления НКВД ЛО от 10 октября 1937 года в отношении Мустанговой Е. Я., отменены, и дело за отсутствием в ее действиях состава преступления, прекращено.

Мустангова Е. Я. по данному делу реабилитирована.

...Их было двое: Евгения и Георгий. Они совместно трудились в литературе — каждый на своем поле, вместе жили, и хотя в их паспортах не стояла печать ЗАГСа, друзья знали: Мустангова и Горбачев — это одно целое. Семья. Для Жени Георгий был не только самым близким, любимым другом, но и литературным наставником. Отсвет его личности падал и на нее. Об этом хорошо знали в «органах». И значит им было «за что» арестовать и осудить эту тоненькую хрупкую женщину. И «за что» — расстрелять.

О жизни и творчестве Георгия Горбачева мы уже писали в первом выпуске серии «Распяты» (Л., 1993, стр. 169), но тогда еще не имели документа о его судьбе. Теперь он есть, и наше знание о двух — муже и жене — репрессированных писателях пусть будет дано вместе...

Федеральная служба безопасности
Российской Федерации
Центральный архив
2 июля 1997 года
№ 10/А—3090
Москва

Горбачев Георгий Ефимович, 1897 года рождения, уроженец Ленинграда, член ВКП(б) с 1919 года. В 1927—1929 годах исключался за принадлежность к троцкистской оппозиции. С 1916 по начало 1918 года — меньшевик-интернационалист. В 1921—1922 годах — член Ленсовета. С 1919 по 1925 год — политработник (начальник политотдела, зам. начальника политуправления Петроградского военного округа, преподаватель). На момент ареста — главный библиотекарь Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ныне Российской национальной библиотеки), профессор Ленинградского института философии, истории и лингвистики.

Арестован органами НКВД СССР 10 декабря 1934 года по обвинению в принадлежности к контрреволюционной организации. В качестве обвиняемого проходит по делу «Ленинградской контрреволюционной зиновьевской группы Сафарова, Залуцкого и др.».

Решением Особого Совещания при НКВД СССР от 16 января 1935 года приговорен к заключению в ИТЛ на 5 лет (ст. 58-11

УК РСФСР). Определением Военной Коллегии Верховного суда СССР от августа 1958 года — реабилитирован.

Постановлением Тройки Управления НКВД по Челябинской области (ст. 58-11 УК РСФСР) от 2 сентября 1937 года (по другим данным 2 октября 1937 года) приговорен к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение 10 октября 1937 года. Реабилитирован Определением Военного Трибунала Уральского военного округа 8 июля 1958 года.

ЕЕ ПРОЗВАЛИ «МУСТАНГОМ»

Преамбула такова: Мустангова Е. Я. «Арестована 29 ноября 1936 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Приговором выездной сессии Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 23 декабря 1936 года определено 10 лет тюрьмы с последующим поражением в политических правах сроком на 5 лет.

Направлена в Белбалтлаг НКВД» (по материалам КГБ).

Но если отступить от этой даты и вернуться на 31 год назад, то узнаем, что 9 января 1905 года, в день «Кровавого Воскресения» (стар. ст.) в Екатеринославе (ныне Днепропетровск) в небогатой еврейской семье (отец — Янкель Рабинович — наборщик типографии, мать — домохозяйка) родилась девочка, которую назвали Евгенией.

Россию раздирала революция. В старинном городе на Днепре, как повсюду, взметались над толпами красные флаги, вспыхивали на улицах беспорядки, бастовали рабочие. Мать сказала о младенце: «Будет революционерка», бабушка с испугом откликнулась: «Не дай Бог!»

Дом, населенный беднотой, двор, поросший травой, детские песенки, какие-то первые стишки, увлечение музыкой, упоение книгами... В дворянскую гимназию не принимают — процентная норма, но все же как-то удалось. А в городе бушует гражданская война, власти меняются, точно карты в руках азартных игроков: то Деникин, то банды Шкурко, то Махно и, наконец, твердо — Красная Армия. «Белогвардейцы удирали из города, к нам во двор вбежал пьяный офицер, приставил отца к стенке, направил на него револьвер. Женя подскочила, схватила офицера за ногу, он упал. Его подхватили другие офицеры, бегом, бегом утащили. Мама очень плакала, он мог убить и Женю. А она, забившись в угол, молчала. Она никогда не плакала. Мужество было присуще ей с детства» (Из воспоминаний сестры Евг. Мустанговой Анны Яковлевны Рабинович-Розиной.)

Маленькая, невзрачная в детстве, худенькая, хрупкая с огромными глазами и копной кудрявых густых волос, смуглая от природы она была схожа с цыганкой и потому, когда ставили на гимназической сцене пушкинских «Цыган», в костюме цыганенка звонко читала:

Цыгане шумною толпой
По Бессарабии кочуют...

Литература стала ее страстью. Окончилась гражданская война, Женя Рабинович поступает на литературный факультет только что открывшегося в городе Института народного образования. Но, как видно, того, что он дает, для души мало, она уезжает в Петроград и становится студенткой университета. Год 1923-й. Филологический факультет. Она слушает лекции профессора Владислава Евгеньева-Максимова, Бориса Эйхенбаума, Георгия Горбачева. Среди других ее отличает пылкая увлеченность предметом, глубоко серьезное к нему отношение. Евгеньев-Максимов, который вел семинар по Некрасову, обратил внимание на умную, образованную, прекрасно владеющую словом студентку и, когда позднее вместе с Корнеем Чуковским готовил первое советское издание сочинений Некрасова (1930), привлек ее к сотрудничеству. Ее статьи опубликованы в III и IV томах, для четвертого тома она написала статью о романе «Три страны света».

В 1929 году в Ленинграде вышла небольшая книга «Современная русская критика» Евгении Мустанговой. Это и была она, Женя Рабинович, маленькая, привлекательная, с грациозной высокой шеей и гривой темных волнистых волос, за которую ее прозвали «Мустангом». Это слово, слегка измененное, и стало ее литературным псевдонимом «Мустангова». Но еще до этого в журналах и сборниках одна за другой появлялись ее работы. В журнале «Печать и революция» статья «Михаил Булгаков» (№ 4, 1927 г.), в книге «Голоса против» (1928) статья «Есть ли у нас критика», в «Литературной критике» (№ 4 1935 г.) «Наследство Маяковского в современной поэзии»; «О поэтических традициях» («Звезда», 1936, № 1); «Советская поэзия сегодня». («Резец» (1936, № 1). Вышедшую в 1931 году книгу Н. А. Некрасова «Стихотворения» предваряет статья Е. Мустанговой.

Ее выступления как в печати, так и словесные, отличала горячая полемичность, непримиримость, взволнованность. Она не умела быть равнодушной к предмету обсуждения. Свои идейные позиции она формировала в полном согласии с тем, что прокламировал ВААП, членом которого являлась, а затем и группа «Литфронт».

Еще в студенческие годы она привлекала внимание не только В. Е. Евгеньева-Максимова, но и профессора Георгия Горбачева: выступала на его семинарах с докладом о творчестве Маяковского. Впоследствии положения тогдашнего доклада развивала в статьях, в большом исследовании о поэте.

Один из вождей ЛАППа — Георгий Горбачев сыграл в творческой, а впоследствии и в жизненной, глубоко трагической судьбе Евгении Мустанговой немалую роль.

«Женя была очень эмоциональным человеком, жизнерадостным, чувство юмора ей никогда не изменяло. Когда она приходила к нам (мы жили тогда раздельно), то в дом врвался поток юмора, стихов (у нее была прекрасная память, стихи могла читать часами), интересной информации, смеха, шуток. В доме сразу возникала атмосфера праздника... в университете она входила в литературную группу и часто на вечерах выступала с чтением своих стихов вместе с Саяновым (тогда — Махниним), Марией Терентьевой, Г. Коротковым и другими.

Помню, как она повела меня на вечер общества «Старый Петербург». Там выступали Анна Ахматова, Всеволод Рождественский (тогда еще в костюме моряка), Мария Комиссарова, сестры Наппельбаум и другие.

Женя писала стихи всю жизнь, но, кроме как в университете (когда там училась), никогда их публично не читала и не печатала. Она была очень требовательна к себе, понимала и чувствовала музыку стиха, подлинную поэзию и поэтому критически оценивала свои стихи, но не могла их не писать. (При ее аресте были конфискованы несколько тетрадей с ее стихами.)» (Из воспоминаний Анны Рабинович-Розиной.)

В 30-х годах она была уже известным литературным критиком, много публиковалась; полная энергии, динамизма руководила литературным кружком на одном из ленинградских заводов, выступала на больших вечерах, посвященных поэзии, участвовала в выездных пленумах Союза писателей. «...Я помню ее возбужденный рассказ о пленуме в Минске в 35-м году. Николай Тихонов рассказывал, что ее выступление прошло с большим успехом». (Из воспоминаний Анны Рабинович-Розиной.)

И при всем этом у нее еще хватало времени, желания, сил быть одним из литературных наставников, на чью долю выпало воспитывать, растить молодую литературную смену пролетарской литературы (пусть никто из современных читателей не улыбнется иронически: пролетарской, по существу своему выражающей современность, революцию, она и была...).

Я познакомился с Мустанговой будучи студентом Литератур-

ного университета при Ленинградском Союзе писателей. Она руководила семинарами по критике, по поэзии, читала общие курсы советской литературы. В аудиториях (в классах одной из школ, где мы учились вечером) слушали ее многие из тех, кто впоследствии вошел в литературу: Георгий Холопов, Елена Себровская — прозаики, Николай Кондратьев — публицист, Ада Котовщикова — детская писательница, Антонина Голубева — автор известной книги о Кирове, Бронислав Кежун, Борис Глебов — поэты, Яков Ильичев, Михаил Гатчинский — романисты... Все мы были полны энтузиазма, веры в будущее и никакие препоны не казались нам страшными. Евгению Мустангову мы — хотел бы сказать очень уважали, но это не то слово — она была не намного старше нас, мы относились к ней, как к старшей любимой сестре.

О ней можно сказать, что она жила светло, и свет ее души передавался другим. Помню, с каким тактом, с доброй улыбкой она подвергала критическому разбору чье-либо творение. Она старалась делать это так, чтобы не только не пробуждать обиду, но, наоборот, рождать желание творить снова и снова.

Лето 1936 года было уже неспокойным. Судебные процессы, аресты. Еще в декабре 1934 года был взят Георгий Горбачев, с которым Мустангову связывало многое — и творческие отношения, и личная симпатия. Она не верила в его виновность, ни его, ни других, схваченных ее друзей, писала в Ленинградское управление НКВД протестующие письма, заявления, в которых доказывала их честность. Она все еще верила в «святость» рыцарей Дзержинского, в их непогрешимость и справедливость.

Летом 1936 года она заключила с журналом «Звезда» договор на серию статей о поэзии — Тихонов, Пастернак, Пушкин, и ряд других писателей, всего 6 печатных листов. Вот он лежит передо мной — ветхий, пожелтевший, с выцветшим машинописным и чернильным текстом, листы датированы 7 июня. Подписала и уехала в любимое место отдыха — Коктебель, рассчитывала там поработать. Вернулась в сентябре, но каким он оказался мрачным для нее, этот месяц: узнала о том, что арестованы самые близкие друзья: Михаил Майзель, с матерью которого она проживала вместе на Чернышевом переулке, Зелик Штейнман. Обычная веселость еще не совсем оставила ее, но уже пересиливали удрученность, депрессия.

29 ноября пришел и ее черед.

«Утром, после ее ареста, мне позвонил добрейший М. М. Зошенко — Женин большой друг, — пишет сестра Е. Мустанговой А. Я. Розина. — Он рассказал, что накануне они вместе были

в ресторане Литфонда, он провожал ее домой, хотел зайти к ней, но она сказала, что заходить не надо, т. к. каждый вечер можно ожидать гостей. Так и случилось, в 12 часов ночи гости пришли.

В декабре 1936 года ее судила Военная Коллегия Верховного Суда. Мне об этом суде рассказывал Зелик Штейнман — единственный уцелевший из их группы. На суде он сидел рядом с Женей, она была спокойна, говорить им не дали.

Из Соловков Женя умудрилась с оказией прислать одно письмо маме. Писала, что работает на сельскохозяйственных работах, — «теперь я надышусь воздухом вдоволь» — шутила она в письме, вспоминая, что мама всегда беспокоилась, что она много сидит дома, пишет, а не гуляет. Писала, что уверена, что скоро весь этот террор кончится, она глубоко верит в это. Писала, что здорова и умоляла не беспокоиться о ней. Большое мужество было в ней. В письме она, видимо, боялась упомянуть мое имя (вдруг оно попадет в чужие руки), но, чтоб дать знать о том, что думает обо мне, написала строки из стихотворения раннего Всеволода Рождественского, которые мы часто с нею повторяли:

Милый, помнишь вербы
На Страстной неделе,
Синий Исаакий, дымный плащ Петра.
О, какое небо —
Там в ином апреле,
Нам с тобой приснятся
Эти вечера.

Я горько плакала над этими строками (в отличие от Жени, я умела плакать). Больше известий от нее не было, а в июле 37-го арестовали и меня». (Из воспоминаний Анны Рабинович-Розиной.)

Еще один пожелтевший документ — доверенность, которой Евгения Яковлевна Мустангова уполномачивает Рабинович Софью Моисеевну (мать), проживающую в Ленинграде по улице Бармалеева, дом 4, квартира 55, получить в издательстве часть гонорара в окончательный расчет «за книгу о Маяковском, согласно договору». Удостоверено в 8-м отделении Беломорско-Балтийского канала НКВД 28 февраля 1937 года. Предшествовало ли письмо этому документу или наоборот, — неизвестно. Где находится Евгения Мустангова в последующие годы — 1938, 1939, 1940 — неизвестно. Родные предполагают, что все там же — на Соловецких островах. Уцелевшие друзья вспоминают о ней, но глухо все вокруг, глухо...

Меж тем, что-то как будто меняется. Проходит 18-й съезд партии, на котором во всеуслышание лицемерно заявлено о до-

пущенных перегибах, о невинно осужденных, звучат требования привлечь виновных в незаконных действиях к ответу... Вероятно, миллионы людей вздрогнули от радости, полагая, что вот теперь-то уж все пострадавшие от произвола немедленно получат свободу; это была «игра на публику». Друзья Мустанговой, ее родные, начинают, однако, новые хлопоты. До сих пор на все их запросы ответ был один: «Осуждена на 10 лет заключения без права переписки». Но может быть — теперь...

В Москву, в НКВД, в другие, еще более высокие инстанции идут заявления с просьбой пересмотреть дело Евгении Мустанговой. Свои подписи под этими обращениями ставят известные в стране писатели и поэты. Первое: «Никогда за все мои встречи с Евгенией Яковлевной Мустанговой я не слышал от нее ни слова недовольства, ни одного высказывания или мнения, хотя бы косвенно противоречащих политике ЦК ВКП(б), ...своих политических симпатий не сумела бы скрыть и таить про себя, при ее горячности и прямолинейности.

Что касается одаренности Мустанговой, как литературного критика, она — вне всяких сомнений». (3 июня 1940 г. Николай Асеев.)

Второе. «Я знаю Е. Мустангову с 1923 года, когда учился в Университете, где училась и она... Мустангова всегда производила на меня впечатление честного, искреннего советского человека... Она сможет снова работать в литературе, если дело ее будет пересмотрено. Я уверен в ее невинности. (Ленинград. 30 апреля 1940 года. В. Саянов.)

Третье. «Она являлась большой патриоткой советской поэзии и четыре года работала над Маяковским, в то время, когда другие критики всячески затемняли его значение и замалчивали его... ее невинность, по-моему, несомненна. (4 мая 1940 года. Николай Тихонов.)

Четвертое. «Мустангова... передовой и революционно настроенный, беззаветно преданный Советскому Союзу человек... Вот то, что я знаю о Жене Рабинович (Мустанговой), талантливом советском литературоведе. А зная это,— присоединяю свой голос к голосам тех товарищей, которые просят о пересмотре ее дела. (Профессор ЛГУ, доктор филологических наук В. Е. Евгеньев-Максимов. 10 мая 1940 года.)

Если верить одному документу, то Мустанговой уже не было в живых, потому что она будто бы «умерла 7 января 1940 года в возрасте 35 лет. Причина смерти — крупозное воспаление легких, о чем в книге записей актов гражданского состояния о смерти — 1956 года ноября месяца 17 числа произведена соот-

ветствующая запись за № 31». Есть гербовая печать Управления милиции города Ленинграда, есть соответствующая запись, но ни место смерти, ни место захоронения не указаны.

Но иначе и быть не могло. К той лжи, которую наложили на чистую жизнь несправедные судьи, наложилась еще и ложь о смерти. А истина такова:

«Постановлением Особой Тройки Управления НКВД от 10 октября 1937 года определена высшая мера наказания.

Расстреляна 4 ноября 1937 года».

В ту пору, когда Николай Тихонов и другие писатели просили о пересмотре дела Евгении Мустанговой, и в тот день, когда некий зав. Московским районным ЗАГСом Ленинграда подписывал фальшивую справку, ее, Жени Рабиновича, давно уже не было в живых. Неизвестны ее последние минуты. Неизвестна могила.

10 ноября 1956 года записано было в Москве: «Определением Военной Коллегии Верховного суда СССР... дело, за отсутствием в ее действиях состава преступления, прекращено.

Мустангова Е. Я. по данному делу посмертно реабилитирована».

В Союзе писателей СССР восстановлена в марте 1958 года.

На Преображенском кладбище ей поставили памятник.

...Жила-была девочка, играла с другими девочками где-то, неподалеку от Днепра, смеялась, пела песенки, читала стихи. Давно жила. Более полувека прошло от той секунды, когда оборвалось ее дыхание. Одним злодейством на нашей земле тогда стало больше. А сколько их всех было — все еще не сосчитано...

Захар Дичаров



**Ида
Моисеевна
НАППЕЛЬБАУМ**

1900 — 1992

ИДА НАППЕЛЬБАУМ — СВИДЕТЕЛЬ ЭПОХИ

Пронзительные, на дно души заглядывающие глаза Пастернака. Благородный, подчеркнуто интеллигентный Эренбург. Инфернальный, будто прорицающий собственную трагическую судьбу Бехтерев. Царственная, богоподобная Ахматова... — портреты с выставки известного советского фото-портретиста Моисея Наппельбаума, прошедшей в Ленинградском Дворце работников искусств «Эпоха в лицах». И какая эпоха! И какие лица! А вот и он сам — задумчивый, пронзительный взгляд, раздвоенная бородка с сильной проседью. Чуть подальше — его семья: жена, четыре дочери и сын. Из всех изображенных на снимке в живых тогда оставалась лишь старшая дочь фотографа Ида Моисеевна Наппельбаум. Ровесник века, поэтесса, член «Звучащей раковины» — студии, возглавлявшейся Николаем Степановичем Гумилевым.

Мне посчастливилось взять у нее интервью, запись которого приводится ниже.

В небольшой квартире на улице Рубинштейна из-за стола на встречу мне поднялась маленькая седая женщина. Ясный взгляд, приветливая улыбка...

— Ида Моисеевна, ходил недавно по выставке вашего отца, вглядывался в лица и вдруг поймал себя на мысли: все они необыкновенно красивы какой-то высокой, одухотворенной красотой. Что это — искусство фотографа или то действительно была эпоха особенных, красивых людей?

— Конечно, искусство — большое дело. Салон отца на Невском, 72 был известен всему Петрограду. Около фотовитрин, которые он периодически обновлял, всегда толпился народ — счастливым, чьи фотографии оказались там, страшно завидовали. Не было, наверное, ни одного более или менее крупного общественного или политического деятеля, который не снялся бы у Наппельбаума. О том, как отец в 1918 году фотографировал в Смольном Ленина, написано много и подробно. А насчет эпохи красивых людей — вы, наверно, тоже правы. На лицах тогда лежал отсвет великой надежды и веры, приподнимавший нас над обыденностью, делавшей красивее, чем мы были на самом деле.

— Кстати, не благодаря ли обширным связям отца вы попали в столь изысканный литературный круг?

— Нет, как ни странно, все было наоборот. Еще в гимназии мы с сестрой Фредерикой стали писать стихи, а в 1919-м я пришла в Дом искусств на Мойке, в поэтическую студию Гумилева. Круг литературных знакомств расширялся стремительно. Общались мы и с «цехом поэтов», где собрался весь цвет тогдашней литературы. Многие стали бывать у нас дома, и таким образом я невольно явилась «поставщиком моделей» для моего отца.

— Интересно, а как проходили занятия в «Звучащей раковине»?

— Мы читали стихи по кругу. Каждое подвергали подробному критическому разбору. Вторая часть занятий проходила во всевозможных литературных играх. Так, мы часто играли в буриме. Были заданы рифмы, и каждый из студийцев сочинял строку по кругу, чтобы создавалось цельное, осмысленное стихотворение. Николай Степанович сам принимал активное участие в этих «забавах». Игры продолжались и после конца официального часа занятий. Мы рассаживались на ковре в гостиной, к нам примыкали и «взрослые» поэты из «цеха поэтов»: Мандельштам, Оцуп, Адамович, Георгий Иванов, Одоевцева, Всеволод Рождественский, — и разговор велся стихами. Тут были и шутки, и шарады, и лирика, и даже настоящие объяснения в любви, чем опытный мастер приводил в смущение своих молоденьких учениц.

Только что вышла новая книжка Гумилева «Шатер», он с гордостью всем подписывал ее, а я забыла принести книжку

на занятия. «Ну, что вы! — сказал Николай Степанович. — Ведь я приду к вам послезавтра на день рождения и там надпишу. Это будет вам подарок». Но 3 августа 1921 года Гумилев на мой день рождения не пришел. Мы долго ждали его за огромным овальным столом в нашей квартире на Невском. К такому дню было раздобыто угощение — чай с сахаром, бутерброды и вино. Увы, с нашим мэтром нам встретиться уже было не суждено. Когда его арестовали, мы все, как могли, заботились о его молодой жене Анне Энгельгардт. Она часто приходила ко мне домой, а однажды сказала: «Знаете, Николаю Степановичу разрешили принести передачу. Но я не могу пойти, это может плохо на мне отразиться. А вот вы — это другое дело, вам можно...» Спустя некоторое время на очередном литературном чтении я отозвала в сторону Николая Оцупа и совершенно спокойно сказала, что сегодня не приняли передачу для Николая Степановича и сказали больше не носить. «Вероятно, его куда-то перевели», — наивно предположила я. Но лицо Оцупа внезапно отчаянно побелело. «Вы не понимаете ничего! — воскликнул он. — Сегодня ночью целая группа людей расстреляна... Это известно в редакции газеты». Через несколько дней на углу Невского и Литейного я увидела лист с напечатанным большим списком фамилий. В числе названий имен — участников политического заговора, приговоренных к расстрелу, — была фамилия нашего мэтра.

Разумеется, расстрел Гумилева мы единодушно считали чудовищной несправедливостью, но, несмотря ни на что, были полны энтузиазма и веры. Никого еще не преследовали за связь с «врагами народа», а в 1922 году мы даже умудрились выпустить сборник стихов «Звучащая раковина», посвятив его памяти Гумилева. Чудо, что он до сих пор уцелел у меня. Творческий процесс, как видите, не прерывался. В студию нам назначили нового руководителя, Корнея Чуковского. Хороший человек... не поэт.

— Как — не поэт?

— Очень просто. Даже обижался, когда его так называли. Блестящий критик, специалист по Некрасову и Уитмену, но считал свои детские стихи забавой... А вообще центр нашей литературной жизни как-то незаметно сместился в квартиру моей семьи на Невском. Знаменитые «литературные понедельники» у Наппельбаумов! И кто здесь только не бывал! Анна Ахматова и Михаил Кузьмин, Бенедикт Лившиц и Федор Сологуб, Михаил Лозинский и Николай Тихонов. Побывали здесь в разное время приезжавшие из Москвы Сергей Есенин и Владимир Маяковский...

— Когда же все-таки началось крушение иллюзий?

— С середины 20-х годов «рапповцы» объявили настоящий «крестовый поход» против представителей «дореволюционной школы», а по сути — против всей интеллигенции. Нам не давали выступать, публиковаться... Многие мои друзья покинули Родину...

— Ваше отношение к ним не изменилось?

— Конечно, нет. Я никого из них никогда не осуждала. У каждого своя судьба. Допускаю, что последуй я за ними — и моя литературная судьба смогла бы сложиться более удачно. Впрочем, как знать? Моя лучшая подруга Нина Берберова, живя в США, стала автором многих книг. А Вера Лурье, живущая в ФРГ, наоборот, отошла от литературы...

— Берберова в своих воспоминаниях, опубликованных в «Октябре», пишет и о вас, и о том, что ваш муж, поэт Михаил Фроман, стал жертвой сталинских репрессий. Сейчас это соединилось в сознании со страшными цифрами, приведенными недавно «Литературной газетой». Из писателей, вступивших в 1934 году во вновь образованный союз, было репрессировано 90 процентов. Самая «выбитая» из всех категорий населения...

— Да, те времена — кошмарны... Один за другим исчезали друзья, соседи — ведь они тоже были литераторами. Дом, в котором мы с вами находимся, стал первым в Ленинграде писательским кооперативным домом. Коридорная система, большие рекреации, на крыше — солярий, на первом этаже — общая столовая. Что же касается моего мужа, то здесь Нина ошиблась. Он умер своей смертью в 1940 году. По непонятным причинам его не тронули, хотя был он человек честный, прямой, предельно принципиальный. Достаточно сказать, что, будучи членом правления Союза писателей, он в 1934 году, когда образовался союз, вычеркнул из списков меня, собственную жену. И это несмотря на то, что мою книгу «Мой дом», вышедшую в 1927 году, похвалила сама Ахматова, а на членском билете Всероссийского союза поэтов стояла подпись Федора Сологуба. «Ты в последнее время от литературы отошла, — жестко сказал мне муж. — Занимаешься больше домом, ребенком». А ведь членство в союзе уже тогда давало весьма существенные льготы — и путевки в дома творчества, и пайки, и дачи...

— А может быть, это как раз и спасло вам жизнь?

— Может быть. Во всяком случае, когда меня арестовали в пятьдесят первом, мне так и объяснили: «Мы вас недобрали в тридцать седьмом...»

— Какое обвинение вам предъявили?

— Наивный человек! Тогда обвинений не предъявляли, их создавали в процессе следствия. Со мной, с одной стороны, было легко — я была знакома едва ли не со всеми писателями, оказавшимися в числе «врагов народа». Мой следователь держал перед собой в выдвинутом ящике стола книгу из моей библиотеки, вероятно, справочник, водил по ней пальцем и называл фамилии писателей. Я ему еще помогала. «Сологуб на предыдущей странице», — говорила любезно.

— Итак, Вас осудили за «связи»?

— В том-то и дело, что нет. «Связей», конечно, было много, но никто из опрошенных свидетелей не смог вспомнить ни одного моего высказывания, которое можно было бы истолковать как антисоветское. Наконец двое вспомнили: у нас дома до войны висел великолепный портрет Гумилева работы художницы Н. К. Шведе-Радловой. В 1936 году муж «на всякий случай» разрезал его на кусочки и выбросил. Но... портрет был, и этого хватило, чтобы дать мне десять лет дальних лагерей. Не помогло и вмешательство отца, и благодарность Ленина, которую он предъявил.

— Интересно, а Вы узнали, кто авторы этого доноса?

— Конечно, узнала. Одного простила, другого — нет. Просто перестала кланяться — и все.

— И все-таки Вам повезло, 51-й — не 37-й...

— Да, конечно, мне сохранили жизнь... Сидела я в «Озерлаге» — это громадная система лагерей от Тайшета до Братска. Можно было даже писать письма — два раза в год. Что делали? Сначала щепили на тончайшие листочки слюду, потом работали на лесоповале. Бревна таскали на себе — шесть женщин впрягались и тащили. Потом я развозила воду по точкам — тоже на себе. И так — три года. В 54-м неожиданно, ничего не объясняя, вызывали по одному, выдавали деньги на билет и отправляли домой. Официально реабилитации не было — друзья шарахались, а в Союзе писателей, где я работала в аппарате, не решались поставить на профсоюзный учет. О выпавшем на нашу долю будто стыдились упоминать.

— Этот «стыд» нас потом преследовал долгие годы. Помню, как я прочел во вступительной статье Дымшица к сборнику стихов Мандельштама из Большой серии «Библиотеки поэта», что Мандельштам поехал в Воронеж чуть ли не в творческую командировку... Об обстоятельствах его смерти сказано туманно...

— С Дымшицем я была хорошо знакома — очень грамотный, эрудированный литератор. Он, конечно, знал, почему Мандельштам уехал в Воронеж, где и отчего он умер. Но написать

об этом тогда не мог, даже если бы захотел. Написал бы иначе — и книга бы не вышла, получил бы наш читатель Мандельштама еще на десятилетие позже. Поневоле сделаешься конъюнктурщиком!

— Да, но ведь из подобных статей мы десятилетиями черпали свои представления о литературе и литераторах...

— А вы приходите чаще к нам, старикам,— нам некого бояться и нечего скрывать. Правда, осталось нам совсем немного. Недавно для фильма «Африканская охота» стали искать тех, кто знал Гумилева. Нашли всего троих — его сына Льва Николаевича, Ирину Одоевцеву и меня. Так или иначе, я счастлива, что дожила до сегодняшнего дня, когда процесс постижения истины, кажется, становится необратимым*.

Михаил Рутман

* «Литературная газета» от 15 ноября 1989 года.



**Керотга
Александровна
НУОРТЕВА**

1912 — 1963

ЦВЕТОК УПАЛ ...

Весна 1942 года была морозной и не очень снежной. Остатки белого покрова на лугах осели и пожухли. Но лес вокруг военного аэродрома под Ленинградом еще не просыпался от зимнего сна.

30 марта предрассветную тишину разорвал шум мотора. В воздух поднялся ПО-2. Единственным пассажиром в нем была женщина с парашютным ранцем.

Самолет благополучно пересек линию фронта, не попал под огонь зенитчиков и углубился на территорию Финляндии. Вблизи местечка Вихти он сделал круг. Женщина вышла на крыло и по команде пилота прыгнула.

Отсчитывая про себя: «Катя-раз... Катя-два... Катя-три... Катя-четыре...», нервно рванула кольцо — парашют раскрылся, ПО-2 улетел.

Вокруг все незнакомое: фермерские поля, узкие полосы между ними, плоские холмы... Куда идти? Она торопливо сложила парашют, сунула в кусты и стала медленно пробираться к дороге. Снег... Снег...

Было еще совсем рано, когда навстречу попались сани в пароконной упряжке. В них — крестьянин с женой и девочкой-подростком. Остановились. Познакомились.

— Нейтти Хямеляйнен,— назвала себя незнакомка и спросила, как добраться до селения Йокела.

Время военное, неизвестный человек в тылу... Урхо Пектола выслушал женщину и сразу понял, кто она и откуда. Но он не был сторонником Маннергейма и вообще этой войны в союзе с Гитлером, довез ее до ближайшей железнодорожной станции и отправился дальше.

Минут через десять его остановил военный патруль.

— Стой! Тут проходила женщина. Ее сбросили с самолета. Где она?

— Женщина?.. А-а, да-да, видел,— ткнул кнутом в противоположную сторону.— Вон там.— Сержант в патрульной машине дал газ и помчался в погоню.

Наступило уже позднее утро, когда в финскую контрразведку поступил радиоперехват: «Цветок упал. Зонтик раскрылся». Сомнений не было — речь шла о женщине, чей прыжок в тылу не остался тайной. Но поиск не принес успеха. Та, которая назвала себя «Нейтти Хямеляйнен», исчезла.

Однако проходит короткое время и она у цели— в живописном селении Йокела. Поместье, куда она направляется, знакомо тут каждому. Его владелица — известный в Финляндии человек.

Полнотелая высокая женщина с округлым лицом, на котором светятся добрые глаза,— писательница, драматург и общественный деятель Хелла Вуйолики— приветливо протягивает госте руку.

— Ну, наконец-то! — И полушепотом: — Вы прямо из Стокгольма?

— Нет,— отвечает незнакомка.— Я не из Швеции. Я с той стороны фронта. Нейтти Хямеляйнен.

Хелла Вуйолики не коммунистка, но сторонница левых взглядов. В финско-советскую войну 1940 года она имела прямое отношение к предварительным переговорам о заключении перемирия с СССР, которые проходили в Стокгольме у советского посла Александры Коллонтай. И в нынешнюю войну Хелла тоже пытается содействовать примирению своей страны с Советским Союзом. В связи с этим она ожидает прибытия человека из Швеции. Когда же приезжая оказалась из Ленинграда, Хелла встревожилась.

— В чем Ваша задача? Я могу об этом знать?

Поместье Хеллы Вуйолики в Йокела было названо в Ленин-

градском НКВД не случайно, а как место явки. Стало быть, хозяйке можно доверять. Чашка горячего кофе помогает беседе.

— Я должна,— говорит Нейтти,— проникнуть в авторитетные круги общества для получения информации. Но также создать в Финляндии разведывательную сеть.

Хелла отзывается не сразу. Оно так неожиданно — появление молодой женщины со стройной спортивной фигурой и располагающей к себе улыбкой... Не провокация ли это?.. Но когда писательница узнает, что в Москве ее готовил к разведработе Терентьев, хороший знакомый Вуйолики, в прошлом — торговый советник СССР в Финляндии, она проникается к Нейтти большим доверием.

Они продолжают беседовать. Хелла, понимая какие опасности могут встретить молодую разведчицу, невольно испытывает к ней сочувствие... Однако надо принимать решение.

— Я думаю,— размышляет Вуйолики,— что Вам следует использовать такую профессию, которая позволяла бы иметь контакты с дамами из высшего общества, обожающими свою внешность. Они — постоянные клиентки косметических кабинетов и не прочь обо всем поболтать, пока их украшают... Отыщите в Хельсинки салон «Париж».

И Нейтти отправляется в Хельсинки.

В салоне «Париж» Нейтти сказала, что приехала из провинции и хотела бы получить профессию косметолога. Она внесла плату за обучение. Ее приняли. Начались занятия.

Теперь следовало найти тех, кто стал бы помогать в создании разведывательной сети. Она имела зашифрованный список людей, на которых могла бы рассчитывать. Постепенно удавалось их найти, она встречалась с одним, другим, третьим... Но чаще те отклоняли ее предложение и отказывались сотрудничать с советской разведкой. Они не предали ее, но страх возмездия был сильнее.

Согласились только двое: Валттери Теерикангас и Яакко Ранта — коммунисты.

Курсы косметологов Нейтти благополучно закончила, но своего салона у нее не было, поступить куда-то не удавалось. Даже умея массировать лицо, накладывать питательные маски, наводить макияж, она не получила доступа к дамам «из высшего света». Шли дни, недели, Москва ожидала от Нейтти оперативной информации.

Неизвестно, насколько продуктивно и умно готовили разведчицу в Москве, но оказалось, что там не знали простой вещи: какво напряжение в электросети Финляндии. Рация Нейтти была

рассчитана на 120 вольт вместо 220. Едва она включила аппарат, чтобы провести первый сеанс связи, как тут же произошла авария: рация вышла из строя.

Напрасно Москва ожидала секретных позывных: их не было... Нейтти лихорадочно обдумывала, как найти другой способ связи. Жизненное поле вокруг было враждебным. Только двое коммунистов и Хелла Вуйолики были поддержкой. И та опять пришла на помощь.

Разведчица сообщила ей содержание секретного кода и удалось через Стокгольм передать в Москву 13 донесений.

Но четырнадцатого не последовало...

Левые взгляды Хеллы Вуйолики, ее симпатии к СССР не оставались незамеченными. Слежка за нею велась давно. Ее служанка в Йокела, состоявшая на содержании финской контрразведки, не оставила без внимания визит к хозяйке некой знакомки 30 марта. Ночью, когда все спали, она любопытствовала, что таится в черной кожаной сумке гостьи. Открыла. Увидела там рацию и также аккуратно закрыла.

Ничего не заподозрившая Нейтти утром уехала в Хельсинки, а к служанке, спустя три недели, пожаловал ее родственник, служивший в полиции. Так стало известно о таинственном визите в Йокела в конце марта и о содержимом черной кожаной сумки. Но где обретается ее владелица, оставалось неизвестным.

Самой Хеллы Вуйолики в Финляндии не оказалось.

Она отправилась в Стокгольм. Ей необходимо было у тамошних хирургов сделать операцию, а заодно она хотела еще раз выяснить, каковы возможности заключения перемирия между Финляндией и СССР. Как и многие из числа здравомыслящей финской интеллигенции, она понимала, что эта война ничего хорошего стране не принесет, а только вызовет новые жертвы.

В Стокгольме финская разведка тоже следила за Вуйолики, тем не менее ей удалось встретиться с советским дипломатом Борисом Ярцевым, который подтвердил, что Советский Союз также заинтересован в продвижении мирных переговоров. Он советовал добиться встречи с Таннером и Паасикиви и передать, что по его сведениям, Финляндия, в случае выхода из войны может получить обратно какую-то территорию, отошедшую к СССР после войны 1940 года, и что на это имеется согласие Сталина.

В Стокгольме у Вуйолики было еще одно дело: она ясно видела слабость, неумение и беспомощность своей новой знакомой, Нейтти Хямеляйнен, как разведчицы, понимала, что ее провал неминуем и настаивала на том, чтобы ее срочно отозвали из Финляндии.

Но Хелла не могла знать, почему для столь опасного дела, как разведка в воюющей стране, послан человек малоопытный, не вполне уверенный в себе.

Из сообщений прессы известно, что с 1939 года до начала «зимней войны», а затем короткое время в 1940—1941 годах, разведку в Финляндии осуществлял резидент НКВД Елисей Сидницин («Елисей Елисеев»). Однако с момента вступления финнов в союз с Гитлером образовалась пустота: разведки не стало. Требовалось срочно ее восстановить.

Вот так 30 марта 1942 года над местечком Вихти раскрылся парашют Нейтти Хямеляйнен.

О том, что о пребывании безымянной разведчицы в Йокела стало известно полиции, она еще ничего не знала. Но едва Вуйолики сама возвратилась из Швеции, как ее задержали на вокзале и доставили в тюрьму.

Единственное, что успела Хелла, незаметно взять в рот, разжевать и проглотить секретный код, которым пользовалась Нейтти для передачи сведений в Центр.

Ее активно и настойчиво допрашивали, кто и для чего посетил ее в Йокела 30 марта, но на этот счет у писательницы была уже заготовлена легенда, которой она упорно держалась на всех допросах. Где и под каким именем обитает в Хельсинки и вообще в Финляндии та женщина, полиции установить не удалось. Она обнаружилась позднее и независимо от Хеллы Вуйолики.

В один из дней на имя Нейтти Хямеляйнен пришла повестка: ее приглашали зайти в полицию. Получив ее, она испытала шок: значит, причина ее пребывания здесь раскрыта?.. В полицию она не пошла: ею овладела только одна мысль — необходимо немедленно скрыться!

А между тем, знай она истину, пугаться было нечего. Шла война, рабочих рук не хватало и так же, как других обитателей города, полиция решила привлечь к общественным работам ничем не занятого косметолога. Вызов явиться был всего лишь простой формальностью.

Где найти другое убежище, она еще не знала, но, решив, что ее постиг непоправимый провал, быстро запаковала свою рацию и отправилась на квартиру Валттери Теерикангаса, чтобы у него хотя бы переночевать. По пути она зашла в прачечную, услугами которой иногда пользовалась, и попросила разрешения ненадолго оставить там кожаную сумку.

Спустя день она поручила Валттери побывать в прачечной и забрать ее поклажу. Но случилось непредвиденное.

Зайдя в это заведение, Валттери обратился к хозяину:

— Добрый день, херре, я брат госпожи Хямеляйнен, будьте любезны передать мне ее сумку. Она просила зайти за ней.

— А почему она не пришла сама?

— Нездорова. Может быть, грипп...

Хозяин снял сумку с полки, поставил на прилавок.

— Вот эта?.. Но она ничего не говорила о том, чтобы отдать ее кому-то.— Он с недоверием посмотрел на Теерикангаса.— Нет, я не могу отдать вам это. Пусть лучше зайдет сама, когда поправится.

Валттери знал, что в сумке; он не мог оставить ее в чужих руках. Он стал настаивать, начался громкий разговор, перешедший в скандал... Хозяин взялся за ремень, чтобы убрать сумку, но Валттери положил на нее руку и сказал:

— Извините. Одну минуту.— И закрыл сумку на ключ.

Хозяину это показалось странным. Едва посетитель ушел, он решил заглянуть внутрь вещи, ставшей предметом ссоры. Вскрыть замок оказалось несложно. Увидев содержимое, он сообщил о своей находке в армейский следственный отдел.

Когда за своим имуществом пришла сама Нейтти, ее тут же арестовали. Это произошло 8 июля 1942 года. 7 сентября ее увезли из полицейского управления и заключили в Гельсингфорсскую тюрьму.

Следствие началось сразу же, его поручили государственной полиции Финляндии — ВАЛПО и Хельсингскому отделению следственного отдела Главной ставки. Ведал этим отделом молодой юрист Пааво Кастари. На первых же допросах Нейтти призналась в том, что послана для ведения разведки, но своего настоящего имени не назвала и в протоколах продолжала стоять «Нейтти Хямеляйнен». Однако спустя месяц ее настоящее имя было раскрыто: «Кертту Нуортева». Ничего другого она о своих действиях не сообщила и даже еще через полгода никаких сведений от нее добиться не удавалось.

Время шло. Следствие не двигалось. Нуортева молчала или отказывалась отвечать на вопросы... Пааво Кастари понял, что упорство разведчицы преодолеть не удастся. Он предложил передать дело в суд, который несомненно вынес бы смертный приговор.

Однако Ставка не дала на это согласие, у нее были свои соображения, и распорядилась продолжать допросы. Тогда Пааво Кастари решил изменить тактику.

Вместо формальных допросов, он повел с Кертту разговоры о Финляндии, о ее внутренних проблемах и положении, о ее месте в международном сообществе и почувствовал, что подследственная

понемногу начинает раскрываться. Она стала высказывать свое мнение по отдельным вопросам, рассказывать кое-что о себе, об СССР... Но до каких-либо важных признаний дело не доходило.

Так тянулись недели. Пошел седьмой месяц следствия. Пааво Кастари по-прежнему не мог получить точного ответа, кто и с какой целью перебросил ее в Финляндию, что ей удалось сделать, кто ее сообщники.

Но вот однажды Кертту вызвали из камеры и привели в комнату, где находился незнакомый ей пожилой мужчина.

— Это,— сказал Пааво Кастари,— Арво Пойка Туоминен. Он хотел бы поговорить с Вами.— И вышел, оставив их вдвоем.

— Я раньше был коммунистом,— рассказывал Туоминен.— Одно время состоял в руководстве финской компартии. Находился в Москве. Я знаю многое о том, чего не знаете Вы... Я разуверился в призывах Сталина и понял, что они ложны и лицемерны, возвратился в Финляндию, перестал быть коммунистом и стал социал-демократом...

Он снова и снова приводил убеждающие факты, раскрывая истинную подоплеку сталинской деспотии и чинимых им жестокостей.

Беседа с Арво Туоминеном произвела на Кертту совершенно угнетающее и мрачное впечатление. Ее идеалы, в которые она слепо верила, рушились. Но не только эти черные сообщения открылись ей. От Арво Пойка Туоминена она узнала и о том, что ее двух братьев, Пеннти и Матти Нуортева, НКВД принудило стать разведчиками. С восточного берега Онежского озера, где они находились со своими семьями в эвакуации, их послали на западный берег, к Петрозаводску. 2 февраля 1942 года они вышли на лыжах из монастыря Салла по льду, но ошиблись в ориентации и оказались 4 февраля не в Петрозаводске, а у маяка, на берегу острова Лимосаари, где их задержал финский патруль.

Военно-полевой суд вынес им смертный приговор и 20 мая 1942 года оба были казнены.

Кертту вернулась в камеру. Мысли ее были в полном смятении, а душа в отчаянии. Разговор с Туоминеном, признания, которые она после этого сделала, известие о гибели братьев... Рассудок Кертти не выдержал. С нею начало твориться что-то странное, и это заметили. Временами она совершенно утрачивала нить сознания. Стало очевидно, что она психически заболела. Ее доставили в больницу в Лаппеенранта, где она провела два месяца.

Ее тщательно и внимательно лечили. Постепенно рассудок и отчетливое понимание реальности возвратились. Она вернулась в камеру. Следствие продолжалось. Но на этот раз его повел

не Пааво Кастари, а другой юрист — молодой, внешне очень привлекательный Тойво Туусинен.

Подействовала ли та правда, которую открыл ей бывший коммунист Арво Туоминен, повлияло ли страшное известие о гибели братьев, оказало ли действие испытанное психическое потрясение, а также и сама личность следователя, Кертту Нуортева рассказала о себе все, назвала всех, с кем имела контакты, в том числе и о Хелле Вуйолики, которая уже находилась в тюрьме.

Шел 1944-й год...

Бесконечное множество раз Кертту пересматривала свою жизнь: она была такой беспощадной, такой мучительной. Тюрьма в Хельсинки была не первым ее заточением. Она уже познала горький и страшный смысл лишения свободы там, у себя, в СССР, откуда ее перебросили в Суоми. А здесь — что у нее впереди?.. И вдруг тут, за стальной решеткой к ней пришло сильное светлое чувство. Любовь.

Случилось так, что ее молодой пригожий следователь Тойво Туусинен вначале проникся к ней симпатией, а потом влюбился. И встретил ответное чувство.

Это был роман в преддверии смерти.

Нейтти Хямеляйнен, она же Кертту Нуортева, вместе с одним из своих помощников, Валттери Теерикангасом, приговорена к смертной казни. К разным срокам приговорены еще четверо обвиняемых.

Смерть грозила и Хелле Вуйолики, хотя ее дело рассматривали отдельно. Но из пятерых членов военного суда трое были против высшей меры. Приговор гласил: пожизненное заключение.

Полтора года длилось следствие по делу советской разведчицы. Настал момент, когда ее жизнь должна была вот-вот оборваться... И она — пока не наступил этот трагический конец — решила написать о себе, о своей жизни, обо всем пережитом там, в Советском Союзе. Ведь ее главной профессией, делом ее жизни были литература, журналистика. Там, в Ленинграде.

Она опишет все так, как есть в действительности. Все то, что она знала, видела, испытала: сталинские репрессии и ложь среди коммунистов, трудную, почти нищенскую жизнь миллионов людей в 30-е годы...

Она сказала об этом своем намерении Пааво Кастари, а также Тойво Туусинену. Государственная полиция — ВАЛПО — отсрочила приведение приговора в исполнение. Чтобы ускорить работу, к ней пришел литератор Урье Кивимиес. Он записывал ее устные рассказы и переводил в текст, который она затем читала и правила.

Ее, Кертту Нуортева, могли расстрелять сразу же после приговора военного суда. Но до того как это произошло, в свет вышла книга Ирве Ниэми «Советская воспитанница».

Она написала единственную в своем роде книгу, о которой можно сказать, что это была первая диссидентская, антисталинская книга о жизни в СССР в 30-е годы. Правдивая, выстраданная, написанная с огромной болью, она не увидела света у нас, в России.

Кертту держит ее в руках. Объемистый том в твердом переплете, 360 страниц. На светло-коричневой крышке вытеснена миниатюра: золотая пятиконечная звезда, которую хотели бы обнять, охватить женские руки. Но сделать это они бессильны: они скованы цепью.

Итак, книга советского литератора, написанная в финской тюрьме, издана, но смертный приговор все еще висит над автором... Однако 19 сентября 1944 года подписано перемирие между Финляндией и СССР, приговор теряет силу.

Теперь Кертту Нуортева вольна распорядиться собой по своему желанию. Вчерашний недруг следователь Пааво Кастари предвидит, что возвращение мнимой Нейтти Хямеляйнен в Советский Союз чревато для нее сложностями. Он советует покинуть Финляндию, берется устроить ее побег на Запад. Но перед молодой женщиной другая проблема: ее любовь к Тойво Туусинену и его ответное чувство; этот странный и необычный роман грозит вот-вот оборваться...

Они — уже не приговоренная к казни разведчица и представитель железного и неумолимого закона, а двое любящих, мысли которых мечутся: «Что делать?..» Тойво настаивает: «Уедем за границу. В Париж».

Мучительные колебания. Бессонные ночи... Где-то там, в Союзе находится ее сын, Райма, сейчас ему должно быть 12 лет. И потом привязанность ко всему тому, что было ее бытием там, в СССР... Да, она написала книгу, которая... Но ведь в ней все правда? Вопрос решен: возвращение на Родину.

Она прощается со своим Тойво. Тяжелые минуты... В начале 1944 года в числе тех, кто был ранее интернирован или пленен, ее передают в СССР. Свобода?.. Нет.

10 октября она арестована МГБ СССР. Ей предъявлено обвинение в том, что она создала книгу антисоветского содержания, которая издана в стране, находившейся в состоянии войны с Советским Союзом, то есть совершила преступление, предусмотренное статьей 58, пункт 1-а, что означает: «Измена Родине».

Итак — опять тюремные стены.

Сожалела ли она, что возвратилась?.. Кто знает? На Лубянке

с нею не церемонились. Издевательски допытывались: «Сколько заплачено за предательство?» Но что бы она ни отвечала следователям, этого палачам было мало. Это там — в Финляндии, в Гельсингфорсской тюрьме с нею обращались, уважая достоинство женщины. Здесь били наотмашь по лицу, истязали тело, без стеснения извергали потоки самых гнусных ругательств, неделями не давали спать, бросали в карцер-одиночку, объемом чуть побольше гроба. Заставляли по многу часов выстаивать «на стойке». Ее обрабатывали «на конвейере»: менялись те, кто пытал, она была все та же — одна: Кертту Нуортева.

Это было невыносимо: человек остается наедине с собой, без малейшей надежды на лучшее, на понимание, на сочувствие, на дружескую поддержку. И есть лишь одно: завтра будет то же, что вчера, что сегодня — оскорбления, угрозы, избиение. Муки.

И если как-то выдерживало тело, то измученный пытками, однажды уже травмированный мозг опять не выдержал. Психиатры Лаппеенранты лечили ее два месяца. Здесь, в социалистическом Отечестве, ее продержали в «психушке» 2,5 года, прежде чем она вновь обрела способность реально воспринимать окружающее...

И опять открылось перед нею мрачное будущее. Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 10 февраля 1945 года она была направлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу, но болезнь не послужила основанием для прекращения дела, хотя пытки сделали ее инвалидом. 30 августа 1947 года Особое Совещание при МГБ СССР нашло, что бывшая разведчица НКВД вполне здорова для того, чтобы ответить за свое литературное произведение «Советская воспитанница». Ее приговорили к 10 годам лишения свободы.

Вот такой она получила гонорар.

Отбывать срок ее отправили в Караганду, в зловещий лагерь «Песчаный».

Ей было 35 лет. Не столь уж много из того, что милостивая природа способна отпустить человеку. Там, в песках Караганды, она могла снова и снова вспоминать о прошлом, о пережитом. Думать о будущем...

...Далеко, очень далеко отсюда, в Америке, в штате Орегон, на реке Колумбия стоит небольшой город Астория. От него до Тихого океана всего полтора десятка километров. Его истинный хозяин — миллиардер Астор и наверное не случайно Вашингтон Ирвинг посвятил тому и другому свой роман «Астория».

Здесь, в семье политэмигранта Александра Нуортева 10 ноября 1912 года родилась девочка. Ей дали имя Керотта, но называли коротко — Кертту.

Финский рабочий, имевший всего пять классов гимназии, он скитался по всему свету: Германия, Англия, Южная Америка, Африка, матрос, кочегар... Вернувшись на родину, закончил университет, стал учителем. Член социал-демократической партии, по сути своей человек-борец, он был членом парламента, редактором партийной газеты, не раз сидел в тюрьме. Эмигрировав в Америку, он и там — редактор партийной газеты, член ЦК американской соцпартии. В феврале 1918 года представлял в США революционное правительство Финляндии. Финское рабочее движение разгромлено, Александр Нуортева — секретарь советского представительства в Нью-Йорке, редактор журнала «Советская Россия». Оттуда — в Англию, в состав миссии Красина. И там опять арест, тюрьма, высылка в Россию.

В России — работа в Наркоминделе. В 1922 году направлен на партийную работу в Карелию. Его избирают Председателем ЦИК республики, а также членом ЦИК СССР. Смерть настигла его в 1929 году.

Это отступление необходимо, чтобы понять его дочь, Кертту.

В тот самый год, когда отец стал государственным главой Карельской автономии, она поступила в Петрозаводскую школу II ступени. Уже там начались ее литературные опыты.

После кончины отца Кертту уехала в Ленинград. Поступила на вечернее отделение Коммунистического института журналистики и одновременно стала работать в финском издательстве «Кирья». Еще до окончания института была уже редактором детского журнала «Кииня» («Искра») и молодежного журнала «Нуори Каарти» («Молодая гвардия»). Появилась семья. В 1932 году родился сын Райма.

Кертту с увлечением занималась и редакторской и творческой работой. В журналах, в финской газете «Вапаус» все чаще появлялись ее рассказы, маленькие повести, очерки.

Финская колония в Ленинграде количественно была немалой; действовало не только издательство, но и клуб — Финский дом просвещения, который охватывал своей работой город и районы области, где проживало финно-язычное население: чухна, ингерманландцы, вепсы, корела. Кертту имела в своей национальной среде обширные знакомства. Как финно-язычный литератор пользовалась немалым авторитетом.

15 августа 1937 года ее арестовали.

Чем же она проштрафилась?.. «Будучи связана с финскими националистами, осужденными за контрреволюционную, националистическую и шпионскую деятельность, скрывала их пре-

ступную работу...» Постановлением Особого Сопещания при НКВД СССР от 2 июля 1939 года Кертту Нуортева приговорили к заключению в ИТЛ сроком на три года. Полтора года она уже провела в тюрьме, отбывать вторую половину срока отправили в Караганду. В 1940 году ее освободили, но без права выезда. Ссылка.

Ее литературное дарование, ее профессиональное умение были несомненны, но дорога в печать была закрыта. Ее приняли на работу в Театр кукол. Писать сценарии и реплики для кукольных представлений. Бдительное око НКВД взирало на это спокойно.

Началась война. В Караганду прибывали эвакуируемые из прифронтовых районов. Среди них было немало финнов. Нашлись знакомые. Кертту поддерживала с ними дружеские отношения. Подошла осень 1941-го, и в это-то время Кертту Нуортева внезапно и бесследно исчезла из Караганды.

Ее затребовали в Москву.

В начале 1939 года ее везли сюда в этапной теплушке, забитой осужденными арестантами. Сейчас она ехала как свободный и равноправный человек, впрочем, еще не зная, для чего. На долгом пути разные мысли не покидали ее: зачем в 1937-м понадобилось изобразить ее политической преступницей, противницей Советской власти?.. Так было нужно кому-то?..

Загадка открылась скоро. В Главном разведывательном управлении Министерства обороны ей предложили стать разведчиком.

— А как же моя судимость?

— Это была ошибка, но так было нужно. А сейчас, когда страна в опасности, когда в войну вступила и Финляндия, необходима Ваша помощь армии.

Перемена в ее положении была разительной, но времени для размышлений и сомнений не оставалось. Она согласилась. Дала подписку. И после этого день за днем, неделя за неделей шла ее подготовка. Прежний опыт не мог пригодиться, здесь все было сложно и трудно. Учиться конспирации во вражеском окружении. Запоминать наизусть имена, цифры, адреса, шифры.. Учиться прыгать с парашютом. Учиться работать с радиостанцией..

Она уже не задавала себе никаких вопросов. Ее, еще вчера-позавчера незаконно репрессированного человека, готовили для особо секретной операции. А затем военная авиация перебросила ее в блокадный Ленинград и здесь женщина по имени Кертту Нуортева перестала существовать.

Память, память... Тот мартовский день. Прыжок в неизвестность. Губы, шепчущие, как учили: «Катя-раз... Катя-два...» Она ничего не прощает, память. Пять месяцев конспирации. Неожиданная, необоримая любовь в тюремных стенах. Смертный приговор и долгое, долгое ожидание казни. И вдруг — творчество. Написанная кровью сердца книга. Короткая, как вспышка света, свобода. И опять тюрьма.

И вот — еще один март. Год 1953-й. Смерть Сталина. Для кого-то — амнистия, но Кертту по-прежнему окружает колючая проволока зоны. Срок лишения свободы закончился 22 октября 1954 года. Она отбыла свои 10 лет «от звонка до звонка». Но и это не конец — «ссылка на вечные времена». Нет, никогда, до самой их смерти не прощают органы тех, кого они когда-то считали «своими»...

В 1957 году ее реабилитировали. Она прочитала немногословное извещение. Знать, что содержалось за короткими строками, не могла. А в «Определении №474-Н-57 Военного Трибунала Ленинградского военного округа от 24 апреля 1957 года» говорилось: «Рассмотрев... надзорный протест Главной Военной прокуратуры на постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 2 июля 1939 года, Трибунал определяет, что Нуортева К. А. — реабилитирована».

Мысли... О, эти тяжелые, как капли ртути, мрачные, полные безнадежности мысли в камерах то финских, то русских тюрем, лагерная зона в песчаной пустыне... Сначала жизнь литератора, журналистки исковеркали, изломали. Потом еще раз изломали. Кто знает, насколько важное значение имели те 13 донесений, которые удалось переправить в Центр через Швецию?.. Значение имеет другое — книга Ирве Ниэми «Советская воспитанница» «антисоветского содержания». И за это после многих недель риска, ожидания казни в финской тюрьме еще 10 лет тюрьмы?..

Но свою «тюремную любовь» — Тойво Туусинена забыть она уже была не в силах. Когда в 1954 году из заключенной превратилась в ссыльную, писала в Финляндию, спрашивала о нем у своих родственников, живущих в Лахти, где он, как живет. Тосковала.

Но ответа не пришло. Ни от кого. И от Хеллы Вуйолики тоже. Она пробыла в тюрьме неполных полтора года, была освобождена после выхода Финляндии из войны. Позднее стала руководителем радио Финляндии.

Кончились тюрьмы. Кончилась зона. Кончилась ссылка. Надо было жить дальше. Пережитое не отняло у Кертту прироченной энергии и желания не существовать, а жить творчески.

Она получила высшее техническое образование, стала инженером, трудилась по своей специальности.

Она не вернулась в литературу, но до последних дней жизни ее тревожили мысли о своей «Советской воспитаннице». Кертту хотела быть объективной, включила в книгу специальную главу о достижениях первой пятилетки, о положительных изменениях, что произошли в СССР за предвоенные годы. Но издатель — государственная полиция ВАЛПО — посчитал, что это «противоречит критическому духу книги». Эту главу изъяли.

Кертту писала из Караганды, пытаясь добиться переиздания книги в Финляндии в полном объеме. Этого не произошло.

В 1963 году острый менингит оборвал ее жизнь. Неоднократно травмированный мозг не выдержал. Ей было 52 года. О смерти Кертту сообщила в Лахти ее сослуживица: «Мы сохранили о ней память, как об отзывчивом, хорошем товарище и порядочном человеке...»

...Передо мной фотография молодой женщины, лет 30. Волнистые волосы мягко прикрывают маленькие изящные уши; темные брови, как два крылышка, очерчивают глаза; их взгляд доверчив и кажется наивным.

Здравствуй, Кертту!

Помнишь ли то время, когда мы жили с тобой в одном городе на берегу синего Онежского озера?.. Наши школы были рядом. Начиналась наша юность. На комсомольских собраниях мы пели задорные песни, шумели, хохотали... в светлые северные вечера вместе ходили по улицам, держась за руки, спускались уступами к озерным волнам.

Ветерок трепал твою короткую челку. Несколько редких веснушек придавали лицу чуть-чуть лукавое выражение, а когда ты смеялась, в ярких карих глазах светилась влюбленность. Во что? Во все. В высокое небо над Петрозаводском. В бегущие на Онеге белые гребешки. В жизнь. В собственную молодость.

Это было там, в Карелии. Нам по шестнадцать лет и в душе предвестье дружбы, но также и первой влюбленности... Она шепчет:

— Я хочу научиться писать книги. А ты?

— Я?.. Да, я тоже... — И у меня уже написаны первые рассказы, которые никому не показываю. 1928 год. Перед нами вся жизнь, но кто знает — что впереди?

В том году я уехал в Ленинград и увиделись мы вновь единственный раз. И не скоро. Я закончил комвуз, затем стал студентом исторического факультета Ленинградского университета.

Жизнь каждого из нас потекла по своему руслу. Но однажды оно стало единым.

8 сентября 1937 года я был арестован. Меня мотали по разным тюрьмам: бывший военно-каторжный централ на Нижегородской, «Кресты», внутренняя тюрьма НКВД на Шпалерной... После страшной каменной одиночки я попал в огромную камеру (бывшую тюремную церковь), где скучилось больше сотни арестантов.

Четыре высоких зарешеченных окна, но без «намордников». Духота. Настежь распахнуты створки рам. Вместо двери — стальная решетка. Зверинец...

Стояла теплая осень. Окна нашей камеры обращены во внутренний двор. На другой его стороне такие же окна, как и у нас, распахнутые настeжь — общая женская камера. Сквозь толстые стальные прутья отчетливо заметны лица: кто есть кто.

И однажды я увидел в проеме окна Кертту. Неужели она? Я узнал ее почти сразу; она мало изменилась. И та же небольшая челка на открытом лбу, и тот же овал лица... И она тоже узнала меня.

Я не спрашивал себя, как она очутилась здесь. Злобный вал катился по всей стране, захватывая всех и вся.

И у нас начался разговор. Странно звучало это слово. Руки, десять пальцев — это и была наша азбука. Пальцы, соединенные в кружок — «О». Два растопыренных пальца и один поперек — «А». Один палец торчком и один сверху — «Т».

Так составлялись слоги, слова. Это делали и другие, но «разговаривать» удавалось не всегда. Коридорный надзиратель, который сквозь решетку двери видел все, яростно стучал тяжелым ключом по металлу, отгоняя «телеграфистов» от окна. Но что-то мы все же успевали.

— Ты — Кертту?

— Да. А ты — Захар?

— Да. Пятьдесят восьмая?

— Да. А ты?

— И я... Помнишь?..

— Да...

В той суматохе, какая царила тогда, без конца привозили кого-то, а кого-то увозили: на расстрел, в дальний этап. Начальство не сразу обратило внимание на наш «телеграф», но затем створки закрыли, стекла покрасили белым, оставили только форточку.

«Телеграф» кончился.

Ну, а потом — годы скитаний по тюрьмам, лагерным зонам, в ссылке: Печора, Воркута, Инта, Сибирь, Крайний Север... Более полувека минуло после той встречи «за решеткой», и вот те-

перь, когда главным делом моей жизни стало не дать угаснуть памяти о загубленных, издание книжной серии «Распятые», в скорбном перечне оказалась и Кертту Нуортева.

Длинен список ленинградских литераторов, казненных без вины, брошенных на съедение злобному времени, безвестно похороненных.

Судьба подружки моих юных лет — Кертту из штата Орегон — оказалась из ряда вон выходящей. Понадобилось много месяцев, чтобы из разных городов и учреждений, из архивов обычных и архивов карательных органов, из зарубежной прессы, из архивов финской полиции получить информацию, справки, узнать о событиях и фактах, далеких от литературы. И тогда предстал передо мной трагический путь молодой женщины с челкой на открытом лбу...

Ее книга «Советская воспитанница» понадобилась клике Маннергейма как средство пропаганды. Но от этого она не стала менее правдивой.

Смотрю на ее фотографии, полученные из Охранной полиции Финляндии, и те, что взяты из финской прессы. 40-е годы. Лицо усталое, измученное... На мгновение уношусь мыслями в далекие комсомольские годы, вижу веселую девушку с редкими веснушками на упругих щеках, слышу ее задорный смех... Она хотела служить Родине. Родина отняла у нее все: и здоровье, и свободу, и жизнь, не дав взамен ничего.

«...Разразилась непостижимая мистерия,— пишет она в своей книге.— Были арестованы директора всех крупных заводов, их заместители, начальники цехов, все инженеры, обучавшиеся за границей, государственные и партийные деятели, ученые, офицеры, все теоретики советского образа жизни и все заметные представители малых народностей.

«Мы вступили в эпоху социализма»,— сказал Сталин. Теперь все то поколение советской интеллигенции, которое сформировалось в течение двух пятилеток и руководило строительством страны, сидело за решеткой... пересажали всех секретарей Ленинградской партийной организации. Из обкома, из товарищей Кирова по работе не осталось никого» (стр. 248).

Наступили иные времена. Кертту хотела снять с себя клеймо изменника Родины за то, что сказала слово правды. По аресту 1937 года ее реабилитировали в 1957 году, она добивалась полного оправдания, но смерть оборвала ее жизнь.

Спустя три десятилетия близкие Кертту вновь направили в Прокуратуру СССР просьбу о пересмотре решения Особого Совещания НКВД от 1944 года и его отмене. Но и в 1992 году

в этом было отказано. Чиновники, не расставшиеся со сталинской идеологией, оценивали ее поступки с позиции 1937 года.

Два года назад от имени Историко-мемориальной комиссии было направлено письмо Генеральному прокурору РФ с просьбой пересмотреть приговор ОСО НКВД от 1944 года и реабилитировать Кертту Нуортева. Однако в реабилитации было отказано.

Захар Дичаров



**Текки
Одулок
(Николай
Иванович
СПИРИДОНОВ)**

1906 — 1938

Архивный фонд УФСБ РФ
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

Спиридонов Николай Иванович, 1906 года рождения, уроженец Якутской автономной республики, до ареста детский писатель, член Союза писателей.

Арестован 30 апреля 1937 года УНКВД по Ленинградской области.

Обвинялся в том, что являлся активным участником контрреволюционной повстанческой шпионской организации, связанной с японскими разведывательными органами; вместе с другими членами организации вел подготовку к вооруженному восстанию против Советской власти с целью отторжения Дальневосточного края от Советского Союза; осуществлял шпионскую деятельность в пользу Японии, т. е. в пр. пр. ст. ст. 58-2, 58-6 и 58-11 УК РСФСР.

Приговором Военного Трибунала Ленинградского военного округа от 7—9 января 1938 года Спиридонов Н. И. был осужден к высшей мере уголовного наказания— расстрелу с конфискацией имущества.

По определению Военной Коллегии Верховного суда СССР от 16 марта 1938 года приговор ВТ ЛВО был оставлен в силе.

Приговор приведен в исполнение 14 апреля 1938 года в Ленинграде.

По определению Военной Коллегии Верховного суда Союза ССР от 29 октября 1955 года приговор Военного Трибунала Ленинградского военного округа от 7—9 января 1938 года, определение Военной Коллегии Верховного суда Союза ССР от 16 марта 1938 года в отношении Спиридонова Н. И. по вновь открывшимся обстоятельствам отменены и дело в уголовном порядке прекращено.

Спиридонов Н. И. по данному делу реабилитирован.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Одулок Текки (Тэки) (настоящее имя Спиридонов Николай Иванович) (4.VI.1906, пос. Нелемное, ныне Якутская АССР — 14.IV.1938) — прозаик. Кандидат экономических наук. Член КПСС с 1925 года. Окончил совпартшколу (1924) и Ленинградский университет (1931). Первый юкагир, получивший высшее образование и ученую степень. Вел разнообразную советскую и культурно-просветительную работу в Чукотском национальном округе. Начал печататься в 1927. Автор статей «Юкагиры» и «Юкагирский язык» в 1-м издании БСЭ.

На Крайнем Севере. Л., 1933, Якутск, 1959.— Сокр. вариант; Жизнь Имтеургина-старшего. Л., 1934 и др. издания.

ПЕРВЫЙ СРЕДИ ЮКАГИРОВ

Когда-то, бывая в гостях у Алексея Чапыгина, я услышал от него:

— Тому, кто занимается историей, особенно писателю, клоч бумаги — пустяшный, вроде бы, документ — может рассказать о времени больше, чем длинная речь...— Он показал пожелтевший квадратик, размером с ладонь, осторожно разглядел.— Писано при царе Алексее Михайловиче.

Припомнились его слова, когда раскрыл архивную папку с надписью «Спиридонов Николай Иванович» и увидел лежащий сверху листок, величиной с почтовый конверт, на котором выделялось слово «Расписка» и проставлен номер «726». Ленинградское отделение издательства «Молодая гвардия» выдало писателю Текки Одулоку договор № 102—361 на издание книги «Жизнь Имтеургина-младшего», 384 страницы. Время получения рукописи — 2 апреля 1937 года.

Много воды утекло с той поры в Неве, минули годы, в 1988 году в адрес Историко-мемориальной комиссии ленинградских писателей пришло из Москвы письмо Н. Н. Шатунова-Спиридонова, сына писателя Текки Одулока. «Отцом незадолго до

ареста была сдана в печать рукопись книги «Жизнь Имтеургина-младшего», являющейся продолжением 1-й книги об Имтеургине, но она так и не опубликована. Может быть, рукопись сохранилась?..»

Мы навели справки. Да только где и что было искать? Давно уже нет в Ленинграде отделения «Молодой гвардии», а из тех архивов, что где-то, может быть, и хранились, ничего уже не осталось: их уничтожили время, блокада, бомбежки, обстрелы, пожары. Осталась только расписка.

Но имя первого среди юкагиrow литератора, ученого, исследователя-этнографа, если не в памяти людской, так в печатном слове сохранилось.

У него была необычная жизнь: из века, недалеко ушедшего от каменного, он сразу шагнул в век, где давно уже никто не удивлялся радио, телефону, электричеству, самолетам.

Николай Спиридонов появился на свет в урочище Нелемное, Верхне-Колымского района (ныне Республика Саха (Якутия) 22 мая 1906 года. «На реке Ясачной, среди ивовых зарослей, в шатре из оленьей кожи родился я — пишущий эту книгу, — рассказывает он о себе в повести «Жизнь Имтеургина-старшего». — Отца моего звали Атылахян Иполун, он был юкагир из рода Чолгородье, то есть заячьих людей. В детстве я бродил вместе с семьей по лесным долинам реки Ясачной и ее притокам в поисках охотничьей добычи». Лирические строки, но за ними — суровая действительность.

С детских лет он узнал, что такое мучительный голод, постоянная нужда, ночевки на снегу под звездным небом, неумолимые северные пурги, жестокие заполярные морозы, от которых трескаются хилые кривые березки. Немалой семье Спиридоновых прокормиться было трудно. Охотничий промысел да рыбная ловля — единственное, что давало пищу, зависели от бесконечного множества случайностей: какова погода, хороша ли снасть, хватает ли сил на длительную кочевку... Веснами, когда пробуждалась природа и можно было радоваться первому солнечному пригреву, бывало и так, что не оставалось в шалаше ни крошки еды, хорошо, если ненароком попадал в петлю заяц или белая куропатка. Вечно, как грозный призрак, стояла на пороге нищета, а за нею — смерть.

И наступил день, когда отец сказал сыну: «Надо тебе уходить. Будешь теперь в другом месте, у богатого человека». Мальчика отдали в услужение купцу из Средне-Колымска. И там он стал чем-то вроде вещи: им распоряжались, как рабом, вынуждая исполнять самую черную работу.

В том самом 1937-м, в том самом месяце, когда Текки Одулок еще не стал узником, в журнале «Пионер» был напечатан его рассказ «Имтехай у «собачьих людей», — «собачьими» называли тех, кто ездил на собаках, в отличие от «оленьих». Тяжелое детство Имтехая — это детство самого автора.

Случилось, однако, так, что купец заметил смысленность мальчика, остроту ума, трудолюбие и послал в церковно-приходскую школу. Замысел был прост — воспитать священника-юкагира, верного помощника в делах коммерческих; будут его сородичи послушны праведному слову.

Но время не стояло на месте. Уходила в прошлое власть купцов, притеснявших северян. При Советской власти жизнь грамотного юкагирского юноши сделала крутой поворот. 19-ти лет от роду он приехал в Якутск, стал коммунистом, поступил в советско-партийную школу, закончил ее в 1925 году и вскоре отправился в Ленинград.

Не одну неделю длился путь: пересечь половину Европы и весь азиатский материк от Японского моря до Балтийского. «Четырнадцать суток непрерывно я еду в транссибирском почтовом поезде, в жестком вагоне... Словно во сне, тогда я видел в первый раз железную дорогу, огнедышащий паровоз и большой город с каменными домами, поставленными друг на друга. Я страшно боялся тогда всего, что видел. Особенно я боялся людей, потоками идущих по улицам городов, толкающихся в залах и отнимающих друг у друга место в вагонах поезда», — так он вспоминал свою поездку на страницах книги «На Крайнем Севере». Все казалось необычайным, чудесным, порой пугающим; все оставляло в душе неуходящее впечатление.

Он поступил в университет. Урывая время от учебных занятий, начал писать. У юкагиров, которые сами себя называют «одулы», никогда не было собственной письменности; ее заменял устный эпос. Свои литературные произведения Николай Спиридонов стал подписывать «Текки Одулок» — «маленький одул».

В Ленинграде Текки, которому уже исполнилось 20 лет, попал в добрые руки знаменитого ученого, исследователя Чукотки, этнографа В. Г. Тан-Богораза. Занятия шли под его руководством. Для начинающего литератора он был и советчиком, и учителем, и первым редактором. Они обогащали взаимно друг друга. Романы «Союз молодых» и «Воскресшее пламя» Тан-Богораза не могли быть созданы без помощи студента Спиридонова.

Окончился первый год студенческой жизни. Н. И. Спиридонов как участник научной экспедиции едет на Чукотку и Колыму.

Главные особенности его характера — вдумчивость, непрерывный поиск. Он возвращается в Ленинград, пройдя еще одну школу жизни, — все зримей проступают в нем качества исследователя и ученого. Учеба в вузе продолжается; обозначилось ее направление: экономика и этнография.

Год 1931-й. Текки Одулок успешно заканчивает университет и поступает в аспирантуру при Институте народов Севера. Еще три года упорной работы, в 1934 году среди маленького народа появляется первый ученый со степенью кандидата экономических наук.

Научная и литературная работа отнимает основное время, но, вместе с тем, Николай Спиридонов отдает много сил общественной деятельности. Его ввели в состав Якутского Комитета Севера, затем как член оргкомитета Дальневосточного крайисполкома он трудится над созданием Чукотского национального округа. Будучи членом Коммунистической партии, он и на этом поприще проявил себя: был секретарем Аяно-Майского райкома партии, позднее возглавлял национальный сектор Хабаровского отделения союза писателей. И вместе с тем не порывал тесной связи с ленинградскими писателями, с их организацией.

Так складывалась жизнь талантливого юкагира. Его культурно-просветительная работа не мешала литературному творчеству. Он начал печататься еще в 1927 году. В Большой советской энциклопедии (1-е издание) можно увидеть его статьи «Юкагиры» и «Юкагирский язык». В 1933 году вышла в Ленинграде книга «На Крайнем Севере», а в следующем, 1934-м — повесть «Жизнь Имтеургина-старшего»; появились журнальные статьи.

Творчество Текки Одулока не оставалось незамеченным. Лидия Сейфуллина в своих воспоминаниях о Горьком рассказывает: «Однажды во время завтрака он (М. Горький) объявил присутствовавшим:

— А я всю ночь не спал, зачитался. Хорошая книжка «Жизнь Имтеургина-старшего»!

О творчестве Текки Одулока тепло отзывались и другие известные писатели. Оно получило высокую оценку Александра Фадеева и Алексея Толстого. С большим вниманием относился к начинаниям первого юкагирского писателя С. Я. Маршак.

В журнале «Сибирские огни» (№ 1, 1959) в статье «Об одной забытой книге» Лидия Чуковская писала: «Подлинность материала делает повесть настоящим документом времени. «Эмоциональный накал», создающий подлинность чувства, делает этот документ художественным произведением. Повесть немногоречива, немногословна, как немногословны северные люди. Но

в этой полунемоте — выразительность, сила, глубина человеческих страстей: любви и ненависти».

С автором статьи нужно согласиться, но единственное, что вызывает возражение, ее название. Книга не была забыта.

«Жизнь Имтеургина-старшего», впервые вышедшая в 1934 году, в более поздние годы переиздавалась еще не раз и это было вполне заслуженно. Она выдержала у нас три издания, переведена на английский язык и опубликована в Лондоне под названием «Снежные люди». Издавалась также в Праге и других европейских городах.

Повесть Текки Одулока примечательна не только тем, что открыла читателю совершенно незнакомый мир — мир неграмотного чукчи, чье сознание, быт, вся жизнь опутана суевериями. Произведение это напоминает рассказы Джека Лондона — не стилем, а скорее фактурой, сюжетом. Чукча Имтеургин, вынужденный каждый день и каждый час вести борьбу за существование, вечно голодный, чтобы выжить, должен собрать в кулак свои нравственные и физические силы. Против него все и вся: лютая стужа и ураганная пурга, жестокая природа и состоятельный сородич, нещадно эксплуатирующий бедняка. И не оставляющая его мысль: «Выстоять».

Вышедшая в 1933 году и переизданная в 1959 книга «На Крайнем Севере» — наиболее значительное произведение Текки Одулока. Выпущенная «Молодой гвардией» в серии «Библиотека экспедиций и путешествий», она привлекла внимание как серьезный географический и этнографический труд, посвященный поездке автора на Камчатку, Чукотку, Колыму. Нельзя, разумеется, не учитывать того, что книга написана на фактах и материале конца 20-х годов, когда на северо-востоке страны только еще утвердилась Советская власть. С тех пор в крае произошли большие изменения. Но как характеристика экономики Колымского края в тот период — она ценна, познавательна и теперь. Жизнь, обычаи, быт юкагиров, род их занятий — охота, рыболовство, отношения с соседними народами, — это, правда, история, но в известной мере и настоящее.

У нас нет документов, по которым можно было бы судить о том, какие обвинения предъявлялись Текки Одулоку. Он был арестован в 1937 году и умер в тюрьме 14 апреля 1938 года.

В выписке из протокола заседания Правления Ленинградского отделения Союза писателей РСФСР от 25 сентября 1958 года сказано: «Восстановить посмертно с 1934 года в правах члена Союза писателей Спиридонова Николая Ивановича (Текки Одулок)».

22 мая 1966 года ему исполнилось бы 60 лет. Эту дату отметили земляки писателя; газета «Советская Колыма» в выпусках от 30 апреля и 13 мая поместила библиографические материалы о его жизни, воспоминания сына Николая Спиридонова — Н. Н. Шатунова-Спиридонова.

Со страницы газеты смотрит на нас первый юкагирский писатель: округлое лицо с твердым подбородком, взгляд, выдающий сильную внутреннюю работу, черные волосы...

«Я видел на своем веку много горьких картин, ужасающих вещей. Я видел в темноте светящиеся фосфорическим светом черепа людей, видел груды скелетов внутри избушек, замурованных снаружи снегом... Передо мной были не люди, а тени, живые тени.

— Хаха, мет калул,— сказал я.— Это я пришел...»

Не были ли такие слова, сказанные в книге «На Крайнем Севере», последними его словами?..

Память о писателе в родной республике не угасает. 5 мая 1981 года в Якутске состоялся вечер, посвященный 75-летию со дня рождения Текки Одулока, основоположника юкагирской литературы, ученого и общественного деятеля. На приглашенных билетах можно было прочитать сказанное им: «Я призываю общественные организации и товарищей-энтузиастов прийти к нам на помощь в тяжелой борьбе по перестройке жизни на Дальнем Севере, по приобщению к социалистической культуре народностей, еще совсем недавно живших в условиях, при которых орудиями производства служили кости зверей и камень».

Захар Дичаров



**Юлиан
Григорьевич
ОКСМАН**

1895 — 1970

Воспоминания Ксении Петровны Богаевской — историка литературы, библиографа, текстолога-комментатора о своем учителе, друге и соавторе относятся к числу пока весьма немногих публикаций, посвященных необыкновенной творческой личности Юлиана Григорьевича Оксмана. С конца 1970-х годов появляются лишь отдельные упоминания о нем в научных статьях. Благодаря стараниям М. О. Чудаковой и Е. А. Тоддеса мы смогли познакомиться с биографией Оксмана, а также с частью поистине необъятного эпистолярного наследия ученого. Но этот блестящий ученый, знаток истории русской литературы и общественно-политической мысли, пушкинист и декабристовед, текстолог, истинный Учитель, феноменальный организатор и вдохновитель многих культурных начинаний до сих пор (по крайней мере, в общественном сознании) не занял «официального» заслуженного места в пантеоне выдающихся литературоведов нашего века.

Подобное упорство замалчивания роли Ю. Г. Оксмана в развитии отечественной филологии, помимо всех объективных, теперь хорошо нам известных причин, связано отчасти и с особенностями его индивидуальности и биографии. Вот что говорит сам Оксман о первом, «благополучном» этапе своей жизни в письме историку А. С. Нифонтову от 15 декабря 1963 года:

«Многоуважаемый Александр Сергеевич, ваш творческий отчет, соединенный с автобиографией, я прочел с большим вниманием и интересом. Мне даже самому захотелось написать нечто в этом роде о себе, но очень уж пестра и неблагоприятна моя

биография, чтобы ее можно было бы пустить в широкий оборот, а для письменного стола писать не хочется, да и времени нет. Я был оставлен при университете весной 1917 года, тотчас после окончания государственных экзаменов, а зачетное («выпускное») свидетельство получил еще до революции, осенью 1916 г. С 1915 г. я уже был на службе в архиве Министерства народного образования, где дослужился до звания чиновника особых поручений VII класса (что-то вроде подполковника, если вспомнить табель о рангах). Старшим моим товарищем по университету был С. М. Бонди (но окончили мы университет в одно время), а одним из учителей — В. Ф. Шишмарев.

Подобно вам, и я метался некоторое время между историей средних веков (...), русской историей XVIII века и русской литературой первой по(ловины) XIX века. Источниковедческую школу получил в семинарах А. А. Шахматова и И. А. Шляпкина, а Пушкина изучал в семинаре С. А. Венгерова. Многим был обязан В. И. Семеvскому, П. Е. Щеголеву, Б. Л. Модзалевскому, Н. К. Пиксанову, А. Е. Преснякову. С 1920 по 1923 г. работал в Одессе (после демобилизации), но часто бывал в Ленинграде и в Москве. С 1923 г. был профессором Петро-градского университета, с 1927 по 1930 г. много работал в Институте истории искусств, с 1933 г. — в Пушкинском доме и в Отд(елении) общ(ественных) наук АН. Научно-организационная и преподавательская работа, не говоря уже об общественной, очень мешала выходу в свет большой продукции, но исследовательская работа всегда была для меня на первом месте. Печатался я не так уж мало, но все больше отходя от основных работ, а не самые работы. Даже пушкинские мои работы были отодвинуты на много лет в сторону, даже декабристские, даже Белинский. Корней Иванович Чуковский всегда говорит, что ученый и писатель должны жить 200—300 лет, а не 60—70, когда только-только накапливается опыт и вырабатывается мастерство. Поэтому так интересны статьи, подобные вашей, посвященные «опыту» на ходу, в процессе стройки, задолго до ее завершения *. Большое вам спасибо за то, что подарили мне этот оттиск, он пришелся мне очень кстати и по вкусу.

После защиты диссертации Э. С. Виленской я простыл и слег в постель, но во вторник начну обычную поденку.

Будьте здоровы и благополучны!

Ваш Ю. Оксман. **

* В письме Ю. Г. Оксмана речь идет о статье А. С. Нифонтова «Из опыта научной работы историка». — История СССР, 1963, № 2, с. 118—140.

** Письмо Ю. Г. Оксмана хранится у В. Е. Хализева, племянника А. С. Нифонтова.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

По извращенной и неумолимой логике эпохи процветающий ученый и преуспевающий администратор (с 1933 года — зам. директора Пушкинского дома, фактический глава коллектива по подготовке юбилейного академического собрания сочинений А. С. Пушкина, активный член редколлегии изд-ва «Academia») стал в 1936—1946 годах жертвой колымских лагерей... «В свет» Ю. Г. Оксман возвратился уже иным человеком, полностью отбросившим все политические иллюзии и амбиции, остатки рабского страха еще долго сковывали его коллектив и общество в целом. Смелость его устных и письменных высказываний поражала современников, а «резкий, охлажденный ум» множил число врагов, но зато привлекал сердца молодежи. Проведя 9 лет в Саратове (1947—1956), Оксман перебрался в Москву но долго после этого, по словам Е. Дрыжаковой, говорили о знаменитой «Саратовской школе, откуда выходили настоящие ученые».

В эпоху хрущевской «оттепели» во всей полноте развернулась неумолимая деятельность Ю. Г. Оксмана: он принимает самое активное участие в подготовке академического издания А. И. Герцена, изданий русских классиков, научных серий «Литературные памятники», «Литературное наследство», а также «Краткой литературной энциклопедии».

О творческой и жизнестроительной позиции ученого тех лет лучше всего свидетельствуют его письма. Вот, например, что он пишет 21 декабря 1962 года Г. П. Струве: «Я много времени отдаю в последнее время «Краткой литерат(урной) энциклопедии». Несмотря на вопиющие пропуски и ошибки, это в наших условиях очень передовое издание. Недаром оно встречено в штыки всей черной сотней — протесты в ЦК написали Бабаевский, Софронов, Лесючевский, Кочетов, Дымшиц, редакция «Литературы и жизни», Акад(емия) обществ(енных) наук, Самарин, кафедры нескольких педагогич(еских) институтов и т. д. Особенно негодуют за «прославление» Бабеля, Артема Веселого, Ахматовой, М. Волошина, за включение в энц(иклопедию) «молодых» — Аксенова, Вознесенского, за глумление над Бабаевским и Волковым, за недооценку Ажаева, Вирты и других бездарных сталинистов.

...На днях я выступил на общем собр(ании) сотрудников Инст(итута) миров(ой) литер(атуры) с резкой критикой руководства ИМЛИ и отд(еления) лит(ературы) и языка за недооценку зарубежных науч(ных) работ (я перечислил книги и статьи Рива, Малия, Маркова, Якобсона, Ваши, Ледницкого и др.).

...Я заявил, что под фирмой Президиума АН орудует т. н. Иностранная комиссия АН, состоящая из невежд и фашистов, выгнанных из других учреждений (все поняли, что я имел в виду ведомство Берии)» (Stanford Slavia Studies, p. 35—36).

Подобная «дерзость», а также широкие связи с иностранными коллегами, публикация статей за рубежом в условиях действительности середины 60-х годов не могли не привести к очередной драме. В 1964 году на квартире Оксмана был произведен обыск, сам ученый был вслед за этим уволен с работы в ИМЛИ, в «Литературном наследии», исключен из Союза писателей (показательно, что расправа происходила фактически одновременно с «делом» Ю. М. Даниэля и А. Д. Синявского). И поскольку Оксман не пожелал «каяться», за что ему было обещано «прощение», то новый гнет запретности тяготел над его именем до конца жизни и почти вплоть до времен, именуемых ныне перестройкой.

«А это ведь для нашего брата предел желаний — сохранить актуальность на три четверти века вперед! — писал 17 июня 1952 года Ю. Г. Оксман своему коллеге и другу М. К. Азадовскому. — После этого остается уже только библиогр(афическая) справка в очень специальных справочниках — она будет жить еще лет 100 «для немногих».

Жизнь, на этот раз к счастью, распорядилась иначе. После небольшой, «обычного объема» справки в «КЛЭ» (милостиво разрешенной свыше) к нам возвращаются его труды, а с ними осознание масштаба личности их автора и наших интеллектуальных и нравственных потерь. С чувством естественного нетерпения хочется приблизить желанное время, когда на расчищенном культурном небосводе вновь засияют созвездия больших талантов, бывших слишком долго скрытыми от нас враждебными вихрями воинствующей посредственности.

В ноябре 1936 года до Москвы дошел слух об аресте Ю. Г. На него написала донос одна из сотрудниц Пушкинского дома. Впоследствии он говорил мне, что ему ставилась еще в вину покупка за 5 тысяч рублей для отдела рукописей архива «пресловутого генерала Кутузова».

Мы все ждали в это время грандиозного праздника — торжества по случаю столетия со дня смерти Пушкина. На фоне юбилейной суеты и общего подъема меня особенно поразило несчастье, случившееся с одним из крупнейших пушкинистов. Сердце обливалось кровью за этого совершенно чужого мне человека. Мне представлялось, что он, как зверь, мечется по своей тюремной клетке.

Время шло, разговоров и сообщений о Ю. Г. было мало. Говорили, что он шьет сапоги (что оказалось неверным).

Ю. Г. неохотно вспоминал о своем пребывании в лагере, но порой на него находило настроение, когда он много и подробно рассказывал о людях, которых там встречал, и о различных эпизодах.

В московской тюрьме с Ю. Г. в одной камере находился как-то хиромант. Ю. Г. попросил того прочесть будущее по линиям его руки. Хиромант подвел Ю. Г. к зарешеченному, высоко расположенному окну, тускло пропускавшему свет, и сказал:

— Ручка могла бы быть почище. Вы потеряли высокое положение, но не падайте духом, все снова вернется к вам — любимое дело, успех и известность.

Прибыв в лагерь в Омск летом 1937 года, Ю. Г. заболел тифом и попал в тюремную больницу. Ему стало так плохо, что санитары вынесли его, как умирающего, в мертвецкую. Там, в бессознательном состоянии, он слышал слова сторожа, который в течение двух-трех дней приходил и ворчал:

— Это падло еще не издохло! Я опять не могу везти покойников.

«И мне было ужасно стыдно,— рассказывал Ю. Г.,— что я никак не могу умереть и подвожу этим работающего человека».

К счастью, омскую больницу приехал принимать новый главный врач. Он осматривал все помещения и зашел даже в мертвецкую.

— Да у вас здесь живой человек,— в ужасе закричал он, увидев Ю. Г. Тут же доктор распорядился перенести Ю. Г. в палату и выдавил ему в рот сок из целого лимона (лимон принадлежал врачу и был большой редкостью в тех местах).

После хорошего ухода и питания Ю. Г. вернулся к жизни, пролежав в больнице полтора месяца.

Вообще Ю. Г. в лагере несколько раз был на краю смерти. «Меня спасли три человека: один — уголовник, другой — инженер, третий — врач. Я их никогда не забуду»,— говорил Ю. Г. в первые дни после возвращения.

В 1941—1942 годах Ю. Г. заведовал баней. «Это было спокойное время,— вспоминал он.— Я много часов сидел в тайге, смотрел на лес, слушал журчание воды, думал свои думы».

Часто, оставаясь один, декламировал себе вслух, чтобы «развлечься», стихотворения Пушкина. Тогда, быть может, он и задумал некоторые будущие свои статьи о политической лирике Пушкина.

24 ноября 1943 года он писал жене:

«Вспоминаю тайгу и бесконечную зимнюю многомесячную ночь (точнее, сумерки) у Индигирки, куда меня забросила судьба в 1941—1942 годах. Мороз 60 градусов, костер, я у костра, всю ночь напряженно всматриваюсь в прошлое («настоящего» тогда для меня не было, «будущее» было более чем проблематично).

У костра я не только вспоминал, но иногда писал мысленно целые книги, главу за главой, ярче и легче, чем бывало за письменным столом в Ленинграде».

После разгрузки вагонов с кирпичами давали селедку или воблу, в награду за работу. Это было редкое и любимое лакомство.

Никакое печатное слово в лагере не разрешалось, так же как и слушание радио. Даже о Великой Отечественной войне заключенные узнали не скоро, шепотом, друг от друга по секрету.

Как-то в баню попал генерал из лагерного начальства: он попросил Ю. Г. вымыть ему спину, после чего милостиво протянул «баншику» три рубля. «Знаете, я не удержался и разревелся от унижения».

В лагерь приехала комиссия, во главе которой стоял какой-то деятель, знавший Ю. Г. по Ленинграду. Он отнесся с сочувствием к заключенному «профессору», перевел его на лучшее место — в прачечную, где Ю. Г. получил крошечную собственную комнатку. «Такое было блаженство, свой угол». К тому же этот человек оставил Ю. Г. несколько книг, в том числе стихотворения А. К. Толстого.

В прачечной приходилось гладить белье местного начальства. «Однажды я по неопытности прожег чьи-то брюки. Представляете мое отчаянье?» К счастью Ю. Г. сообразил, что в поселке живет знакомый портной, побежал к нему, и тот выручил, незаметно починив пострадавшее место.

Когда первые пять лет заключения подходили к концу (это был срок, полученный Ю. Г. в Москве), его вдруг вызвали в заседавшую «тройку» и заявили: «Вы клеветеете на советский суд». — «Каким образом?» — «Вы говорили здесь, что вас посадили ни за что». — «Говорил, да так оно и есть».

«Тройка» за «клевету» прибавила Ю. Г. к прежнему сроку еще пять лет лагеря. Но, когда он вышел из комнаты, его нагнал один из судивших и сказал:

— Вы, товарищ, не огорчайтесь. Сейчас у нас война, она кончится, и вас выпустят.

Однако выпустили Ю. Г. точно «по звонку» (как говорили в лагерях) — через десять лет — 4 ноября 1946 года.

Впрочем, последний год в Магадане он жил почти на свободном положении, ходил по городу, в библиотеку и, кажется, даже в частные дома людей, с которыми там познакомился. В Магадане он много читал и частично восстановил свои пробелы в литературе тех лет.

К записанным мною теперь, к сожалению, через много лет, рассказам Ю. Г. уместно добавить несколько цитат из его писем ко мне:

«В Саратове 26-го числа бушевал ураган (...). Очень тяжело все это отразилось на сердце: я шел из университета домой точно в таком состоянии, как когда-то в шестидесятиградусный мороз возвращался на Колыме с работы в палатку, т. е. с полной уверенностью, что не дойду» (28 марта 1953 г.).

«Рад, что вы так довольны своим новым бытом. Это ведь самое главное, лучше ничего не бывает после трудового дня. Я помню колымскую каторгу и блаженное ощущение хорошей палатки!» (26 апреля 1955 г.).

Возвращение к свободной жизни было нелегким. Бывшие заключенные тащились целый месяц в товарном составе, который постоянно ставили на запасные пути.

Когда в последних числах декабря 1946 года Ю. Г. вышел на перрон московского вокзала, он «увидел женщину, похожую на тетку моей жены». Это и была его жена Антонина Петровна.

Она специально приехала в Ленинград встречать его и долго жила у родных в ожидании прихода эшелона, шедшего вне расписания. Ежедневно ходила на вокзал в тщетной надежде встретить Ю. Г. и дождалась, встретила...

Получив от меня поздравительную телеграмму 4 ноября 1954 года — в годовщину его освобождения, Ю. Г. отвечал: «Дата, которую отметили вы, уже мало кому памятна, но мне ее никак уж не забыть — она и начинает и кончает предпоследний этап моей биографии» (7—8 ноября 1954 г.).

Осенью 1946 года стали поговаривать о возвращении Ю. Г. Я однажды сказала Мстиславу Александровичу: «Позовите меня, когда у вас будет Оксман. Я хочу ему подарить свою книгу» («Пушкин в печати за сто лет», 1938 г.).

И вот 2 января 1947 года, днем, М. А. позвонил мне в Литературный музей:

— Сегодня вечером у нас будет Оксман. Вы просили вас известить, приходите, встречайте и привечайте.

Прием гостей был назначен на восемь часов. Я успела приехать раньше. Пришли С. М. Бонди, Г. О. Винокур, а Ю. Г. все нет и нет...

Начали беспокоиться — не заблудился ли он? Бонди и Винокур упрекали себя, что пустили идти его одного, отвыкшего от больших городов.

Наконец раздался желанный звонок и в кабинет вошел небольшой, тщедушный, исхудалый человек. Я смотрела пораженная и не находила ничего общего с тем цветущим и сияющим, элегантным литературоведом, которого я раньше встречала.

Только когда он пожал мне руку, я заметила что-то знакомое в выражении глубоко запавших и теперь бесконечно грустных карих глаз. Я назвала себя и добавила: «Вы, вероятно, меня не помните». — «Наоборот, прекрасно помню. Вы занимались Веневитиновым». (М. А. потом мне говорил: «Это он придумал тут же, он не мог помнить вас».)

Я же уверена, что Ю. Г. действительно меня не забыл, ибо там, несомненно, часто вспоминал дом Цявловских. Там люди живут только памятью о прошлом, и им дорога каждая черточка из утраченных дней.

Свое опоздание Ю. Г. объяснил так:

— Я долго шел пешком и наслаждался, глядя на московские переулки и старые дома.

Он не добавил, что больше всего наслаждался ощущением вновь обретенной свободы, но это было и так всем понятно.

Весь вечер был посвящен рассказам Ю. Г. о его заключении. Мы слушали потрясенные, представив ясно себе, что он перенес и каким чудом остался жив!..*

Ксения Богаевская

* «Литературное обозрение», 1990, № 4, стр. 100—103.



**Николай
Макарович
ОЛЕЙНИКОВ**

1898 — 1937

Архивно-следственное дело

Олейников Николай Макарович, 1898 года рождения, уроженец ст. Каменская, Азово-Черноморский край, член ВКП(б) с 1920 года, партбилет № 1105565, на учете состоял в Дзержинском РК ВКП(б) Ленинграда, редактор детского журнала «Чиж», проживал: Ленинград, кан. Грибоедова, д. 9, кв. 46

жена — Олейникова Лариса Александровна — 31 год (в 1937 году), домохозяйка, в 1957 году проживала: г. Одесса, ул. Энгельса, д. 54, кв. 4

сын — Олейников Александр — 1 год, проживал с отцом.

Арестован 3 июля 1937 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся в том, что «являлся участником контрреволюционной троцкистской организации, проводил контрреволюционную вредительскую и террористическую работу».

Постановлением Комиссии НКВД и Прокурора СССР от 19 ноября 1937 года определена высшая мера наказания — расстрел.

Расстрелян 24 ноября 1937 года.

Определением Военного Трибунала Воронежского военного округа от 13 сентября 1957 года постановление Комиссии НКВД и Прокурора СССР от 19 ноября 1937 года дело в отношении

Олейникова Н. М. отменено и производством прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Олейников Н. М. по данному делу реабилитирован.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Олейников (подписывался также псевд. Макар Свирепый, С. Кравцов и др.) Николай Макарович (16.XI.1898, станица Каменская, ныне Ростов. обл.— 5.V.1937) — поэт, прозаик, детский писатель. Чл. КПСС с 1920. Окончил Моск. техн. уч-ще. Участник гражданской войны. Начал писать в 1921. Сотрудничал в ростовской газ. «Молот». В Ленинграде с 1925. Один из создателей и первый редактор детского журн. «Еж» (1928 — 1929). Был также редактором журн. «Чиж» (1934, 1937) и «Сверчок» (1937). В «Еже» создал юмористический образ Макара Свирепого, именем которого подписаны три его книги. В соавт. с Е. Шварцем написал сценарий фильмов «Разбудите Леночку» (1934). «Леночка и виноград» (1936), «На отдыхе» (1936).

Нож пионера.— В кн.: Советские ребята. М.— Л., 1926, вып. 1, 2; Первый совет. Л., 1926; Боевые дни. М.— Л., 1927 и др. изд.; Кто хитрее? М., 1927.— Перед загл. авт.: Макар Свирепый; Танки и санки. М.— Л., 1928 и др.; Удивительный праздник. М.— Л., 1928 и др. изд.; Без рук, без топоренка построена избенка: Рассказы. Л., 1928; Индийская голова. М.— Л., 1929; Хитрые мастеровые. М.— Л., 1929 и 1930.— Перед загл. авт.: Макар Свирепый; Bloшиный учитель. М., 1930.— Перед загл. авт.: Макар Свирепый; Питерский Совет. М., 1931; Портрет. М.— Л., 1937 и Пятигорск, 1938; Пороховой погреб. М.— Л., 1937; Таракан; Перемена фамилии.— В кн.: День поэзии. Л., 1966.

О МАКАРЕ СВИРЕПОМ

Николай Чуковский рассказывал: «Коля Олейников был казак, и притом типичнейший — белокурый, румяный, кудрявый, похожий лицом на Козьму Прутков, с чубом, созданным богом для того, чтобы торчать из-под фуражки с околышком. Он был сыном богатого казака, державшего в станице кабак, и ненавидел своего отца. Он весь был пропитан ненавистью к казакам и всему казачьему. Он утверждал, что казаки — самые глупые и самые ленивые люди на свете. В казачьих землях, говорил он, умны только женщины. А мужчины — бездельники и выдающиеся дураки. Все взгляды, вкусы, пристрастия выросли в нем из ненависти к окружавшему его в детстве казачьему быту. Родня

сочувствовала белым, а он стал бешеным большевиком, вступил сначала в комсомол, а потом в партию. Одностаничники судили его за это шомполами на площади,— однажды он снял рубаху и показал мне свою крепкую очень белую спину, покрытую жуткими переплетениями заживших рубцов. Он даже учился и читал книги из ненависти к тупости и невежеству своих казаков. Казаки были антисемиты, и он стал юдофилом,— с детства ближайшие друзья и приятели его были евреи, и он не раз проповедовал мне, что евреи — умнейшие, благороднейшие, лучшие люди на свете».

Николай Макарович Олейников родился 16 ноября 1895 года в станице Каменская (ныне Ростовской обл.), а в 1920-м вступил в партию большевиков. После гражданской войны судьба забросила его в горняцкую газету Бахмута «Всероссийская кочегарка». Правда, до этого он успел поработать в ростовском «Молоте». В «Кочегарке» он исполнял обязанности секретаря редакции и мечтал — страстно — о создании на Донбассе художественно-го журнала, не помышляя даже, что и сам вскоре станет писать.

В тот год, весной 1923 года под Бахмут приехали два петроградца — Евгений Шварц, еще не пишущий, пригласив с собой Михаила Слонимского, уже пишущего, решил погостить на хлебном юге у родителей, где его отец работал врачом на одной из шахт. А чтобы не быть обузой, Слонимский отправился в Бахмут на заработки. «В редакции «Кочегарки» за секретарским столом сидел молодой белокурый, чуть скуластый человек,— вспоминал Михаил Леонидович.— Он выслушал мои объяснения молча, вежливо, солидно, только глаза его светились как-то загадочно. «Прошу вас подождать». И он удалился в кабинет редактора, после чего началась фантастика. Из кабинета выбежал, нет, стремительно выкатился маленький, круглый человек в распахнутой на груди рубахе и чесучовых широких штанах.

— Здравствуйте, здравствуйте, очень рад,— заговорил он, схватив меня за обе руки. Ладони у него были мягкие, пухлые.— Простите меня,— торопливо говорил он на ходу, ведя меня к себе в кабинет.— Я не специалист, только что назначен. Но мы пойдем на любые условия, только согласитесь быть редактором нашего журнала. Я так рад, я так счастлив, что вы зашли к нам! Договор можно заключить немедленно, сейчас же! Пожалуйста! Я вас очень прошу!

Я был так ошеломлен, что не мог и слова вымолвить... Белокурый секретарь стоял возле, недвижимый, безгласный, но глаза его веселились всюду...

— Вы только организуйте, поставьте нам журнал! Ведь вы из Петрограда! Ах, вы с товарищем? Пожалуйста! Мы пригла-

шаем и товарища Шварца! Товарищ Олейников,— обратился он к белокурому секретарю со смеющимися глазами,— прошу вас, оформите все немедленно! И на товарища Шварца тоже!..» *

На следующий день Слонимский со Шварцем явились в редакцию. Их встретил Олейников. Он «не утаил от нас, что это он — виновник вчерашней фантазмагии,— продолжает Слонимский.— Он слышал о петроградской литературной молодежи и принял немедленные и экстренные меры в своем стиле — сообщил редактору, что вот тут сейчас находится проездом знаменитый пролетарский Достоевский, которого надо во что бы то ни стало уговорить, чтобы он помог в создании журнала... Олейников рассказал нам обо всем этом спокойно и деловито, словно ничего необычного не было в том способе, который он применил, чтобы воодушевить редактора на решительные действия. Так произошла первая встреча Шварца с Олейниковым, перешедшая вскоре в дружбу на всю жизнь»**.

В последнем Слонимский не точен. Дружба поначалу была действительно горячей, но к середине тридцатых она сошла на нет. Причиной был характер Николая Олейникова.

Вскоре Слонимский вернулся в Петроград, а в редакцию приехала практикантка Харьковского университета Эстер Паперная, в будущем один из авторов знаменитой книги пародий «Парнас дыбом». «Оба они (Олейников и Шварц.— Е. Б.),— рассказывает она,— были щедро одарены чувством юмора, только проявляли его по-разному. Шварц был блестяще остроумен. Олейников — ядовито умен». Вот эта разница в них и развела их в конце концов.

Встреча с петроградцами изменила судьбу Олейникова. В 1925 году он переехал в Ленинград. Но прежде заехал в родную станицу и затребовал у председателя сельсовета официальную справку о том, что он, Олейников... красивый, иначе, говорил он представителю советской власти, его не примут в Академию художеств. И он ее получил: «Сим удостоверяется, что гр. Олейников Николай Макарович действительно красивый. Дана для поступления в Академию художеств». Оформлена справка по всей форме — с печатью сельсовета и подписью председателя.

Вместе со Шварцем они стали работать в Детском отделе ГИЗа. Олейников к тому же был назначен ответственным редактором журнала «Еж». Здесь он начал по-настоящему писать —

* Михаил Слонимский. Книга воспоминаний. М.— Л., 1966, стр. 179 — 182.

** Там же.

для детей и для друзей. К своей поэтической музе никогда не относился всерьез, и при жизни опубликовал всего три «взрослых» стихотворения. Да и то под нажимом друзей*.

Хвала изобретателям

Хвала изобретателям, подумавшим о мелких и
смешных приспособлениях:
О щипчиках для сахара, о мундштуках для папирос,
Хвала тому, кто предложил печати ставить
в удостоверениях,
Кто чайнику приделал крышечку и нос. И т. д.

Для детей же он писал о том, что сам хорошо знал — о революции, о гражданской войне. Одна за другой выходили его небольшие книжки — «Первый совет» (1926), «Боевые дни» (1927), «Танки и санки» (1928), «Удивительный праздник» (1928), «Без рук, без топоренка построена избенка» (1928), «Индийская голова» (1929), «Питерский совет» (1931) и др. Критика называла его «одним из лучших писателей политических книг для детей», которые «читаются с огромным интересом и пользуются у них большим успехом». «Пользуется громадной популярностью у детей книжка Олейникова «Боевые дни», — писал другой критик о книге, кстати сказать, за пять лет она выдержала шесть изданий, — не вводя искусственных, придуманных героев, ярко передает октябрьские дни в форме, приближающейся к очерку».

Но юмор искал выхода, и тут родился некий Макар Свирепый, путешествия и приключения которого в разных частях света постоянно печатались на страницах журнала «Еж» и которые иллюстрировал прекрасный график Б. Антоновский. Рассказы, похождения, книги, подписанные от имени Макара Свирепого, разительно отличались от тех, которые писались от своего: «Кто хитрее?» (1927), «Хитрые мастеровые» (1929), «Блошинный учитель» (1930).

Кто я такой?
Вопрос нелепый!
Я — верховой
Макар Свирепый.

О веселой рабочей атмосфере в Детском отделе на Невском, 28 написано уже немало. Во всякий день, во всякий час здесь шло яростное соревнование остроловов, в котором участвовали все авторы и редакторы (а редкий редактор тогда не писал сам).

* 30 дней, 1934, № 10, стр. 79—80.

Сочинялись шутки, розыгрыши, басни, иронические оды и прозаические экспромты. Называлось сие творчество «фольтиikki». Их писали Н. Олейников и Евг. Шварц, Д. Хармс и А. Введенский, Н. Заболоцкий и Ю. Владимиров... «То была эпоха детства детской литературы,— писал Н. Чуковский,— и детство у нее было веселое».

Приведу несколько остроумных и коротких басен Олейникова:

Несходство характеров

Однажды Витамин,
Попавши в Тмин,
Давай плясать и кувыркаться
И сам с собою целоваться.
«Кретин!» —
Подумал Тмин.

Дружба, как результат вымогательства

Однажды Склочник
В Источник
Плюнул с высоты.
С тех пор Источник
С ним на «ты».

«Библиотечка Крокодила» в 1988 году выпустила сборник стихов Олейникова — «Перемена фамилии» (№ 14), где собрано большинство его произведений. Сын Олейникова, Александр Николаевич, сам поэт и геолог, позднее готовил более «солидную» книгу, в которую вошли «взрослые» и «детские» произведения писателя.

Шварц же «втянул» Олейникова и в кино. Ими была задумана целая серия картин о Леночке — веселой, боевой, активной пионерке, попадающей в различные ситуации. Первый совместный сценарий — «Разбудите Леночку» — они написали в 1933 году немым, хотя уже три года как советский кинематограф заговорил. И тем не менее вышедший на экраны фильм, в заглавной роли которого выступила Янина Жеймо, имел большой успех у маленьких зрителей, да и у их родителей тоже.

Однако и второй сценарий — уже полнометражный и звуковой — Шварц и Олейников писали поначалу без диалогов. Действие комментировалось закадровым текстом и музыкой Н. Стрельникова. И если в первом фильме действие происходило в городе, в школе, куда постоянно опаздывала героиня, то теперь были каникулы, виноградник Крыма, помощь совхозу, поимка вора и т. д.

Ими был написан еще один сценарий — «Леночка выбирает профессию». Однако серия была закрыта производством.

Одновременно Шварц и Олейников писали для кинорежиссера Э. Иогансона комедию «На отдыхе» (композитор И. Дзержинский, актеры Ю. Толубеев, В. Сладкопеев, Е. Альтус, Т. Гурецкая), в которой рассказывается о комических происшествиях на южном курорте.

И еще одна неосуществленная работа Шварца и Олейникова — сценарий цветной мультипликации «Красная Шапочка». В середине 30-х годов на Ленфильме образовалась студия цветного кино. Для нее-то и писали этот сценарий. В студийной многотиражке «Кадр» отмечалось, что, хотя сценарий и «писан талантливо, но сдан чрезвычайно сырым и недоработанным». Однако, судя по сохранившемуся в Госфильмофонде тексту, его, по моему, и сейчас еще не поздно перенести на пленку.

Олейников, вероятно, не считал себя драматургом и отступился от замысла, а Шварц переделал сценарий во всемирно известную нынче пьесу, где многое использовано оттуда.

Даниил Хармс писал Олейникову:

Твой стих порой смешит, порой тревожит чувство,
Порой печалит слух иль вовсе не смешит,
Он даже злит порой, и мало в нем искусства,
И в бездну мелких дум он сверзиться спешит.

Постой! Вернись назад! Куда холодной думой
Летишь, забыв закон видений встречных толп?
Кого дорогой в грудь пронзил стрелой угрюмой?

Рассказывают, что как и у Хлебникова, у Олейникова было пристрастие к математике. «Он никогда специально не учился высшей математике,— вспоминают И. Бахтерев и А. Разумовский,— но годами занимался ею глубоко и серьезно. Он подготовил к печати результаты своих математических исследований в области простых чисел. Эта работа вызвала живейший интерес специалистов, должна была появиться отдельной книгой» *. Но не появилась, не успела.

Наиболее точную характеристику, на мой взгляд, дал своему другу-недругу Евгений Шварц, который к середине 30-х годов разошелся с Олейниковым: «Обстановка среди тесной группы писателей тех лет, собравшихся вокруг Маршака и Житкова, все усложнялась. Становилось темно, как перед грозой. Где уж было в темноте разобраться, что мелочь, а что и в самом деле крупно.

* См.: «День поэзии», Л., 1964, стр. 160.

И, думаю, главным виновником этого был мой друг и злейший враг и хулитель Николай Макарович Олейников. Это был человек демонический. Он был умен, силен, а главное — страстен. Со страстью любил он дело, друзей, женщин и — по роковой сущности страсти — так же сильно трезвел и ненавидел, как только что любил. И обвинял в своей трезвости дело, друга, женщину. Мало сказать обвинял: безжалостно и непристойно глумился над ними. И в состоянии трезвости находился он много дольше, чем в состоянии любви и восторга. И был поэтому могучим разрушителем... Был он необыкновенно одарен. Гениален, если говорить смело... (но) был он в тот период своей жизни особенно зол: огромное его дарование не находило применения. Нет, не то: не находило выражения...» *

А вот один из последних дней Олейникова, вспоминаемый Шварцем (да простит меня читатель за большую цитату, но кто скажет об Олейникове лучше, чем человек ему близкий?): «Начиная с весны (1937 года — *Е. Б.*) разразилась гроза и пошла все кругом крушить, и невозможно было понять, кого убьет следующий удар молнии. И никто не убегал и не прятался. Человек, знающий за собой вину, понимает, как вести себя: уголовник добывает подложный паспорт, бежит в другой город. А будущие враги народа, не двигаясь, ждали страшной антихристовой печати. Они чуяли кровь, как быки на бойне, чуяли, что печать «враг народа» пришибает без разбора, любого, — и стояли на месте, покорно, как быки, подставляя головы. Как бежать, не зная за собой вины? Как держаться на допросах? И люди гибли, как в бреду, признаваясь в неслыханных преступлениях: в шпионаже, в диверсиях, в терроре, во вредительстве. И исчезали без следа, а за ними высылали жен и детей, целые семьи... (В эти дни Шварц с женой) ...встретили Олейникова. Он только что вернулся с юга. Был Николай Макарович озабочен, не слишком приветлив, но согласился тем не менее поехать с нами на дачу в Разлив, где мы тогда жили... В пути Олейников оживился, но больше, кажется, по привычке, какая-то мысль преследовала его... Лето, ясный день, жаркий не по-ленинградски, — все уводило к первым донбасским дням нашего знакомства, к тому недолгому времени, когда мы и в самом деле были друзьями. Уводило, но не могло увести. Слишком много встало между нами, слишком изменились мы оба... Были мы с Николаем Макаровичем до крайности разными людьми. Вечером проводил я его на станцию. И тут он начал: «Вот что я хотел тебе сказать». Потом запнулся. И вдруг

* *Евгений Шварц*. Живу беспокойно... Л., 1990, стр. 239—240.

сообщил общеизвестную историю... И я почувствовал с безнадежной ясностью, что Николай Макарович хотел поговорить о чем-то другом, да язык не повернулся. О чем? О том, что уверен в своей гибели и, как все, не может двинуться с места, ждет? О том, что делать? О семье? О том, как вести себя там? Никогда не узнать. Подошел поезд, и мы расстались навсегда. Увидел я в последний раз в окне вагона человека, так много значившего в моей жизни, столько мне давшего и столько отравившего. Через два-три дня узнал я, что Николай Макарович арестован. К этому времени воцарилась во всей стране чума. Как еще назвать бедствие, поразившее нас».

И конечно же первым призвали к ответу Евгения Шварца, его близкого друга — поначалу на Правлении Союза писателей, а после — и в определенных органах. Но ничего порочащего Олейникова от него не услышали. «Я стоял... испытывая отвращение и ужас, но чувствуя, что не могу выступить против Олейникова, хоть умри...» * Это правда, а не последующая придумка 1956 года. Мне рассказывал Евгений Рысс, как в декабре 1941 года он собирал Шварцев в эвакуацию из блокадного Ленинграда и как не имея возможности взять с собой весь архив (они улетали самолетом и могли захватить лишь 20 кг груза), Евгений Львович показал ему копию характеристики Олейникова, которую с него затребовали в органах, — ни одного порочащего слова там не было.

Евгений Биневиц

* Там же, стр. 629—633.



Дмитрий Константинович ОСТРОВ

1906 — 1971

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Остров (Остросаблин) Дмитрий Константинович, 1906 года рождения, уроженец г. Борисоглебска, русский, гражданин СССР, беспартийный, писатель, проживал: Ленинград, наб. кан. Грибоедова, д. 9, кв. 86

жена — Альтерман София Самуиловна, 24 года

сын — Остросаблин Феликс — 1932 года рождения. Прожили совместно.

Арестован 4 апреля 1935 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 58-10 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда).

Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 25 июля 1935 года определено сослать в Красноярский край сроком на 3 года.

Направлен в г. Красноярск.

Постановлением Президиума Ленинградского городского суда от 23 мая 1961 года постановление Особого Совещания при

НКВД СССР от 25 июля 1935 года в отношении Острова (Остросаблина) Д. К. отменено и дело, за отсутствием в его действиях состава преступления, прекращено.

Остров (Остросаблин) Дмитрий Константинович по данному делу реабилитирован.

Остров (Остросаблин) Д. К. в 1952 году проживал: Ленинград, Ковенский пер., д. 13, кв. 4.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Остров (настоящая фамилия Остросаблин) Дмитрий Константинович (11.08.1906, Борисоглебск — 09.07.1971, Ленинград) — прозаик. Окончил среднюю школу; в 1928 приехал в Ленинград, поступил на текстильную фабрику, занимался в литературной группе «Резец». Печататься начал с 1929. В 1935 в журнале «Звезда» была опубликована его повесть «Разворуевка». В годы Великой Отечественной войны — военный корреспондент «Ленинградской правды». Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и др.

В окрестностях сердца: Рассказы. Л., 1930; Герои будущего романа. Л., 1931; Огонек в окне: Рассказы. Л., 1944; Разные годы: Повесть и рассказы. Л., 1956 и др. изд.; Стоит гора высокая: Рассказы и повесть. Л., 1959; Стоит гора высокая: Повесть, рассказы. М.— Л., 1964; Перед лицом жизни: Повесть и рассказы. Л., 1969 и 1977; Повести. Рассказы. Л., 1972.

«БЕЗ МЕНЯ НАРОД НЕ ПОЛНЫЙ...»

Митя Остров был репрессирован, но сравнительно быстро вернулся. Так случалось не с ним одним. Считали, что какой-то негодяй оболгал его, все разъяснилось, и об этом почти забыли. Ольга Берггольц, с которой мы вместе учились в университете в одной бригаде, вернувшись из тюрьмы, зашла ко мне в «Звезду» и сказала: «Вот тебе пример того, как герой посадил авто-ра». Ее оклеветал отрицательный тип, выведенный ею в повести «Журналисты». Случалось и такое.

Книги у Дмитрия Острова проходили в издательствах со скрипом. Может быть, из-за его «пессимизма», кто знает. Одна из них, уже на выходе в «Молодой гвардии», застопорилась, он написал Сталину и... книгу «пустили в лапшу», зарезали и уничтожили. Я считала — сработал вкус вождя.

Большая дружба связывала Митю и Анатолия Чивилихина.

Невеселое это дело — писать о друзьях, с которыми уже не встретишься. Почти одновременно с «Землей в пути» Чивилихина вышли «Повести и рассказы» Дмитрия Острова. Остров был старше Чивилихина, умер позднее его, но все-таки слишком рано. У него было большое сердце, а себя он не щадил.

Внимательно вдумываясь и вчитываясь в написанное им, понимаешь, почему Митя, обладатель сверкающей казацкой фамилии Остросаблин, взял такой скромный псевдоним. Впрочем, сначала он, кажется, подписывал свои стихи Астров, но машинистка ошиблась и напечатала Остров. Так и осталось. Он не любил внешних эффектов. Да, начинал со стихов и, вероятно, сначала это сблизило их с Юрием Инге. Я помню, что в нашей комнате долгое время висела фотография Острова. Когда Юрий нас познакомил, Митя уже был прозаиком. Стихов его я не читала. Вокруг рассказов шло много разговоров, гремели критические грозы. В самом деле — сын паровозного машиниста, Митя вырос среди железнодорожников, работал на текстильной фабрике наладчиком станков (но ухитрился в домашней обстановке остаться совершенно неумелым — ни перегоревших пробок не перевинчивал, не мастерил никакой утвари), а писал он тогда больше о прошлом.

С жильем в начале тридцатых годов было худо. Мы с Инге снимали в Дибунах неприемлемую для нормального жилья комнату. Частная дача — красивая — текла из всех щелей, а зимой мгновенно промерзала, как только прекращали топить изящную печку. В конце-концов Юре дали комнату на Подольской улице в очень хорошем и удивительно организованном доме, где была и механическая прачечная для жильцов, и газ, и отличное снабжение дровами, но сама комната с огромным во всю стену окном оказалась сырой настолько, что приходилось менять обои каждые пять-шесть месяцев. Тем не менее считалось, что мы жильем обеспечены, и Юру выбрали в жилищную комиссию СП. Когда надо было обследовать квартиру Островых, Юра взял меня с собой. Жил Митя с женой и сынишкой в полутемной комнате с прозеленевшими углами. В передней нам показали заплесневшую обувь. Дело было ясное. Квартиру Митя получил. А уже после войны и мне, как члену жилищной комиссии, пришлось обследовать Митину квартиру; она не походила на жуткую комнату его юности.

Остров писал трудно. Требовательно к себе. Только о том, что видел собственными глазами, то, что пережил. Имена, ситуации могли быть другими, но события, чувства и размышления — непременно свои. Поэтому долго в юности он писал о дореволю-

ционной рабочей слободе, и его упрекали в пренебрежении действительностью. Первые его книги следовали горьковской традиции. Критики их ругали, а «попутчики» (тогда под этим именем значились и Николай Тихонов, и Федин, и Каверин) хвалили. Мите часто бывало невесело. Все же он не сдавался, писал медленно, выбирая и пробуя каждое слово. Проговаривал каждую сцену вслух. И так десять вариантов, десять раз, ничего не слыша, ничего не видя, кроме работы.

Мне кажется, внешне он не менялся. Старился конечно, но оставался все таким же поджарым, худым, с впалыми щеками. Костюм носил с великолепной небрежностью. Я не слышала, чтобы он громко смеялся, кричал. Зато так и вижу, как он делает «сонные» глаза, усмехается, иронизирует — в первую очередь над собой. Шло время, Саша Гитович из смуглого юноши с удивительно нежным лицом превратился в бородача — почти двойника Хемингуэя. Илья Авраменко — стройный, долго не менявшийся внешне, стал прямо-таки запорожцем с густыми свисающими усами. А Остров оставался прежним. Сам он говорит в рассказе «Побег»: «В человеке остается незыблемым только то, что приходит к нему с детства... можете разлюбить мать, город, в котором вы родились, или речку, где вы в детстве ловили рыбу».

Дмитрий Остров никогда не кривил душой. Ошибался. Откровенно. Иногда увлекался в оценке человека, был доверчив. Упрям. Хотя неизменно казался мягким. Дружил с очень разными людьми. Хорошими и плохими. Плохие подводили. Ценил открытые души, мягкость характера. Высоко ставил женскую материнскую доброту.

М. Дудин верно в предисловии к книге Острова припомнил слова земляка Мити Андрея Платонова, которого Остров чрезвычайно любил как писателя: «Без меня народ не полный». Сейчас, когда Дмитрия Острова нет среди нас, мы очень чувствуем справедливость этих слов.

Он не писал о признанных героях. Открывал героев среди самых, казалось бы, обыкновенных людей («Когда надо молчать», «Тетя Оля»). Он требовал от нас зоркости и уважения к трудовому человеку.

Он еще застал живых полицейских, остроги, трактиры вроде такого, как «Причал горемыкам»; извозчиков, доставляющих в участок «золотого кузнеца» — его деда; старый мир. И писал о нем. Убедительно, кровью сердца. Любя, понимая. Отбирая слова, не торопясь. Он не мог сказать просто: «Трудно дается человеку кусок хлеба». Он говорил так, что запоминалось: «Как трудно дается человеку и хлеб, и соль, и сахар».

Когда грянула война, он не стал торопиться и оттого писать хуже: как бы сконденсировал силы, зоркость, воображение и писал оперативно, как и требуется от военного корреспондента. И не было у него случайных корреспонденций. Нет, это не прошло даром для сердца.

Читаешь его «Избранное» и с удовольствием отмечаешь и «баню с паром» («Старики»), где «выплеснутая в колени первая пригоршня воды кидает в дрожь, как первая рюмка водки», и то, как Сухоруков «выбрался из обломков своего сна», и то, как машинистов «выдают привычки» вести паровоз. И как они, чтобы рассчитаться с предателем, загоняют в тупик пустой состав, в котором тот едет, и «никакое расследование не сумеет найти виновника катастрофы».

Внимателен писатель к самым малым деталям жизни трудового человека: «Марфа прожила большую жизнь, без отдыха, без одобрения и только перед смертью заметила, что на небе есть луна». Разве не чувствуем мы в таких строках влияние Чехова? Автор хочет, чтобы мы не просмотрели хорошего человека рядом, чтобы успели «одобрить» его.

«Картуз, наполненный теплыми вишнями», ветер, который «дует так, что к нему можно прислониться, как к забору», «человек, томящийся словно у закрытого семафора», — все это можно было написать только, если сам прочувствовал, увидел; если сам «сидел, маялся, вроде как поезда ждем. А пойдет ли он дальше, это пока неизвестно».

Остров писал по-своему. Вот «Ночь большого горя» — о смерти Ленина. Ночь, полная встреч и разговоров с самыми разными людьми. Тут и подгулявший дед, попавший в милицию. Дежурный отказывается составлять протокол: «Вот лет через десять внуки у тебя спросят: дед, а где ты был в ту ночь, когда умер Ленин? И что же ты им скажешь?» В горьковских традициях открывает нам автор жизнь трудовых людей, их раздумья, горе, мысли о будущем. Это — рассказ о друзьях, о недругах, и о тех, кто в советской жизни «подравнивается». Автор говорит о людях «с очень высокой буквы». Его привлекают трудные судьбы. Фронтовой рассказ «Стоит гора высокая» по существу является продолжением повести о людях «поломанной жизни», о тех, кто споткнулся, но, услышав горны войны, встал на ноги. Один из них — действующий в рассказе разведчик Радыгин. Вызванный в штаб части на вопрос командира, готов ли он самоотверженно погибнуть, отвечает: «Самоотверженность, конечно, имеется, но лучше не помирать». Герои Острова не чеканят бездумно «Есть!» и не идут строевым шагом

на подвиг. Подвиг у Острова — та же работа, потому что настоящая работа не бывает легкой. Потому потрясают читателя и «тихие минированные поля, заросшие серебристой вербой», и то, как в доме «из пробойны сочилась густая красная пыль». Нужно быть большим художником, чтобы писать так непредвзято и зорко.

Рассказ «Стоит гора высокая» повествует не только о подвиге, на который идут двое, находя выход из казалось бы безвыходного положения, ибо «все дело в системе нервов». Эти двое остаются живы. Жизнь ставит перед ними проблему веры в людей, самопроверки. Радыгину и капитану Ливанову приказано доставить мешок денег, чтобы фашисты не смогли им воспользоваться и переправить в заграничные банки,— три миллиона рублей, зарытых в землю отступающими нашими частями. Нашей стране тогда пришлось бы расплачиваться за них золотом. Радыгин думает: «Допустим, что деньги мои... Интересно, каким бы я стал человеком. Наверно, сволочью».

Герои возвращаются в свою часть — «снарядные осколки были похожи на ржаные сухари». Когда самолет поднялся, «под крылом вспыхнуло огромное озеро». Трудно удержаться от цитат. Как подлинный прозаик Остров был психологом и как поэт мыслил образами.

Книги Острова — о человеческом достоинстве, о благородстве труда, пусть самого незаметного, благородстве души тех, кто рядом с нами. Остров терпеть не мог пресных произведений и тут уж он был непримирим. И эту непримиримость передавал молодым литераторам, с которыми работал до последнего дня жизни. Мир принадлежал ему, так же как он сам принадлежал миру со всеми его заботами, огорчениями и радостями.

Митя был оклеветан. Но правда восторжествовала. Вера в правду жизни никогда не изменяла ему. Были около него прекрасные люди. Тридцать лет разделяла жизнь с ним Зоя — вторая жена, человек такой, какой очень был нужен Мите с его легко уязвимой душой.

Многие ученики Острова вошли в жизнь и стали видными писателями — Даниил Гранин, Виктор Конецкий. Много можно назвать людей, талант которых приметил Остров. Болел за них. В последние годы жизни он руководил литературным объединением при газете «На страже Родины». Случалось, я направляла к нему авторов, чьи рассказы мы никак не могли напечатать в «Звезде», тем более, если рассказы эти были на военную тему. Литературное объединение Острова было военным. Мы подолгу говорили о таком «наших детях» с ним.

Ходить друг к другу в гости было некогда. Зато в Доме творчества «Комарово», да еще оказавшись за одним столом в столовой, наверстывали, говорили подолгу. Спорили, часто не сходясь в оценке людей, шутили. Ездили выступать вместе.

Все мы знали, что Митя серьезно болен, но пока не было сердечного приступа, а затем и инфаркта — одного за другим — мы не могли представить себе, насколько это серьезно. Остров не становился ни осмотрительней, ни бережней к себе. Только подолгу не мог писать. И тогда «отводил душу» с молодыми. Радовался их успехам. Передавал им то, к чему пришел в мастерстве за всю свою беспокойную жизнь. Даже когда наступил конец, никто из близких, да и он сам, не поняли, что жизнь кончена. Да она и не кончена, несмотря на то, что в литераторской части Комаровского кладбища появилась строгая плита с его именем: написанное кровью сердца не умирает.

Елена Вечтомова

ДМИТРИЙ ОСТРОВ

Высокий, костистый, с лицом, которое очень подходило к его настоящей, не литературной фамилии Остросаблин, с угловатыми чертами, он всегда удивлял меня своим ироничным остроумием. Он мог рассмешить, сам оставаясь в то же время невозмутимым. Мы подружились с той поры, как познакомились в 1958 году. А знакомиться я пришел к нему сам, узнав, что он редактор моей будущей книги.

В доме на канале Грибоедова, 9 я поднялся на последний, надстроенный на старое здание девятый этаж, целиком занятый писательскими семьями. В длинном широком коридоре ощущался запах кухни, на потолке темнели потеки. Это «обшелитературное» жилье его обитатели называли «наш недоскреб».

В квартире Дмитрия Константиновича я просидел долгий вечер, а за ним и еще не один, — на столе лежала рукопись моей книги «Записки о необыкновенном» и не было в ней страницы, по которой бы весьма заметно не прошла рука редактора. Не то чтобы он учил меня писать, нет, он учил литературно думать, но так, чтобы это не выглядело литературщиной, а воплощалось в живой образный язык. Он не подсказывал, а возбуждал умение и желание мыслить в том направлении, которое было более точным. Из многих слов надо было отобрать наиболее верные, и они находились: рассказы становились компактней, выразительней. И так — день за днем.

В 1959 году сборник вышел в свет. Это была первая моя книга после возвращения из ссылки, которой предшествовали тюрьмы и лагерь. В последующих книгах были другие редакторы, но такого, как Остров, больше не случилось.

В справке, подготовленной Управлением КГБ по Ленинградской области, сказано:

«...Постановлением Президиума Ленинградского городского суда от 23 мая 1961 года постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 25 июля 1935 года в отношении Острова (Остросаблина) Д. К. отменено и дело, за отсутствием в его действиях состава преступления, прекращено. По данному делу Остров (Остросаблин) реабилитирован».

Полное оправдание, как бы снятие грехов, которых и не было, он получил за пять лет до своего конца. У него была тяжелая форма сердечной астмы, которая не допускала употребления алкоголя, даже в микродозах. Но Остров, которого в писательской среде чаще всего называли Митя, не всегда был способен себя сдерживать. И тогда наступало ухудшение.

Хорошо помню начало лета 1970 года. Я жил в те июньские недели в Доме творчества писателей «Комарово». В один из дней уехал с утра в Ленинград, а когда возвратился к вечеру, застал что-то вроде паники: у Острова начался тяжелый приступ болезни, никак не удавалось вызвать хоть какую-нибудь медицину, а кто бы ни пытался зайти к нему в комнату, он всех со стоном и руганью выгонял. Но меня он впустил. Верил мне, наверное. Принял из моих рук лекарство, немного успокоился, притих, удалось наконец вызвать помощь. Приехала бригада «Скорой», вошла в номер, я принялся помогать, но когда медики стали меня выпроваживать, Дмитрий Константинович, заходясь в кашле, задыхаясь, мотнул головой:

— Нет... Пусть... тут будет...

В тот раз его откачали и тут же увезли в больницу. Но следующее лето оказалось роковым: 9 июля 1971 года он умер.

Захар Дичаров



**Адриан
Иванович
ПИОТРОВСКИЙ**

1898 — 1937

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Пиотровский Адриан Иванович, 1898 года рождения, уроженец г. Вильно, русский, гражданин СССР, кандидат в члены ВКП(б) с 1921 по 1922 годы, выбыл механически, художественный руководитель киностудии «Ленфильм», проживал: Ленинград, Кировский пр., д. 14, кв. 16

жена — Марголина Алиса Акимовна, 28 лет (в 1957 году). Акимова (бывшая Марголина) Алиса Акимовна проживала: Москва, 2-я Аэропортовская, д. 7/15, кв. 6.

Арестован 20 июля 1937 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 58-6 (шпионаж), 58-7 (подрыв гос. промышленности, транспорта... в контрреволюционных целях) УК РСФСР.

Постановлением Комиссии НКВД и Прокурора СССР от 15 ноября 1937 года определена высшая мера наказания.

Расстрелян 21 ноября 1937 года.

Определением Военной Коллегии Верховного суда СССР от 25 июля 1957 года постановление Комиссии НКВД и Прокурора СССР от 15 ноября 1937 года в отношении Пиотровского А. И. отменено, и дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Пиотровский А. И. по данному делу реабилитирован.

Из дела следует, что Пиотровский А. И. окончил историко-филологический факультет ЛГУ.

В 1918 году — научный сотрудник Академии истории материальной культуры.

1919—1920 годы — начальник клубного отдела Политуправления Петроградского военного округа.

В 1920—1923 годах — зав. отделом художественной агитации и пропаганды Ленполитпросвета.

В 1923 году — зам. заведующего Ленинградского театрального управления.

1924—1927 годы — председатель художественного совета и зав. литературной частью Большого драматического театра.

1925—1929 годы — председатель худсовета и зав. литературной частью ЛенТРАМа.

С 1927 года — худрук кинофабрики «Ленфильм».

Из книги «Писатели Ленинграда»

Пиотровский Адриан Иванович (20.11.1898, Вильно, ныне Вильнюс — 1937) — театровед, киновед, драматург, профессор (1928), засл. деятель искусств РСФСР (1935). Окончил классическое отделение филологического факультета Петроградского университета (1923). В начале революции был зав. ТЭО Петроградского губполитпросвета, затем — зав. литчастью Большого драматического театра (1923—1925), Ленинградского ТРАМа (1925—1932), Малого оперного театра (1933—1936); с 1928 по 1937 — художественный руководитель Ленинградской фабрики «Совкино» («Ленфильм»). Автор пьес «Гибель пяти», «Правь, Британия!» (Ленинградский ТРАМ, 1931); «Зеленый цех» (в соавт. с М. А. Соколовским и Ф. Шишикиным, Ленинградский ТРАМ, 1932) и др. По его сценариям сняты фильмы «Чертово колесо» (1926), «Турбина № 3» (в соавт. с Н. Эрдманом, 1927). Опубликовал статьи и исследования по истории и современному театру, кино и литературе: «Празднества РСФСР (в кн. «Зеленая птичка», 1992); «Хроника ленинградских празднеств, 1919—1922» (в кн. «Массовые празднества», 1926); «Путь Ленинградского

ТРАМа» (в кн. «Диалектический материализм — основа работы ТРАМа», 1928); «Петроградские театры и празднества в эпоху военного коммунизма» (в соавт. с А. Гвоздевым, в кн. «История советского театра», 1933, т. 1); «На путях экспрессионизма» (в соавт. с А. Гвоздевым, в кн. «Большой драматический театр», 1935) и др. Специалист по античной литературе. Перевел Аристофана, Еврипида, Феогида, Эсхила, Катулла (в кн. «Комедии», 1934, т. 1—2, «Древнегреческая драма», 1937 и др.)

Саламинский бой: Ист. драма для подростков в 3-х д. Пг., 1919.— В соавт. с С. Радловым; Меч мира: Праздничное зрелище. Пг., 1921; Красноармейский театр: Инструкция к театральной работе в Красной Армии. Пг., 1921; Падение Елены Лэй: Драма. Пг., 1923; Парижская коммуна: Инсценировка. Л., 1924; Смерть командарма: Драма в 3-х д. Л., 1925; Дуняха-тонкопряха: Рабочая оперетта в 3-х д. М., 1926.— В соавт. с Д. Толмачевым; Театр юных зрителей, 1922—1927. Л., 1927; Кинофикация искусств. Л., 1929; Зови фабком. Л.— М., 1929.— В соавт. с И. Коровкиным; Художественные течения в советском кино. Л.— М., 1930; История европейского театра. Л., 1931.— В соавт. с А. Гвоздевым; Малый оперный театр. Л., 1936; Театр. Кино. Жизнь. Л., 1961 (см. там же — воспоминания о А. Пиотровском).

ТРИ ЭТЮДА О НЕИСТОВОМ АДРИАНЕ

Этюд первый

Бывает так: стоишь над пропастью и на дне ее, где-то далеко внизу, видишь человеческие фигурки. Кажутся они совсем маленькими, крохотными, разглядеть лица невозможно, и все-таки знаешь: они тебе знакомы, известны: когда-то, давным-давно ты их видел вблизи, говорил, общался с ними, и поэтому даже теперь, когда они отделены таким расстоянием, ты все равно ощущаешь их присутствие, как если бы они были рядом.

Так и с человеческой памятью. Иных, кого знал, давно уже нет на свете. Но в памяти твоей они живут. И только так — в воспоминаниях, в воскрешении того, что было, — можно продлить их, пусть не материальную, но как бы заново осуществленную жизнь.

В Доме культуры имени Ильича, что в Московском районе, по понедельникам собирались члены общества «Мемориал». Старые, морщинистые, седые — те, кто прошел через тюрьмы, лагеря, ссылку, выстрадал, выдюжил все это и дожил до того

часа, когда преступления названы преступлениями, когда обозначены имена палачей, когда найдены тайные могилы безвинно погибших. И тут же совсем не старые, средних лет, молодые — дети и внуки тех, кто уже никогда не вернется.

Там звучали речи — скорбные, негодующие, а иногда и призывные, но все они — как опавшие листья с немногих деревьев, оставшихся на месте бывшего густого леса после злобной и жестокой рубки.

Иногда и я там бывал. На одном из таких собраний ко мне подсел человек, чье лицо было живым, но казалось застывшим — такие глубокие морщины прорезали в нем годы. В темных орбитах светились глаза, как два подернутых пеленой огонька. И в них — вечный, неизбывный упрек: но кому, чему?..

Он спросил:

— Раз вы писатель, значит слышали о Пиотровском?

— Адриане?.. Адриане Ивановиче?..

— Вот-вот, о нем.

— Да. И не только слышал, но знаком был.

— О-о, так значит?.. Мы с ним вместе сидели в следственной тюрьме. Здесь. В Ленинграде. Моя фамилия Подократ, Алексей Георгиевич. Хотите расскажу о нем?

У нас тогда не получилось долгой беседы, но то, что он поведал, было необычно, и страшно своей сутью.

«— Я находился в «Шпалерке» в одной камере с Адрианом Ивановичем. Нас было 280 человек. Человек огромной эрудиции, Пиотровский был нашей главной культурной силой, читал лекции по искусству и литературе, руководил одним из кружков, их в камере было чуть не полтора десятка: шахматный, математический и другие; его кружок — самый многочисленный... Следствие у него шло долго и мучительно. Его избивали так, что приносили в камеру на руках и мы его укладывали и поили, и кормили; он ничего не подписывал. Но не все выдерживали этот страшный режим следствия. Помню, однажды один из арестантов, когда его привели с допроса, встал на колени перед всеми, сложил руки на груди, склонил голову:

— Братцы, простите, я подписал...

Спустя короткое время ему приносят полную корзину всякого съестного добра. Он разложил все на столе — берите. Никто не притрагивается. Он берет Адриана Ивановича под руку, тащит к столу, тот отвернулся, отнял руку, вижу — на глазах слезы. В камере был финн, арестованный как иностранный разведчик, перешедший границу. Он хотел взять, но тут же его свалил ударом другой арестант, бывший боцман, человек большой силы.

Потом все это смели в кучу, в корзину и поставили перед тем, кому принесли...

А с Пиотровским стало так. Не могу сказать, был ли он на грани безумия, но как видно попытки были невыносимы. Мы обратили внимание на то, что он старается расшатать и вытащить из деревянного щита — на таких мы спали — гвоздь. Потом прикрепил его хлебным мякишем к стене, острием наружу и, разбежавшись, пытался удариться о гвоздь так, чтобы проткнуть глаз. Ему это не удавалось, а мы были настороже, хватали за руки, уговаривали, но затем, улучив момент, он опять пытался...

Я вышел на улицу, было совсем темно, обыкновенный зимний вечер в Ленинграде. Подошел троллейбус. Ехать до дома было не близко, машину встряхивало на неровной, плохо очищенной дороге. Пьяненький парень приставал к соседке. Но ничто постороннее не слышалось, не виделось, а вспоминалось то, что жило да было за океаном дней, за десятками лет, в пору, когда мне было шестнадцать и я поступил на кинофабрику «Совкино». За полгода до этого я приехал из тихого провинциального городка, где окончил семилетку и годовичные курсы киномехаников-электриков. На кинофабрику приняли в электроцех на должность осветителя. На съемках, где-то на натуре или в павильоне, я работал с осветительными приборами — малыми и большими прожекторами, по команде оператора поворачивал туда-сюда, следил, чтобы пламя вольтовой дуги было ровным и сильным, таскал на себе круги тяжелого кабеля, подсоединял к сети, включал ток, когда слышалась команда: «Полный свет!»

1928-й год... На «Совкино» режиссеры Козинцев и Трауберг снимают фильм «Новый Вавилон» — о Парижской коммуне. В главном павильоне кинофабрики (а это зал известного до революции театра и шикарного кафе-шантана «Аквариум») сооружены декорации огромного парижского универмага — места действия многих центральных кадров. Было начало осени. В съемочном павильоне не шумно. Где-то в углу отработывали кадры с крупными планами. Стучали плотники, переставляя декорации. Мы, осветители, занимались своим делом, что-то ремонтировали, налаживали. Как вдруг раздался резкий трезвон: пожарная тревога. Мгновенно погас свет. Остановилась съемка. Каждый из электриков знал свой пост, свое место. Я схватил огнетушитель и бросился туда, где находился очаг возгорания... Впрочем, спустя две-три минуты дали отбой. Никакого возгорания не было. Тревога оказалась учебной, мы поднялись по широкой лестнице на внутренний парапет, оставшийся еще от былых времен. Там стоял приехавший из Москвы нарком просвещения

Анатолий Васильевич Луначарский. Рабочие окружили его. Рядом стоял директор — Натан Гринфельд, а около — Адриан Пиотровский.

Уже в наше время доктор искусствоведения Семен Фрейлих писал в одной из своих статей: «Руководить искусством, заметил В. В. Воровский, могут люди, способные поддаться его обаянию. Такими были Анатолий Васильевич Луначарский — в масштабах страны, а в масштабах студии «Ленфильм» в пору ее расцвета — высокообразованнейший Адриан Иванович Пиотровский».

Луначарский, в черной тройке, слегка шуря глаза за стекляшками пенсне, говорил о том, что в таком деле, как киносъемки, много дерева, краски, вообще такого, что может стать пищей для огня. Внезапно повернулся в мою сторону и, может быть потому что я был самый молодой в группе, спросил, слегка улыбаясь:

— А вы, молодой товарищ, и в самом деле не знали, что предстоит быть тревоге?..

На секунду я смутился: в том-то и дело, что мы знали об этом и заранее готовились, нарком, как видно, были знакомы подобные «парады». Но как было выдать своих?..

— Н-нет, конечно не знали, товарищ... нарком. Думали, что горит.

Может быть, голос мой звучал не очень уверенно, но тут на выручку пришел Пиотровский. Он подтвердил, что тревога, хотя и учебная, но ни одна душа, кроме директора, о ней не знала.

Прошло еще месяца два. Пиотровского я видел и слышал, когда он приходил на съемки, интересуясь их ходом. И всегда, как только обозначался перерыв, вокруг него грудился народ — актеры, члены съемочной группы — и шел быстрый, иногда нервный спор: то ли, что надо, получается или нет.

Поближе я познакомился с Пиотровским позже. Я любил искусство, в детстве учился рисовать, обучался в вечерней музыкальной школе, с увлечением бегал в кино — тогда еще немое, участвовал в школьном драмкружке. Казалось бы, попав туда, где делаются фильмы, должен был возмечтать о карьере артиста кино — это было так заманчиво для многих. Но этого не произошло. На моих глазах актеры страдали, переживали муки любви, изображали сильные страсти, убивали, это было любопытно, но не притягивало. Зато захотелось самому создать сценарий, свой сценарий, по которому бы сняли картину. И я написал его. Назывался он довольно напыщенно: «Страницы, залитые кровью» и повествовал о несчастной любви некоего юноши, который покончил с собой и этим наказал не ответившую на его чувства девицу.

Написал и отнес в сценарный отдел. Там не удивились — кто только не предлагал своих сценариев! — и приняли для прочтения. Прошел месяц. Меня пригласили к Пиотровскому. Беседа была не очень долгой. Он задал несколько вопросов: кто я, что я, где и когда учился, потом вспомнил:

— А-а, да, ведь вы же в осветительном цехе, кажется?

Я смотрел на него, такое улыбочливое, славное лицо. Слушал. Он, когда увлекался, чуть вздергивал голову, покрытую слегка вьющимися каштановыми волосами, утарапливал речь.

— Да, да, что-то такое у вас есть, есть, вам надо писать, но прежде — почитать, поучиться... Вы зайдите в нашу библиотеку, я скажу, чтобы для вас подобрали. А рукопись возьмите. Я там сделал кое-где пометки... Вы попробуйте — рассказы, да, да, такие, знаете, короткие. А сценарий — это сложно! Это очень сложно!

Бездна лет прошла от тех дней. Казалось, что я уже никогда не буду пытаться сочинять сценарии. Но вышло по-другому. Студия имени Довженко обратилась как-то с предложением написать сценарий по моей же повести «Остров Волчий». Написал. В 1970 году фильм с таким же названием вышел на экраны. Не раз вспоминал я тогда Адриана Ивановича. И вот теперь, когда рассказал о нем его сокамерник Подократ, опять вспомнил.

Из нынешнего далека видится человек, всем своим существом живущий в искусстве и для искусства. Об этом говорит все его литературное наследие. Он писал пьесы, которые с успехом шли на сцене многих театров, выступал как знаток античности и как теоретик современного искусства. Длиннен перечень его трудов.

Как же и что же произошло с Адрианом Ивановичем Пиотровским в те дни, которые оказались самыми тяжелыми и горькими в его судьбе, чтобы не сказать больше, самыми ужасными в его, такой недолгой жизни?..

Возвратимся к истокам.

Он родился 7 ноября 1898 года в Вильно (ныне Вильнюс). В следственном деле сказано: «Русский, гражданин СССР, кандидат в члены ВКП(б) с 1921 по 1922 годы, выбыл механически». В 1923 году окончил классическое отделение филологического факультета Петроградского университета, но еще до этого состоял сотрудником Академии истории материальной культуры. Учебу в университете совмещал с работой. В 1919—1920 годах был начальником клубного отдела Политуправления Петроградского военного округа. Веселый, широкой и щедрой души чело-

век, он знания, полученные на факультете еще студентом, охотно отдавал людям. Посещение лекций не мешало ему заведовать отделом художественной агитации и пропаганды Ленполитпросвета с 1920 по 1923 год. В этом же году он закончил университет и одновременно был назначен заместителем заведующего Ленинградского театрального управления. В следующем году его избрали председателем художественного совета Большого драматического театра и поручили также заведовать литературной частью. Не расставаясь с этими обязанностями, он одновременно возглавил художественный совет Ленинградского театра рабочей молодежи — слава ЛенТРАМа тогда гремела широко по стране. С 1927 года стал художественным руководителем кинофабрики «Совкино». И на все у него хватало времени. С 1933 по 1936 год Адриан Иванович ведал еще и литчастью Малого оперного театра. Могло показаться, что он вездесущ.

Но год 1937-й не обошел его стороной. «Постановлением Комиссии НКВД определена высшая мера наказания».

Нам неизвестно, удалось ли следствию пытками вырвать у Адриана Пиотровского признание в том, что было по отношению к нему — искусствоведа, драматургу чем-то вроде бреда параноика. Здесь не было даже подобия суда. Комиссия НКВД полистала «Дело», постановила — казнить, послала на подпись Вышинскому и человека не стало.

Но пытки, как видно, были ужасными и нестерпимыми.

Знал ли он, что его ожидает?.. Вряд ли. Но представить себе мог и пытался сам положить конец мукам. У него есть пьеса «Смерть командарма», показанная в театре в 1925 году, а в ней слова: «Помирают на земле не два раза...» Не одно десятилетие прошло с того жаркого летнего дня, когда за Адрианом Пиотровским пришли и увезли в тюрьму Большого дома. Более полувека смертный конец одного из сотен тысяч жертв произвола был засекречен.

Теперь мы знаем о нем правду.

Захар Дичаров

Этюд второй

Адриан Иванович Пиотровский был сыном известного исследователя античного мира академика Ф. Ф. Зелинского и преподавательницы латыни в Петербургском университете В. В. Петуховой. Он родился в 1898 году. Детство и отрочество провел в Нижнем Новгороде (Горьком) в семье И. О. Пиотровского, жена которого была сестрой его матери. О том, что он неродной сын Пиотровских, Адриан узнал от соседских мальчишек, когда

ему было 10 лет. Неожиданное открытие не могло не потрясти впечатлительного, начавшего уже писать стихи мальчика. Он остался добрым и общительным, всегда готовым к загородным прогулкам и бесчисленным, принятым в те времена, розыгрышам, но внутренне затаился. В душе его появилась «темная комната», куда он не позволял заглядывать никому...

Родители позаботились, чтобы Адриан получил хорошее образование. После окончания Петершуле поступил на классическое отделение филологического факультета Петербургского университета. Ему прочили будущность крупного ученого. Не исключено, что Ф. Ф. Зелинский видел в нем продолжателя своего дела.

Печататься Адриан стал рано, еще будучи студентом. В 1918 году вышла его историческая пьеса (сборник «Игра») и перевод Еврепида «Пирифой», а в 1920 году — «Всадники» и «Ось» Аристофана.

Снова и снова вглядываюсь в фотографии Адриана Ивановича. Что-то детски беззащитное сквозит в нежных очертаниях губ и подбородка красивого мужчины, легкие волосы которого уже начали редеть. Знавшие его рассказывают, что был Пиотровский всегда неизменно вежлив и всем говорил «Вы», не пил, не курил, умел слушать собеседника. Правда, иногда его взгляд становился отсутствующим, но нить беседы он не терял, словно обладал чудесным даром быть рядом с вами и, одновременно, в милой его сердцу Элладе.

«Связным времен» называли Пиотровского переводчики. А. Тарковский писал: «Адриан Пиотровский был для нас тем же, чем для молодежи начала прошлого века Жуковский... После Пиотровского переводить Кагулла невозможно, не подражая его манере... Феогид для нас — это Феогид Пиотровского. Русская античная литература Греции и Рима — его творчество, его подвиг».

Адриан Иванович читал лекции во ВГКИ (Высшие государственные курсы искусствознания). Он мог одинаково легко и свободно говорить о древнегреческой и римской литературе и о развитии киноискусства, о театре средневековой Европы и об особенностях советской оперетты. В нем сочетался высокий профессионализм ученого и театральное видение мира, трепетная лиричность поэта и трибунная страстность революционера.

Революцию Пиотровский принял сразу и безоговорочно. И включился в работу художественного отдела Губполитпросвета, хотя почти всю жизнь оставался беспартийным. Увлекающийся и ищущий, он пытался создать новое, подлинно народное

искусство, искусство для народа. Его сын (Александр Адрианович Пиотровский) помнит, что дома долгие годы хранились в рукописях отцовские сценарии народных празднеств, приуроченных к различным революционным дням. К разыгрываемым по ним на площадях массовым зрелищам, «битвам Труда и Капитала», привлекались нередко тысячи красноармейцев и молодых рабочих. Вероятно, в свете факелов и блеске разноцветных огней праздничных салютов эти грандиозные игрища под открытым небом производили незабываемое впечатление.

Каким бы стал творческий путь Адриана Ивановича, родился он лет на 30—40 раньше или в другой стране? В Петрограде в 20-е годы он работает в Губполитпросвете. Становится «душой и организатором» Театра рабочей молодежи (ТРАМа), который искал свои пути в нетрадиционных формах театрального искусства. В основе трамовских спектаклей было не сквозное драматическое действие или психологическая фабула и не актерский образ, а красочное зрелище, пропагандировавшее мировоззрение и идеи пролетариата. Пиотровский пишет для ТРАМа публицистическую пьесу «Правь, Британия» и совместно с М. Соколовским и Ф. Шигиным «Зеленый цех».

Чем только не занимался этот талантливый человек! Он пишет экспрессионистские пьесы («Падение Елены Лей», «Смерть командарма») и киносценарии («Чертово колесо», «Трибуна 3» совместно с Николаем Эрдманом), либретто к советской оперетте («Дуня-тонкопыха» совместно с Толмачевым) и балетный спектакль («Светлый ручей» совместно с Ф. Лопуховым, музыка Д. Шостаковича). Его «История европейского театра» в соавторстве с А. Гвоздевым читается как увлекательный роман.

Последние годы Пиотровский все больше времени уделяет кино — самому массовому и не отягощенному традициями искусству. Кинематограф привлекал его и возможностью смещения планов, а также более свободным обращением со временем. Продолжает Адриан Иванович и переводы с греческого и латыни.

Сын Пиотровского вспоминает, что отец всегда был очень занят. Ему даже в выходной день пообедать спокойно не удавалось. Только сядет бывало за стол — звонок у дверей, является посыльный из газеты за обещанной рецензией на вчерашний спектакль. Или еще кто-нибудь и обязательно по срочному делу...

На вопрос, когда он умудряется делать переводы с греческого и латыни, Пиотровский отвечал: «Всегда». Как ни странно, так оно и было. В промежутках между обсуждениями сценариев и просмотрами картин, среди бесед с режиссерами, сценариста-

ми и прочим студийным людом, он умудрялся диктовать свои переводы и рецензии секретарю, Люсе Ивановне.

Поиски новых форм в искусстве обходились Пиотровскому дорого. Его обвиняли в наивности и прямолинейности, в протаскивании положительных качеств классового врага... И. Вускович вспоминает, что только благодаря Адриану Ивановичу в «Чапаеве» удалось отстоять ряд эпизодов, где «белые» были храбры и неглупы.

Между тем политическая обстановка в стране обострялась. Участились аресты. Пиотровский понимал, что уцелеть у него шансов мало. Отец его, Ф. Ф. Зелинский, уехал в 1921 году в Польшу, сам он в 1928 году ездил в Германию, а в те времена все, кто имел родственников за «железным занавесом», подпадали под подозрение.

Некоторые из знакомых Адриана Ивановича были уже, как тогда говорили, «взяты». Томимый дурными предчувствиями, одиноко бродил он по улицам Ленинграда, ездил в пригороды...

Дни свободы все укорачивались и укорачивались...

Лиана Ильина

Этюд третий

Лето тысяча девятьсот тридцать седьмого года. На Ленфильмовской даче, устроившись на террасе, я что-то пишу. Вижу: со стороны станции идет не спеша Адриан Иванович Пиотровский. Он в своем темно-сером «вечном» костюме, без шляпы. Хорошо знакомая коренастая фигура — сколько раз видел, как, о чем-то задумавшись, он шел на «Ленфильм» из своего дома на углу Скороходова.

Здороваемся, я приглашаю его выпить чаю, но он отказывается.

— Пойдем лучше, погуляем,— так печально говорит, не смотря мне в глаза. Он чем-то расстроен, ждет, пока я накину рубашку, и мы идем к морю. По дороге я рассказываю ему о делах, жду, что он, как обычно, будет мне советовать или рассказывать о новом фильме, который только что просмотрел и раскритиковал. Вечер теплый, он садится на песок, кладет свою большую голову на оголенный корень сосны, молчит. Я хорошо запомнил эту голову, лежащую на змеевидном, твердом как камень корне. Я любил его какой-то сыновней любовью, мне нравилось его доброе интеллигентное лицо, прищур близоруких глаз, высокий лоб. Мятая рубашка и такой же галстук, а иногда и сразу два, по рассеянности повязанные один на другой, стоптанные каблуки ботинок — все это запомнилось на долгие годы.

Мы сидим рядом на песке, и мне кажется, что голове его больно лежать на голом корне, но он этого не чувствует.

— Я пришел проститься с вами,— тихо произносит он своим чуть шепелявым голосом.

— Вы уезжаете в отпуск, Адриан? Почему так вдруг, в самый разгар киноэкспедиций?

— Нет, не в отпуск,— и подумав добавляет,— меня арестуют, я знаю это.

— Почему вы так решили? — пытаюсь я успокоить его добрым голосом и сразу вспоминаю тревожные ночи, хлопанье парадных дверей, при котором все замолкают и ждут, в какую квартиру постучат.

— Я чувствую,— продолжает он,— многих рядом со мной арестовали, скоро и моя очередь. Вы же, наверное, знаете — мой отец живет за границей. Вы же понимаете, что это значит.

Я продолжаю успокаивать его, но тревога закрадывается и в мою душу.

— Вы знаете... какое-то предчувствие.

Он молчит, глядя на небо, а я всматриваюсь в его лицо и вижу, что глаза его увлажнились. Я мучительно подыскиваю слова, которые могут его успокоить, но не нахожу их и мы оба молчим.

— Давайте попрощаемся на всякий случай,— говорит он, продолжая смотреть в небо.

Как его успокоить, что сказать ему, но так, чтобы это не выглядело дежурным участием? А так хочется его утешить. Сколько доброго и важного сделал этот человек для всех нас, сколько ума и таланта он вложил в наши фильмы, как беззаветно любил кинематограф!

И опять стремительно проносятся в моем мозгу картины исчезновения людей, друзей. И опять слышу я шаги кованых сапог по ступенькам, черные машины у парадной. Неужели и этого человека увезут на рассвете и мы осиротеем. Кто может поручиться, что и нас не увезут, и меня...

Но за что Адриана Пиотровского? Он же один из первых смело отдал себя Революции. Валентина Ходасевич в своей книге «Портреты словами» рассказывает о постановке грандиозных представлений на площадях Петрограда, посвященных победе Революции. Сценаристом этих народных праздничных спектаклей был и Адриан Иванович Пиотровский, молодой театровед. Отсюда он и пришел к другому искусству миллионов — к кинематографу. Вспомнилось мне, как он настойчиво уговаривал меня и Зархи взяться за постановку «Депутата Балтики».

— Нам надо показать, что и интеллигенция тоже немало сделала для победы Революции,— убеждал он нас,— у нас есть Чапаев, крестьянский полководец, есть рабочий Максим. Наша обязанность создать такой же художественный образ интеллигента-ученого, «борца и мыслителя» — Тимирязева! Вспомнилось мне, как он искренне радовался успеху фильма, вдохновителем которого был, как заплакал, не стесняясь, в просмотровом зале, когда слушал речь Полежаева, этот гордый призыв к борьбе за торжество Октября!

В чем же его вина перед народом, перед обществом? Только в том, что он сын эмигранта? Но разве он виноват в этом? Нет! — пытался я успокоить себя,— Адриана не тронут. Но ведь это «за что?» во многих случаях спрашивали десятки моих друзей, коллег, знакомых. Спрашивали и не могли найти ответа!

...Адриан Иванович встал, мы обнялись и он ушел. И я не стал его провожать, не мог.

Я остался на берегу, смотрел вслед удаляющейся фигуре Адриана Ивановича и не верил тогда, что это наша последняя встреча. Но это была последняя.

Я слышал, что он умер в тюремной камере в Крестах, куда его поместили вместе с бандитами и уголовниками. Дошли до нас слухи, что его там... проиграли в карты, издевались над ним, избивали. Не знаю...

При входе на «Ленфильм» стараниями друзей и товарищей, увы, уже немногочисленных, установлена мемориальная доска. В верхнем углу бронзовый «осколок» — лицо Пиотровского. А на мраморе доски лаконичная надпись: «Адриан Иванович Пиотровский. Был художественным руководителем Студии с 1928 по 1937».

Иосиф Хейфиц



Николай Николаевич ПУНИН

1888 — 1953

Архивно-следственное дело

Пунин Николай Николаевич, 1888 года рождения, уроженец г. Гельсингфорса (Финляндия), русский, гражданин СССР, профессор Всероссийской Академии художеств (в 1935 году), проживал: Ленинград, наб. р. Фонтанки, д. 34, кв. 44

жена — Голубева Марфа Андреевна, 1909 года рождения, проживала: Ленинград, В. О., 4-я линия, д. 17 (Академия художеств), кв. 20

дочь — Пунина Ирина Николаевна, 1921 года рождения. В 1958 году проживала: Ленинград, ул. Красной Конницы, д. 4, кв. 3.

Арестован 22 октября 1935 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 58-10 (антисоветская агитация и пропаганда), 58-11 (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления) УК РСФСР.

Вместе с ним по делу проходили:

1. Гумилев Лев Николаевич, 1912 года рождения, студент ЛГУ.

2. Махаев Валерий Николаевич, 1913 года рождения, уроженец Ковенской губ., студент ЛГУ, проживал: Ленинград, Мытнинская наб., д. 5/2, ком. 175.

3. Борин Аркадий Петрович, 1907 года рождения, уроженец г. Череповца, студент ЛГУ, проживал: Ленинград, В. О., 17-я линия, д. 64, кв. 19.

4. Поляков Игорь Владимирович — 1913 года рождения, уроженец г. Киева, студент ЛГУ, проживал: Ленинград, Филологический пер., д. 3, кв. 36.

3 ноября 1935 года Пунин Н. Н. из-под стражи был освобожден.

Постановлением Управления НКВД ЛО от 4 ноября 1935 года дело следствием было прекращено.

Вторично был арестован 26 августа 1949 года Управлением МГБ по Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 17—58-8 (подстрекательство к террористическому акту), 58-10 ч. I (антисоветская агитация и пропаганда), 58-11 (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления) УК РСФСР.

Постановлением Особого Совещания при МГБ СССР от 22 февраля 1950 года определено содержание в ИТЛ сроком на 10 лет.

Постановлением Президиума Ленинградского городского суда от 26 апреля 1957 года постановление Особого Совещания при МГБ СССР от 22 февраля 1950 года в отношении Пунина Н. Н. отменено и дело производством прекращено за недоказанностью его вины.

Умер Пунин Н. Н. 21 августа 1953 года в ИТЛ в пос. Абезь, Кожвинского района Коми АССР.

Из материалов дела следует, что Пунин Н. Н. в дореволюционные годы являлся научным сотрудником Русского музея в Петербурге.

После революции был заместителем Наркома просвещения, Комиссаром Русского музея, трижды избирался депутатом Петросовета.

В 1921 году привлекался к уголовной ответственности за контрреволюционные преступления.

5 февраля 1921 года Постановлением ВЧК дело в отношении Пунина было прекращено, за недоказанностью преступления.

В 1928 году ездил в Японию в качестве генерального комиссара выставки изобразительного искусства.

До февраля 1942 года находился в Ленинграде и работал в Академии художеств профессором кафедры истории искусств.

19 февраля 1942 года вместе с научными работниками Академии художеств был эвакуирован в г. Самарканд, где также работал профессором кафедры истории искусств, а в 1943 году был назначен на должность заведующего указанной кафедры.

В марте 1945 года Академия художеств переехала в г. Загорск Московской области, а в июле 1945 года — в Ленинград,

где Пунин Н. Н. продолжал заведовать кафедрой истории искусств до 1946 года.

В октябре 1946 года был уволен из Академии художеств, а в феврале 1949 года отстранен от работы в ЛГУ.

В деле есть адрес внучки Н. Н. Пунина — Каминской Анны Генриховны, которая в 1988 году проживала по адресу: Ленинград, ул. Ленина, д. 34, кв. 23.

НЕМЯТЕЖНЫЙ МЯТЕЖНИК

Трудно сказать в связи с чем вспомнят имя Пунина люди 1990-х годов конца XX века. За рубежом оно известно как имя одного из наиболее ярких художественных критиков и теоретиков русского авангарда и как инициатора организации единственного в мире Музея художественной культуры, созданного в Петрограде в 1918 году. Музея, который возглавляли К. Малевич, Н. Пунин и М. Матюшин. Музея, в котором состоялась первая выставка В. Хлебникова, где были собраны работы П. Филонова, П. Мансурова, К. Петрова-Водкина, В. Ермолаевой.

В Ленинграде на юбилейных заседаниях * памяти Пунина в связи с его 80-летием и 100-летием Николая Николаевича вспоминали как великолепного лектора и вдохновенного педагога художники и искусствоведы, слушавшие его лекции в 1920—40-х годах.

В 1989 году, когда отмечали 100-летие со дня рождения Анны Ахматовой, Н. Пунина вспоминали как человека, с которым были связаны десятилетия ее жизни. Они соединили свои судьбы в 1922 году. Тогда было написано стихотворение:

Небывалая осень построила купол высокий,
Был приказ облакам этот купол собой не темнить.
И дивилися люди: проходят сентябрьские сроки,
А куда провалились студеные, влажные дни?..
Изумрудною стала вода замутненных каналов,
И крапива запахла, как розы, но только сильней,
Было душно от зорь, нестерпимых, бесовских и алых,
Их запомнили все мы до конца наших дней.
Было солнце таким, как вошедший в столицу мятежник,
И весенняя осень так жадно ласкалась к нему,
Что казалось — сейчас забелеет прозрачный подснежник...
Вот когда подошел ты, спокойный, к крыльцу моему.

Сентябрь 1922.

* Панорама искусств, №12, 1989.

В одном из сборников А. Ахматовой над этими стихами рукой Анны Андреевны поставлено посвящение «Н. П.».

Знакомы они были давно: по Царскому Селу, по кругу редакции «Аполлона». В письме начала 1920-х годов Николай Николаевич писал: «Мы могли познакомиться еще в детских колясочках». Действительно, семья доктора Пунина переехала в Павловск в 1890 году, когда Коле не было года, а Анна Андреевна значительно позже писала: «Годовалым ребенком я была перевезена на север — сначала в Павловск, затем — в Царское Село» *. Они учились в царскосельских гимназиях, которые были овеяны присутствием Иннокентия Анненского.

Им приходилось пробиваться и утверждать себя в среде царскоселов. Пунин начал печататься еще до первой мировой войны. Начав как молодой автор, он вскоре занял прочное место в редакции «Аполлона» и по мнению некоторых исследователей оказал значительное влияние на эволюцию позиции «Аполлона» по отношению к «Миру искусства» и на развитие взглядов на современное изобразительное искусство. Сейчас имя Пунина невозможно обойти, изучая историю русского искусства начала века. Его статьи вошли в зарубежные сборники и антологии, выходившие в Европе и Америке.

Вспоминают Пунина его бывшие соузники, солагерники — в письмах, разговорах, воспоминаниях, уже появившихся в печати, прозвучавших по радио.

В последний раз Николай Николаевич был арестован в августе 1949 года в своей квартире на Фонтанке. Так случилось, что дома в это время была только Анна Андреевна, которая смогла с ним проститься, проводить его. Память об этом дне Анна Андреевна навсегда оставила в стихотворении «Колыбельная».

Я над этой колыбелью
Наклонилась черной елью.
Бай, бай, бай, бай!
Ай, ай, ай, ай...
Я не вижу сокола
Ни в дали ни около.
Бай, бай, бай, бай!
Ай, ай, ай, ай.

26 августа 1949 года (днем)
Фонтанный дом.

Точная дата и необычная даже для Ахматовой пометка «днем» фиксирует время ареста Николая Николаевича.

* Анна Ахматова. Коротко о себе.

Год тюрем. Срок десять лет. Особый лагерь около Полярного круга в поселке Абезь. Письмо один раз в полгода. Он прожил там всего три года, скончался 21 августа 1953-го.

Никто не сообщил нам о его смерти, просто посылки вернулись обратно. Первая узнала о случившемся Анна Андреевна из письма писателя Сергея Сорокина к его жене. Затем родились стихи:

Н. П.

И сердце то уже не отзовется
На голос мой, ликуя и скорбя,
Все кончено, и голос мой несется
В пустую ночь, где больше нет тебя.

Лагерь в Абези был местом заключения многих очень разных замечательных людей: академика Коростовцева, профессора Московского университета В. Василенко, профессора Л. Карсавина, поэта Самуила Галкина, поэта С. Спасского, священников, полководцев, литовской интеллигенции, врачей, ученых, студентов...

Многие из них вспоминали Пунина со светлой благодарностью. Вот несколько слов из письма к Ахматовой врача, вернувшегося после реабилитации: «Пунин частенько заходил ко мне в кабинет не как больной и не как к врачу, а просто так, выпить чаю, поболтать, посмотреть. В моем представлении это быстрый, подвижный, живой человек с мигающими глазами за толстыми стеклами очков, остроумный и неунывающий. Любящий пошутить, а также весело воспринять шутку, если она даже заденет его. Я и сейчас помню наши споры относительно кубизма, его рассказы о Японии...»

Многие вспоминают его с благоговением, многим в тюрьме и в лагере он приносил утешение и радость. И бывший министр Эстонской ССР, и скромный бухгалтер из Ленинграда, и полуграмотный украинский крестьянин, приславший нам письмо о последнем дне жизни Николая Николаевича, и семья Льва Платоновича Карсавина, оставшаяся жить в Литве после реабилитации, говорили об этом. В Литве я встречалась со многими, вернувшимися из Абези в пятидесятые годы. Самыми проникновенными были рассказы доктора Владаса Шимкунаса, подарившего мне фотографии кладбища в Абези, где теперь обнаружена могила и самого Николая Николаевича.

16 ноября 1888 года у доктора медицины Николая Михайловича Пунина родился первенец, его окрестили Николаем. Полк, при котором служил доктор Пунин, в ту осень стоял около Гельсингфорса, что и было вписано в паспорт, а впоследствии

принесло Николаю Николаевичу много неприятностей «зачем родился за границей», не иначе — шпион. (Финляндия в конце XIX века входила в состав Российской империи, но в советское время это никого не интересовало.) Через год семья доктора Пунина вернулась в Петербург и поселилась в Павловске, и они навсегда стали считать себя павловскими жителями, хотя, когда два старшие сына поступили в гимназию, зимние месяцы проводили в Царском Селе. После рождения пятого ребенка жена Николая Михайловича тяжело заболела и вскоре умерла. Она похоронена на Павловском кладбище. В 1966 году рядом с могилой Анны Николаевны была поставлена памятная доска Николаю Николаевичу. Пятеро детей остались на руках доктора Пунина, старшему — Николаю — шел девятый год.

Обстановка, окружавшая детей среди романтического павловского парка и дворцовых ансамблей Царского Села, способствовала их развитию, воспитывала поэтическое восприятие мира. Но было и много трудностей, которые закаляли характеры, развивали стремление к самостоятельности. Врач имел очень скромные доходы. Первый запомнившийся подарок, который он сделал своим страшим сыновьям, была бельевая корзина деревянных обрезков, купленная у столяра, надолго и успешно заменившая детские кубики.

У Коли рано появился интерес к литературе, поэзии. Он активно участвовал в издании гимназических журналов «Муравейник», «Природа», которые наполовину составлялись из его собственных произведений. Когда в доме появилась вторая жена Николая Михайловича и привезла с собой краски, Николай увлекся живописью. Он довольно быстро и вполне профессионально изучил технику масляной живописи.

В юношеские годы у него проявились «бунтарские» настроения, особенно в период Цусимы и революции 1905 года. Он окончил гимназию с серебряной медалью в 1907 году.

Павловский курзал помогал продолжать самообразование. Там были лучшие концерты, библиотека, при которой были всегда свежие газеты и журналы. Там встречалась молодежь и вступала в дискуссии на философские и литературные темы.

Историко-философский факультет Петербургского университета. Педагогом, оказавшим наибольшее влияние на Пунина, был Дмитрий Власьевич Айналов. Древнерусское искусство и Ренессанс стали главными предметами его интересов. Но еще раньше в Павловске он собрал коллекцию цветных открыток с произведений Боттичелли, Пьеро делла Франческо, Мантенья, Джотто.

В 1913 году еще студентом Пунин поступил на службу в Русский музей в древнерусский отдел. Первые опубликованные им статьи посвящены искусству Древней Руси и Византии, а через год было подготовлено издание «Русская икона», в котором Н. Пунин играл активную роль. Одновременно он пишет очень яркую статью «К рисункам Врубеля», ею начинается ряд статей, посвященных русским художникам Валентину Серову, Федотову, Сурикову. Круг интересов его расширяется — он пишет о современных ему, тогда еще мало известных художниках: Н. Сапунове, Б. Григорьеве, Н. Крымове, Л. Бруни, П. Львове, П. Митуриче, Ф. Малявине. Он печатает многочисленные, глубокие рецензии на серьезные искусствоведческие и исторические труды, выходившие тогда: Ш. Диль, Ипполит Тен, Эжен Фромантен, Луи Гуртик, Г. К. Соломин, Герман Grimm, Г. Вёльфлин, Игорь Грабарь и многие другие, большинство из них опубликовано в журнале «Северные записки».

В 1915 году он входит в круг молодых художников и деятелей искусств, собиравшихся в мастерской Льва Бруни. В это время Пуниным было написано исследование: «Японская гравюра» и первая монография об Андрее Рублеве. Чем больше и разнообразнее была его деятельность, тем больше в нем энергии, ярче раскрывались его организационные способности и художнический темперамент.

Нараставшие военные события угнетали, но и заставляли мобилизовать все внутренние силы. Друзья художники уходили на фронт: были призваны Петр Митурич, Ле Дантю, Натан Альтман. Летом 1916 года был убит брат Леонид Пунин — предводитель партизан, легендарный разведчик.

«Казалось, что войне не будет конца...»

Молодое поколение связывало надежды с приближающейся революцией. В. Н. Петров писал: «Было бы недостаточно сказать о Н. Н. Пунине, что он «принял» революцию; он встретил ее с восторженным и страстным романтическим порывом как исполнение своих лучших надежд» *.

В 1917 году Пунин обвенчался с Анной Евгеньевной Аренс — молодым врачом, подругой юношеских царскосельских лет. Они переехали в Петроград. Николай Николаевич не оставляет службы в Русском музее, но все более активно участвует во всей художественной жизни. Он сотрудник Наркомпроса, комиссар Русского музея и некоторое время Эрмитажа. Он содействует возвращению в Петроград всех ценностей Эрмитажа, эвакуирован-

* В. Н. Петров. Н. Н. Пунин и его искусствоведческие работы.

ных из города в период первой мировой войны; предлагает разработать принципиально новый план экспозиции произведений, основанный на историческом принципе. Он возглавляет художественный отдел фарфорового завода, привлекая для работы ведущих художников, является редактором газеты «Искусство коммуны», начинает педагогическую работу.

К этим первым послереволюционным годам относятся такие крупные работы Пунина, как монографии о В. Татлине, С. Чехонине, «Первый цикл лекций, читанных для учителей рисования», «Русский плакат. Вып. I. В. В. Лебедев» и большое количество статей, опубликованных в периодической печати, среди них очень значительная рецензия на книгу О. Мандельштама «Tristia», статья «Революция без литературы», написанная в защиту подлинной художественной культуры, оспаривающая многие положения Л. Троцкого по поводу направлений революционного искусства.

Пожалуй, в этой статье Пунин впервые сформулировал опасения, что пафос первых революционных лет не дал настоящей почвы для творческого развития художественной культуры.

1921 год стал переломным в мировоззрении Пунина. Много позже он говорил об этом так: «Кончился мой роман с революцией». Началась новая пора упорной работы. Музейная деятельность, организация выставок, чтение лекций в Государственном Институте истории искусств на Исаакиевской площади. Там читали лекции крупнейшие ученые и педагоги: Ф. Шмидт, Ю. Тынянов, О. Вальдгауер, Г. Гуковский, В. Жирмунский.

Одним из ярких событий двадцатых годов в жизни Пунина и в художественной жизни того времени была выставка советского искусства в Японии, которую Пунин формировал и сопровождал в Токио и Осаку. Поездка в сказочную страну, об искусстве которой он писал в молодости, активное общение с художниками Москвы и Ленинграда, радушный прием, оказанный японцами советским представителям и успех выставки окрыляли. По возвращении в Ленинград выставки — А. Карева, М. Ларионова, В. Лебедева и, наконец, огромная выставка «15 лет РСФСР в Русском музее», основным организатором которой стал Пунин. Выставка, которую почтил своим посещением нарком Бубнов и которая затем была переведена в Москву.

Выступать с докладами и на обсуждении выставок тогда было еще можно, но публиковать что-либо становилось все труднее. Тем активнее Пунин читал лекции: публичные в городском лектории, собиравшие многочисленных слушателей, на творческих факультетах Всероссийской Академии художеств, на ар-

хитектурном факультете ЛИСИ, на специальных курсах повышения квалификации работников Интуриста. Это были лекции главным образом по искусству европейского Ренессанса. Ни о древнерусском искусстве, ни о современном советском искусстве говорить быть невозможно. На все уже были наложены шаблоны соцреализма. Пунин долго выступал против самого этого понятия, его нелепости, но это вызывало раздражение начальства и стремление чиновников не давать ему выступить не только в печати, но и на обсуждениях выставок.

В 1938 году Анна Андреевна и Николай Николаевич разошлись. Анна Андреевна соединила свою жизнь с В. Гаршиным, но осталась жить в нашей квартире:

Не недели, не месяцы — годы
Расставались. И вот наконец
Холодок настоящей свободы
И седой над висками венец.

Разрыв был тяжелым. Но 1939—40 годы были годами, когда после дикого террора 1937—38 годов уцелевшей малочисленной части интеллигенции ненадолго открылась возможность печатать научные труды и литературные произведения. После долгих лет запретов лирики А. Ахматовой в сороковом году разрешили напечатать сборник ее стихов «Из шести книг». По рекомендации издательства он был довольно странно составлен — в обратной хронологии, начиная с поздних стихов и заключая стихами из сборника «Вечер». Многие стихи не имеют дат, посвящений, некоторые опущены. Ни одного слова об Ахматовой, ни от нее самой, ни от редактора — Ю. Тынянова. И все же этот сборник, появившийся после «непечатания» Ахматовой более десятилетия, явился не только вехой в судьбе поэта, но и событием в литературной жизни. Отдельные стихотворения Ахматовой стали публиковать в периодике. Она стала активнее, расширился круг поклонниц и знакомых, в это время была начата работа над «Поэмой без героя».

В тридцатые годы Пунин написал много: монография о Павле Кузнецове, статьи о М. Сарьяне и К. Петрове-Водкине, он увлеченно работал над книгой мемуаров. В одном из вариантов предисловия Пунин писал: «...я хочу перед лицом будущего утвердить свою точку зрения на события и смысл событий, уложенных жизнью в период 1916—25 годов». «В этой книге я хочу изложить события, сопутствовавшие развитию новейшей русской живописи в период, непосредственно предшествовавший революции, а главное в период самой революции, во времена

«Изо» (Отдел изобразительных искусств НКП), «в те баснословные года». Только первая часть этой книги была написана. Не напечатано при жизни автора ничего! Последняя из работ Пунина, появившаяся в печати, — «Искусство примитива и современный рисунок» (в книге «Искусство народностей Сибири») вышла в 1930 году.

Педагогическая работа шла интенсивно. В конце тридцатых годов Пунин стал одним из инициаторов создания нового факультета в Академии — искусствоведческого. Он возглавил кафедру западно-европейского искусства и создал вместе с членами кафедры учебник «История Западно-Европейского искусства» (III — XX вв.), под редакцией проф. Н. Н. Пунина. Это одна из блистательных удач его пера. В скучное понятие «Учебника» он вложил и свой темперамент, и свое дарование, и обширные познания, которые позволили ему, даже слегка коснувшись текстов редакторскими поправками при общекафедральном обсуждении, сделать это пособие таким увлекательным, что им зачитывались многие поколения студентов и перечитывали художники и искусствоведы. Вдохновительницей его работ и постоянным другом стала Марта Андреевна Голубева.

С началом войны все стало напряженным во всей стране, в Ленинграде особенно. Пунин записался в народное ополчение и продолжал работу в Институте живописи, скульптуры и архитектуры, за что уже в конце войны был награжден медалью «За оборону Ленинграда».

Первую блокадную зиму наша семья оставалась в городе, но в конце зимы Академия художеств была эвакуирована через Ладогу, по «Дороге жизни» в глубь страны.

Необычайным событием для нас стало то, что в Ташкенте к нашему эшелону пришла Анна Андреевна, чтобы навестить умирающего Николая Николаевича. Мы встретились после полугодовой разлуки. В известном письме из Самаркандской больницы Пунин писал: «Подъезжая к Ташкенту, я не надеялся Вас увидеть и обрадовался до слез, когда Вы пришли, и еще больше, когда узнал, что на другой день Вы снова были на вокзале». Из Самарканда Академия была реэвакуирована в начале 1944 года в Загорск, а в июле — в Ленинград.

Первые два года по возвращении в Ленинград шла трудная, но радостная работа по возрождению физической и творческой жизни города. Полная надежд. Пунин был профессором Академии художеств и Ленинградского университета. На его лекции собиралось множество людей — и молодежь, и возвращавшиеся

фронтовики. Он углубил, развил и систематизировал читанный им еще до войны уникальный курс «Анализ художественных произведений». Курс, который имел основополагающее значение в системе художественного образования и который не читался в наших вузах после его ареста более тридцати лет.

В августе 1946 года грянуло ждановское постановление. Подлинное искусство, культура в целом стали подвергаться гонениям. В газетах появилось все больше малограмотных, а порой и просто фальсифицированных статей против Шостаковича, Ахматовой, театральных и художественных критиков, против «космополитов всех мастей».

В этот очень трудный и ответственный период отечественной культуры Пунин со свойственной ему энергией разрабатывает новую тему: «Александр Иванов и проблема традиций». Эта работа явилась первой в нашем искусствознании глубоким исследованием творческого наследия гениального русского художника. Окончить ее, а тем более защитить как докторскую диссертацию, ему не дали. Арест прервал блистательно начатую работу. Только отдельные ее главы были опубликованы много лет спустя.

Имя Пунина зазвучало с новой силой лишь в 1968 году на торжественном заседании в ЛОСХе, посвященном его памяти в связи с восьмидесятилетием со дня рождения, через 15 лет после его гибели. На этом заседании выступили с воспоминаниями многие москвичи и ленинградцы: Натан Альтман, В. Петров, Е. Ковтун, И. Зильберштейн, В. Ляхов, А. Изергина, Ф. Мельников, В. Бродский.

Заканчивая свое выступление, Антонина Николаевна Изергина сказала: «Николая Николаевича постигла участь многих великих деятелей, которые делали революцию. Сейчас справедливость восстанавливается... Мы дожили до этого времени. Мы читаем имена и видим портреты этих людей, видим их на страницах наших газет и журналов. Их имена снова вписываются в анналы истории.

Надо вписать в анналы русской и именно советской художественной культуры и имя Николая Николаевича Пунина. Потому что это законно и справедливо» *.

В Ленинградском Государственном университете на историческом факультете теперь ежегодно проходят «Пунинские научные чтения», посвященные его трудам и новым работам молодых искусствоведов.

Ирина Пунина

* Из стенографического отчета ЛОСХ 18 декабря 1968 года.

Основные опубликованные научные труды
Николая Николаевича Пунина

Андрей Рублев. Пг., «Аполлон», 1916.

Цикл лекций для учителей рисования. Пг., 1920.

Татлин. Пг., Госиздат, 1921.

Русский плакат 1917—1922. Пг., «Стрелец», 1922.

С. Чехонин. Совм. с А. Эфрос, М.— Пг., Госиздат, 1923.

Новейшие течения в русском искусстве. I, Л., 1927.

Новейшие течения в русском искусстве. II, Л., 1929.

Владимир Васильевич Лебедев. Л., 1928.

Искусство народов Сибири. Л., 1930.

История западноевропейского искусства (учебник) (составление и общая редакция). М.— Л., «Искусство», 1940.

Избранные труды о русском и советском изобразительном искусстве. М., «Советский художник», 1976 (приведена полная библиография).



**Леонид
Николаевич
РАДИЩЕВ**

1904 — 1973

Из книги «Писатели Ленинграда»

Радищев Леонид Николаевич (6.XII.1904, Петербург — 25.01.1973, Ленинград) — прозаик, детский писатель. Учился в Политех. ин-те и на фак. журналистики в техникуме печати. С 1925 сотрудничал в Ленинград. газетах и журналах. В 1930 — ответственный секретарь журн. «Стройка», в 1933—1934 — зав. редакцией газ. «Лит. Ленинград», в 1937—1938 — зав. отделом публицистики журн. «Звезда». В годы войны работал в газ. 42-й армии «Удар по врагу». Участвовал в боях, был четырежды ранен и контужен и в 1942 демобилизован. Работал в Архангельске в военной газете, был художественным руководителем клуба лесозаготовителей. В Ленинград вернулся в 1956. Центральное место в его творчестве занимает ленинская тема. В соавт. с Г. Павловым написал текст в альбоме «Смеется Антоновский» (1931). Был награжден медалью «За трудовую доблесть» и др. медалями.

Свет и тени. Л., 1929; Война этажей. (Л.), 1929; От штурма к осаде. Л., 1929. Семьсот миллионов. (Л.), 1929.— В соавт. с Е. Южным; Пасынки большого города. Л., 1929; Яд. Л., 1930; Тигры и обезьяны.— В кн.; Дмитревский В., Радищев Л. Два лагеря. Л., 1931; На всю жизнь. Л., 1962 и др. изд.; Любимец капи-

тана. Л., 1964; День первый. Л., 1966; Делегат с Урала: Рассказы. М., 1966; Дашутка. Л., 1966 и др. изд.; Всегда на марше: Повести. Л., 1967 и 1975; Поправка к рисунку. Л., 1968 и 1972; Два дня. Л., 1970; Крепкая подпись. Л., 1970 и др. изд.; Три рассказа. Л., 1974.

ТЕЗКА

Горько сознавать свою вину перед другом, вину, которую уже ничем не возместишь, не исправишь...

Несколько лет назад редакция журнала «Нева» предложила мне написать литературный портрет Леонида Радищева. Рассказы этого талантливого писателя обратили на себя особенное внимание читателей и критики. Среди многих произведений, посвященных столетию со дня рождения В. И. Ленина, они выделялись своей художественной корректностью, как писала о них в «Правде» Лидия Фоменко. Похвально писали о его книгах и другие, в том числе и я.

...Правда, имя это мне было отчасти знакомо. В Ленинграде в свое время вышли на старт сразу шесть или семь способных очеркистов и фельетонистов: Тубельский и Рыжей (Братья Тур), Михаил Лоскутов, Борис Бродянский, Ефим Южный, Сергей Безбородов и тот, о ком я сейчас пишу. Леонид Радищев и здесь выделялся ясным, уверенным слогом, без излишнего словесного шегольства и показной эрудиции, которыми нередко грешат фельетонисты. Видно было, что он хорошо знает то, о чем пишет, знает не понаслышке, не из справочников и энциклопедий, а непосредственно из окружающего его мира. Этот мир, как известно, представлял собой не легко обозримую модель, не стоял спокойно на месте,— он бурно двигался и менялся, так что изучать и описывать его приходилось на ходу; помогало лишь то, что мы двигались вместе с ним.

Вскоре я познакомился с автором рассказа и фельетонов. Его наружность, походка, манера держаться и говорить были во многом под стать литературной манере. Атлетическое сложение, неторопливый, насмешливый, но без издевки, без колкостей, наоборот, снисходительный к моим литературным пристрастиям, он мне понравился, и мы сразу стали звать один другого «тезка». Самое главное для меня в нашем приятельстве (дружбой назвать это тогда было бы преувеличением) оказалось то, что мы понимали друг друга с полуслова, как бы ни расходились во вкусах и склонностях. Встречались мы скорее случайно и преимущественно в общественных местах — в редакциях, в Доме печати (Дома писателя, а тем более Домов творчества писателей, еще не

было); чаще всего мы встречались в столовой Ленкублита (Невский, 106), организованного в 1930 году для улучшения быта литераторов в столь неустроенное в бытовом отношении время. Если не ошибаюсь, у тезки я побывал лишь однажды, в самом начале 30-х годов. Он жил на Троицкой улице (теперь улица Рубинштейна), в новопостроенном доме, почему-то прозванном «Слезой социализма». В квартирах не было кухонь — все питались в общей столовой; это в принципе, а в жизни получалось, что большинство стало готовить себе пищу дома, тем или иным способом выходя из трудного положения, отчего у хозяйки и впрямь могли навернуться слезы. Впрочем, закоренелому холостяку и антибытовому Радищеву общая столовка внизу, в первом этаже, была как раз с руки; хорошо помню его почти пустую, голую комнату: койка, конторский стол, такой же стул и гантели в углу, на полу.

До середины 30-х годов Л. Радищев почти не печатался в толстых журналах, основным полем действия для него были тонкие журналы и газета «Литературный Ленинград», ближайшим сотрудником и одним из фактических создателей которой он являлся. Фельетоны, статьи, рецензии, очерки, обзоры, отчеты о шумных дискуссиях — все журнальные и газетные жанры были отлично освоены Л. Радищевым, подписывавшимся то своим полным именем, то псевдонимом «Лерус», то инициалами «Л. Р.», прежде чем он окончательно перешел в стан прозаиков.

Но вот встретились мы с Радищевым незадолго до войны в Доме творчества в городе Пушкине в небольшом деревянном особняке, всего за год до этого принадлежавшем Алексею Николаевичу Толстому. В первые месяцы войны здесь разместились редакция писательской дивизионной газеты.

Зимой 1939 года, когда мы с Радищевым жили в этом мирном доме, окруженном сугробами белого-белого снега, какого никогда не найдешь в Ленинграде, я впервые увидел, с каким упорством Радищев кует свою прозу. Куда подевалась былая динамичность профессионального газетчика! Запершись в крохотной комнатушке, выходявшей на площадку второго этажа, тезка скрипел пером с утра до вечера (портативных машинок, на которых мы стучим нынче, тогда у нас не было) и спускался вниз только к завтраку, обеду и ужину. Иногда, правда, мы находили время для бесед, для прогулок: для литературных шарад, в которых он неизменно побеждал всех участников, но большая часть дня была трудовой.

Тезка никогда не читал вслух и не давал другим читать свою рукопись, даже не говорил, что он именно пишет, но вскоре рас-

сказы его начали появляться в «Звезде», в «Ленинграде», в «Литературном современнике». Это была добротная проза, проза без выкрутасов, серьезная, умная, но все же, на мой придирчивый взгляд, недостаточно окрашенная индивидуальностью автора. Радищев-человек был для меня пока интереснее Радищева-писателя. Я видел, что он еще на пути, ищет, нащупывает свои темы, свой почерк. Нашел ли бы он это все, если бы не война, не события в его личной судьбе, надолго оторвавшие Радищева от литературы, трудно сказать *. Так или иначе, через полтора десятка лет Радищеву предстояло снова искать путь к себе, путь к настоящей прозе, были ли это рассказы, повести или воспоминания о журналистских встречах с политическими и государственными деятелями — Красиным, Тухачевским, Луначарским; писателями — М. Горьким, А. Толстым, К. Чуковским, Сергеевым-Ценским; художниками — Радловым, Антоновским, Малаховским, художником и писателем Л. Канторовичем.

Судьбе было угодно, чтобы Леонид Радищев трижды заново начинал литературную деятельность, сперва публициста, затем прозаика и, наконец, после длительного перерыва, опять прозаика... Люди, с которыми он встречался в разные периоды жизни, так несхожи, что одно это могло заставить писать, писать и писать! Думается, что Л. Радищев не исчерпал и двадцатой доли своих впечатлений и наблюдений. Но и то, что написано и опубликовано, дает материал для раздумий и для оценки; к тому же Радищев в последние десять лет успешно писал и для детей.

...А меня тезка старше был всего на три года. Я с самого начала сказал, что мы с полуслова понимали друг друга, естественно, что наши беседы были вполне откровенны. Однако тезка с его умом и тактом никогда не спрашивал меня о том, на что, по его мнению, мне было трудно или неприятно отвечать. Он и сам не любил откровенничать о так называемых личных делах. В чем-то он был как раз закрыт, я это знал и в свою очередь старался не посягать на его тайное тайных.

Возможно, в какой-то мере это было игрой — он любил напускать на себя загадочность, — но в каком-то смысле закрытость являлась свойством его природы. Например, он любил неожиданно исчезать, уезжать в дальние или ближние края, скажем, селиться где-нибудь за городом, не оставляя своего адреса, и подолгу, иногда по нескольку месяцев, не давал о себе знать. Потом от него приходило большое письмо, где среди шуток и дел

* Автор имеет в виду время, когда Л. Радищев был репрессирован (1940 — 1954).

прорывалось искреннее сожаление о том, что так долго держал меня в неведении, а то и в тревоге, где он, что с ним, здоров ли. Полушутя, полусерьезно, он клятвенно обещал исправиться, никогда больше... и пр. И вдруг появлялся, и мы с ним сидели до поздней ночи и расставались с трудом: поговорить и повспоминать всегда находилось о чем.

Память у него была исключительная: он помнил все, что происходило за сорок с лишним лет нашего знакомства. Истинным наслаждением было следить за тем, как из дальней дали возникали и отчетливо вырисовывались, казалось, давно забытые эпизоды, факты, любопытнейшие детали, лепились образы и характеры знакомых, но уже ушедших от нас людей, словом, вставала эпоха. После такой беседы я вновь убеждался, какой замечательный мемуарист из него получится, когда он вплотную засядет за книгу воспоминаний. Для мемуариста у него было все: аналитический ум, острая наблюдательность, рекордная память и, повторяю, широкий круг жизненных наблюдений и бывших знакомств, особенно в мире литературы и искусства. Былых? Так ведь бывшее для мемуариста и нужно...

Разве не так?

Леонид Рахманов

Фотография
не
найдена

**Георгий
Израилович
САВОЛАЙНЕН**

1899 — 1937

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Саволайнен Георгий Израилович, 17 декабря 1899 года рождения, уроженец д. Мга Мгинского района, Ленинградской области, финн, гражданин СССР, член ВКП(б) с 1928 года, исключен в связи с арестом по данному делу. Старший литсотрудник газеты «Вапаус», проживал: Ленинград, пер. Ильича, д. 4, кв. 5

жена — Саволайнен Екатерина Адамовна, 1901 года рождения, домохозяйка, проживала с мужем

сын — Саволайнен Эйнар Георгиевич, 7 лет (в 1937 году), в 1957 году проживал: Ленинградская область, пос. Стрельна, Средняя Колония, д. 25, кв. 13.

сын — Саволайнен Арнольд Георгиевич, 14 лет (в 1937 году), в 1956 году проживал: г. Таллин, ул. Техника, д. 27, кв. 2.

Арестован 9 августа 1937 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся в контрреволюционной деятельности и шпионаже.

Постановлением Комиссии НКВД и Прокурора СССР от 12 ноября 1937 года определена высшая мера наказания.

Расстрелян 15 ноября 1937 года в Ленинграде.

Определением Судебной Коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР от 18 августа 1956 года постановление Комиссии НКВД и Прокурора СССР от 12 ноября 1937 года в отношении Саволайнена Г. И. отменено, и дело прекращено за отсутствием события преступления.

Саволайнен Г. И. по данному делу реабилитирован.

Саволайнен Г. И. с 1917 по 1921 год учился в финском педтехникуме в г. Гатчине.

С 1921 по 1926 год — зав. Нечиперинской школы в Тосненском районе Ленинградской области.

С 1926 по 1927 год — инспектор национальных школ Ленинградского ГубОНО.

С 1927 по 1930 год — инспектор национальных школ ОкрОНО.

С мая 1930 года по день ареста — редактор газеты «Вапаус». Был членом ССП.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Саволайнен Георгий Израилевич (1899, д. Мга, ныне Ленингр. обл.— 1937) — прозаик, переводчик. Чл. КПСС с 1928. Учился в сельской школе и в двухклассном училище. Был учителем, культпросветработником в деревне, инспектором национальных школ Ленингр. обл. Литературной деятельностью начал заниматься в 1924. Был чл. финской секции ЛАППа. Принимал активное участие в литературной жизни Карелии. Писал на финском яз. Автор кн. «Материалы для клубных вечеров» (1927), сб. рассказов «Темные силы» (1931), повести «Глина и песок» (1931), кн. для детей «Грани стираются» (1933), роман «В буре времени» (1935). Отдельные произведения опубликованы в финских рабочих изданиях в Нью-Йорке. Перевел на финский яз. произведения А. Толстого, Г. Фиша, А. Суркова, Я. Хелемского, А. Барбюса. Библиогр. см. в кн. «Летопись литературной жизни Карелии» (1963).

Фотография
не
найдена

Николай Григорьевич СВИРИН

1900 — 1938

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Свирин Николай Григорьевич, 6 марта 1900 года рождения, уроженец Ленинграда, русский, гражданин СССР, член ВКП(б) с 1928 по 1933 год, исключен за связь с врагами народа, секретарь Ленинградского отделения ССП, проживал: Ленинград, наб. кан. Грибоедова, д. 9, кв. 78

жена — Свирина Анна Порфирьевна, 37 лет (в 1937 году). В 1956 году проживала: Ленинград, Большая Пушкарская ул., д. 65, кв. 17

сын — Свирин Владимир, 10 лет (в 1937 году).

Арестован 26 июня 1937 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 58-8 (террористический акт), 58-11 (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления) УК РСФСР.

20 февраля 1938 года Военная Коллегия Верховного суда СССР приговорила Свирина Н. Г. к высшей мере наказания — расстрелу.

Расстрелян 20 февраля 1938 года в Ленинграде.

Определением Военной Коллегии Верховного суда СССР от 29 августа 1956 года приговор Военной Коллегии Верховного суда СССР от 20 февраля 1938 года в отношении Свирина Н. Г. отменен, и дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Свирин Н. Г. по данному делу реабилитирован.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Свирин Николай Григорьевич (5.III.1900, Петербург — 1938) — критик. Чл. КПСС с 1928. Участник гражданской войны. Один из основателей и активный деятель ЛОКАФа. Был секретарем ленинградского оргкомитета по созданию Союза писателей (1932—1934). Работал в Акад. искусствознания. С 1936 возглавил журн. «Залп». Автор статей, посвященных оборонной теме в русской и советской литературе. Написал несколько статей о Пушкине: «Пушкин и Восток» («Знамя», 1935, № 4), «К вопросу о байронизме Пушкина» («Лит. современник», 1935, № 5), «Пушкин на переломе к реализму» («Знамя», 1936, № 4), «Пушкин и фольклор народов СССР» («Звезда», 1937, № 1). Был редактором и составителем коллективного сб. «Перед боями» (1933).

Литература и война: Сб. критич. статей. Л., 1931; Мобилизация литературы. Л., 1933.



**Алексей
Дмитриевич
СКАЛДИН**

1889 — 1943

Архивный фонд УФСБ РФ
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

Скалдин Алексей Дмитриевич, 1889 года рождения, уроженец Новгородской губернии Валдайского уезда Шенской волости, д. Карыхново, осужденный судом г. Саратова в 1923 году к 3 годам лишения свободы за превышение власти, литератор, до ареста работавший заведующим библиотекой инженерно-технических работников в Ленинграде.

Арестован 20 января 1933 года ПП ОГПУ ЛВО.

Обвинялся в том, что состоял членом контрреволюционной группировки «Идейно-организационного центра» эсеровско-народнической организации, проводил эсеровско-народническую пропаганду, используя в этих целях подведомственные членам группировки библиотеки и литературные произведения членов группировки, т. е. в пр. пр. ст. 58-11 УК РСФСР.

Постановлением Тройки ПП ОГПУ в ЛВО от 21 апреля 1933 года Скалдин А. Д. приговорен к 5 годам заключения в к/л. Заключение в к/л заменено высылкой в Казахстан на тот же срок.

Постановлением Президиума Ленинградского городского суда от 24 июня 1988 года Постановление Тройки ПП ОГПУ в ЛВО от 21 апреля 1933 года в отношении Скалдина А. Д. отменено, а уголовное дело прекращено на основании п. 2 ст. 5 УПК

РСФСР за отсутствием в действиях осужденного состава преступления.

Скалдин А. Д. по этому делу реабилитирован.

НЕЗНАЕМЫЙ, ЗАБЫТЫЙ...

Имя Алексея Дмитриевича Скалдина мало что говорит современному читателю, но это — возвращающееся к нам имя. При жизни писателя вышли всего две книги: «Стихотворения» (1912) и роман «Странствия и приключения Никодима Старшего» (1917). Время выхода второй книги — осень 1917 года предопределило обидно-невнимательное отношение к ней критики, но друзья-литераторы в письмах к автору называли роман «головокружительным», «фантазмагорическим», но и «наиреальнейшим», «пророческим». Время подтвердило эти характеристики. Через семьдесят лет — в 1987 и 1990 годах — роман был переиздан в США, в 1993 переведен на шведский язык, сейчас готовится издание на английском. Что же мы знаем о трагической судьбе писателя?

Родился Скалдин 2 (15) октября 1889 года в деревне Карыхново Новгородской губернии в потомственной крестьянской семье. Учился в церковно-приходской школе. В 1905 году семья переехала в Петербург, и пятнадцатилетний Скалдин поступил на службу в страховое общество мальчиком-рассыльным. Он стремительно сделал служебную карьеру: к 1917 году был уже управляющим страховым округом. На систематическое образование не было средств, самостоятельно выучил языки: немецкий, французский, латынь, греческий, был начитан в русской и западной философии. Писать начал рано, с девяти лет. В 1909 году оказался на «башне» Вячеслава Иванова и на долгие годы стал ближайшим другом, доверенным лицом в его семействе. Свою первую книгу Скалдин посвятил «Вячеславу Иванову, брату». Круг общения молодого Скалдина элитарен, он входил в петербургское и московское религиозно-философские общества, близко сошелся с Мережковским, Философовым, Сологубом, дружил с Михаилом Кузьминым и Георгием Ивановым, о нем высоко отзывался Блок. Позднее, в 1922 году, при даче вынужденных объяснений на первом своем суде, у Скалдина будет случай утверждать, что на его развитие повлияли люди, которых он хорошо знал, художники: Александр Бенуа, Добужинский, Лансере; философы Бердяев и Булгаков, «которые, впрочем, больше интересовались мною, чем я ими», — Лев Шестов, Розанов, Павел Флоренский, историк литературы Гершензон, Андрей Белый, Ахматова.

Февральскую революцию Скалдин встретил восторженно и деятельно. Он становится одним из активнейших руководителей Союза деятелей искусств — первого профсоюза работников искусств. Но очень скоро отношения СДИ с властями обостряются, и Скалдин спешно покидает Петроград. Следующие пять лет он живет и работает в Саратове. Там были написаны две книги: причудливое по форме собрание новелл «Вечера у мастера Ха» и книга о церковном деревянном зодчестве (погибли при аресте, из первой книги опубликована одна глава — «Рассказ о господине Просто» — «Аврора», 1993, № 10—12). Много сил и времени Скалдин отдавал музейному делу и преподаванию. К 1922 году он стал признанным лидером культурной деятельности в городе, помимо заведования художественным музеем руководил работой всех зрелищных заведений — театров, кинотеатров, цирка. Но его культурно-идеологическая позиция осталась неизменной на классику, на подлинные знания. Такая позиция не могла не раздражать новую власть, и против Скалдина были выдвинуты путанные уголовные, а по сути идеологические обвинения. Он был осужден на три года строгой изоляции, но уже в августе 1923 тихо освобожден, благодаря хлопотам питерских друзей и прямому вмешательству Луначарского.

Скалдин возвращается в Ленинград. У него большая семья и нет работы. Соглашается на любую — становится разъездным агентом книжторга. Несколько лет много ездил по стране — по югу, Сибири, Дальнему Востоку. В этих поездках собирался документальный материал, записывались устные рассказы. К моменту второго ареста (январь 1933 года) были написаны романы: «Смерть Григория Распутина», «Земля Канаана», «Женихи», «Деревенская жизнь». Ни один из них не опубликован, хотя есть свидетельства о работе с издательскими редакторами и чтениях в литературных домах Москвы и Ленинграда. Круг общения этого времени потаен и узок. На процессе, кроме имени Иванова-Разумника (чьим именем «дело» окрестили), возникали имена Клюева, Гизетти, Егунова, братьев Альтманов, Чирского и многих безвестных учителей и библиотекарей, чья причастность к какой-либо политической организации была столь же сомнительна, как и причастность Скалдина. Тем не менее он получил максимальный срок. Нелепость ситуации просматривалась хотя бы в том, что «глава» заговора — Иванов-Разумник — был приговорен к трем годам Запсиба.

Алма-Атинский период — самый скрытый от нас в жизни Скалдина. От того периода не осталось ничего, кроме нескольких писем, адресованных Ю. Верховскому, Иванову-Разумнику,

дочери Марине. Из этих писем мы узнаем, что в ссылке были написаны восемь романов, повести, рассказы, стихи. Когда срок приговора истек, Скалдин в Ленинград не вернулся. Сразу после его ареста, в 1933 году, после двадцатилетней совместной жизни умерла жена — Елизавета Константиновна, прообраз главной героини романа о Никодиме. В Алма-Ате завязалась сложная любовная история, и в 1939 году появилась на свет дочка Скалдина Мира, которая, однако, носила чужое имя — Вера Константиновна Ганг(ч?)аева и воспитывалась родной сестрой Скалдина Валентиной Столбиной в далеком от Казахстана городе Славянске.

В 1939 и 1940 годах Скалдин наезжает в Ленинград и Москву. Он устраивает в Литературной музей свой архив, где хранились письма Блока, Вячеслава Иванова, Георгия Иванова, Мандельштама, Северянина, Мейерхольда и многих других, литературные материалы по журналам «Пламя» и «Горнило», рукопись книги Вяч. Иванова «Нежная тайна», коллекция ценных документов. Из своих же собственных рукописей он отдал только опубликованное — роман о Никодиме и книги 1930-х годов для детей, писавшиеся исключительно для заработка, но сохранившие свою занимательность и поныне: «Колдун и ученый», «Чего было много» и др. Он общается с друзьями и целыми днями читает им. Общий объем написанного в Алма-Ате Скалдин определил в 170—180 печатных листов. Немногое дошедшее до нас позволяет утверждать — писатель угадал многие стилевые тенденции развития нашей литературы, кое в чем он предвосхитил обэриутов, Булгакова, примитивистов.

Последнее известное нам письмо Скалдина из Алма-Аты датировано 17 июня 1941 года. Через пять дней началась война. Последние сведения о писателе — в справке МВД. Скалдин был арестован в третий раз в октябре 1941 года, основанием, конечно, стали предыдущие аресты и только они. Какая там тогда контрреволюционная деятельность в глухой Алма-Ате? Да и устремления были иные.

В августе 1943 года он умер в лагере в возрасте 54 лет.

Спустя полвека приходит известность.

Татьяна Царькова

Фотография
не
найдена

**Алексей
Артемьевич
СОЛОВЬЕВ**

1900 — 1937

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Соловьев-Тверяк Алексей Артемьевич, 25 февраля 1900 года рождения, уроженец Волынской губернии, Луцкого уезда, Бережницкой волости, дер. Озеро, русский, гражданин СССР, беспартийный, писатель, проживал: Ленинград, 3-я Советская ул., д. 20, кв. 8

жена — Соловьева Тамара Николаевна, 25 лет, педагог Ленинградского дома художественного воспитания детей, проживала с мужем

дочь — Филатова Ирина Алексеевна, 5 лет (в 1935 году). В 1961 году проживала: г. Жданов Сталинской обл., Малофонтанный спуск, 8.

Арестован 4 апреля 1935 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 58-10 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда).

Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 25 июля 1935 года определено сослать в Казахстан сроком на 3 года.

Постановлением Президиума Ленинградского городского суда от 23 мая 1961 года постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 25 июля 1935 года в отношении Соловьева-Тверьяка А. А. отменено, и дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Отбывая ссылку в г. Каркаралинске, вновь был арестован по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде и за участие в контрреволюционной троцкистско-повстанческой организации.

Постановлением Тройки НКВД по Карагандинской области от 31 декабря 1937 года определена высшая мера наказания.

Расстрелян 31 декабря 1937 года.

Постановлением Президиума Карагандинского областного суда от 2 августа 1956 года Соловьев-Тверьяк А. А. реабилитирован.

Соловьев-Тверьяк А. А. с 1918 по 1922 годы служил в Красной Армии. После демобилизации уехал в Ленинград и поступил на рабфак. После рабфака поступил в ЛГУ, но со 2-го курса ушел и занимался литературной деятельностью.

«Из книги «Писатели Ленинграда»

Тверьяк (настоящая фамилия Соловьев) Алексей Артемьевич (25.II.1900, Малая Бережница, ныне Житомир, обл.— 31.XII.1937) — прозаик. Окончил сельское уч-ще в с. Селижарово Твер. губ. С 16 лет жил в Петербурге, служил «мальчиком» в меховом магазине. Окончил бухгалтерские курсы. В 1918 — 1922 был в Красной Армии. Затем учился на рабфаке Технол. ин-та. В 1923 вошел в группу молодых пролетарских писателей «Стройка». Тогда же начал печататься в комсомольских журналах. Был членом Всероссийского об-ва крестьянских писателей. По повести «На отшибе» П. Соловьев создал одноименную пьесу (1930). См. также журн. «Жизнь искусства», 1926, № 21.

Леший: Рассказ. М.— Л., 1926; Ситец: Повести и рассказы. Л., 1926; На отшибе: Повести. М., 1926 и др. изд.; Чудаки: Рассказы. Л., 1927; Передел: Роман. Харьков, 1927 и др. изд.; У лесного озера: Повести и рассказы. М., 1928; Две судьбы: Роман. М.— Л., 1929 и др. изд.; Нечистая сила: Рассказы. М., 1831.

ПАРЕНЬ С ВОЛЫНИ

В 1923 году в литературную группу «Стройка» при Всероссийской ассоциации пролетарских писателей (ВАПП) в Петрограде вступил невысокий коренастый паренек Алексей Соловьев. И вскоре (1924) под псевдонимом «Тверьяк» вышел его первый

рассказ «Синица». Вероятно, своя фамилия казалась начинающему писателю не по времени легковесной — выбором псевдонима он подчеркнул, что вышел из крестьян и что ему близка деревенская тематика.

Каким он был Соловьев-Тверяк?

В журнале «Земля советская» (№ 10 1929 г.) на его фотографии косо надвинутая на лоб шляпа частью скрывает широкое, с крупными чертами лицо. Лицо человека, по всей видимости доброго и наблюдательного, с крестьянской сметкой и хитрицей. Что-то в облике Тверяка заставляет вспомнить героя его рассказа «Нечистая сила» изобретателя-самоучку ветроплуга Акима Ольху.

Алексей Артемьевич Соловьев-Тверяк родился 25 февраля 1900 года в Волынской губернии. Детство провел на Верхней Волге (Тверская губерния), очевидно, на родине отца, куда переехала семья. Население тех мест занималось земледелием, зимами пробавлялось отхожими промыслами. Отец Алеша тоже уходил на заработки в Тверь и в Петербург, поэтому на плечи паренька рано легла тяжесть мужицкой работы в поле. В многодетной семье — 9 душ — он был старшим.

С восхода солнца и дотемна приходилось Алеше пахать, сеять, косить, молотить, веять — и все вручную. Он рос ловким и жадным до крестьянской работы, однако мечты его витали далеко. В них он видел себя то великим путешественником, то смелым полководцем, то... отшельником. Это зависело от книг, которые ему попадались — читать Алеша любил.

После окончания сельского училища в Селижарове в 1916 году он упросил отца взять его в Петроград. Там Алешу устроили «мальчиком» в меховой магазин Землякова. Работа была нетрудной, и он поступил на вечерние бухгалтерские курсы, решив впоследствии идти «по счетному делу».

Судьба распорядилась иначе.

В городской библиотеке, не в пример сельской, оказалось множество интереснейших книг. Алешу очаровывают приключения героев Фенимора Купера, Брет-Гарта... Не в силах преодолеть искушения, в магазине он старается забиться куда-нибудь, чтобы приказчик не сразу его нашел, и читает, читает... Естественно, долго так продолжаться не могло. Не в меру любившего книги паренька уволили.

Через некоторое время Алеше удастся устроиться в Управление сахарными заводами княгини Долгоруковой. Но он не удерживается и там. В отличие от прежнего, потеря работы уже не пугает его. Ему кажется, это даже как-то роднит его с героями книг — тем тоже приходилось переживать всяческие злоключения.

Белыми летними ночами бродит он по улицам Петербурга, одинокий и счастливый. Ночует нередко то под мостом Обводного канала, то на Конногвардейском бульваре, живет в мире книг и к революции никак не подготовлен, однако она закружила его в своем вихре; понесла. В феврале 1917 года Алеша вместе с восставшими солдатами громит оружейный склад. Потом, пристроившись на подножке грузовика, разъезжает с солдатами по улицам, горланит песни. А весной, когда потянуло теплым ветром, вдруг заскучав, уезжает домой, на Волгу. Там в кооперативах Алеша проработал до лета 1918 года, организовал на общественных началах в деревне культурно-просветительный кружок, а вскоре добровольцем ушел в Красную армию.

Четыре года мотания по фронтам гражданской войны избавили Алексея Соловьева от излишней мечтательности и в основном сформировали мировоззрение. Он побывал почти во всех родах войск. Переболел тифом и другими голодными болезнями.

Минули военные годы.

После демобилизации (1922) Алексей обосновался в Петрограде и поступил на рабфак Технологического института. Может быть, со временем из него и вышел бы неплохой инженер; хотя склонности к технике у Алеши никогда не было, парнем он был смышленным, работать умел. В этот период Алексей опять увлекается в чтение, много, без разбора читает, ходит изредка в театр. Но вот как-то услышал от товарищей о литературной группе «Стройка», и это решило все дальнейшее.

Всероссийская ассоциация пролетарских писателей считала, что в литературе правильно отразить быт и мировоззрение рабочего и крестьянина можно только «изнутри», иными словами под силу это лишь выходцам из рабоче-крестьянской среды. Демобилизованный красноармеец Алексей Соловьев был одним из них. Вероятно, поэтому критика отнеслась к его первому, очень еще сырому рассказу, героиня которого Аксинья бросает мужа, потому что тот дезертировал из Красной Армии, весьма благосклонно. Впрочем, Тверяк, действительно, был тем «самородком революционности на селе», по выражению критика и члена ВАПП А. Дивильковского, из которого мог вырасти настоящий пролетарский писатель. К двадцати четырем годам у него был и достаточный жизненный опыт, и знание деревни, и талант. Не доставало общей культуры.

Зная об этом, болезненно самолюбивый молодой писатель почти никогда не выступал ни на литературных диспутах, ни на вечерах. Устроившись где-нибудь в уголке, слушал, пытаюсь вникнуть в не всегда понятные ему споры, особенно когда они

приобретали чисто литературоведческий или философский характер. Так же, как и персонажу одного из его рассказов Акиму Ольхе угадывать в инженерных чертежах идею ветроплуга,— искать свой путь в литературе Тверяку было нелегко. «Молчун» прозвали его в литературной группе.

«Молчун» свято веровал в критику и воспринимал ее, как благонравный ученик замечания учителя. В этом отношении любопытна его статья «Писатель — критик — читатель» («Жизнь искусства» № 21 1926 г.). Тверяк наивно заявляет в ней, что социальный заказ сегодня не тот, что во времена Пушкина, и сетует на то, что рассказы Б. Лавренева перепечатываются белогвардейской прессой. Ведь получается будто Лавренев невольно выполняет их заказ, хотя от них «отмежевался». Он уговаривает писателя не поворачиваться спиной к критике, словно «нервная барышня», боясь «классовой резкости» Горбачева.

Стараясь пополнить недостаток образования, Тверяк поступает на филологический факультет Университета, и много, запоём, работает. За шесть лет (с 1926 по 1931 гг.) вышло восемь его книг, в том числе два романа — «Передел» и «Две судьбы». Перечитывая их сегодня, видишь, что автору удалось правдиво передать не только особенности быта, но и идеологию деревни 20-х годов средней полосы России. Конечно, словесная ткань его повестей, рассказов и романов рыхла, перегружена излишними подробностями и ненужными деталями, а язык беден, но в них нет «лакировки». И при всей наивности они достаточно верно отражают происходившие в те годы в деревне общественные процессы. А главное, с каждым годом проза его становится все более выразительной, в ней появляются тонкие оттенки. Вот небольшой отрывок из его романа «Две судьбы».

После гибели в огне жены и убийства поджегшего его дом брата, герой собирается утопиться в озере, потому что теперь «из него не работник» раз «вся жизнь порушена».

«Егор, забыв о самом себе, о заводе и о своих товарищах по кооперации, стоял на крутом обрыве над озером и невидящими глазами смотрел в сизую и туманную от ветра и водяной пыли даль. Озеро отплескивалось от берега, будто назад пятилось и хотело уйти куда-нибудь подальше от этих берегов, словно здесь ему не по себе, словно неведомой силой гнало его прочь. Ветер дул от Хотилова, срывал мелкий песок с обрыва и бросал в воду. Ветер белыми гребешками пенил озеро, и Егор видел, как по взволновавшейся воде бежала от берега белая водяная пыль: так бежит в ветреную погоду по снежному насту колючая поземка. Таким же было озеро три года назад, когда шел Егор из Крас-

ной Армии. Тогда он радовался возвращению в родные места, радовался встречающему его бурей озеру и чуть не бегом бежал по знакомому с детства берегу, сняв шапку и выкрикивая бессловесное, песенное приветствие всему, что охватывал глаз. Тогда белые гребешки взбаламученного озера его радовали и веселили, а вот теперь нагоняли непроходимую тоску...»

В 1928 году в автобиографии Тверяк пишет:

«За художественной литературой, по крайней мере в данный момент, я признаю служебную роль. Ибо литература может скорее и с большим успехом помочь разобраться в тех сложных и запутанных перипетиях современной жизни, которые мы все должны изучить, чтобы уверенно шагать вперед. Литература должна ставить перед общественностью заостренно вопросы сегодняшнего дня, отыскивать и подавать современного живого человека, его психику... Считаю, что жизнь и работа у меня впереди».

Но времени впереди оставалось уже мало.

После 1931 года имя Тверяка из печати исчезает. Его и прежде обвиняли «в разрыве верхов с массами», в том, что наиболее живо полнокровно у него получались кулаки, а повесть «На отшибе» и вовсе оценивалась как «идеологический вывих».

Наверно, в последние годы Алексею Артемьевичу приходилось тяжело. И не только потому, что его перестали печатать и теперь рассчитывать приходилось только на заработок жены, которая работала учительницей. Он страдал и оттого, что в его представлении главным добытчиком должен быть глава семьи — муж и отец, а теперь он не у дел. Оттого, что вокруг творилось что-то непонятное. Из родного села доходили тревожные слухи о выселении с насиженных мест семей с малыми детьми, хозяйства которых — он знал — не были кулацкими. Несколько товарищей по литературной группе, которые в свое время помогли ему стать писателем, были арестованы. Впервые он растерялся, не зная что делать. Ночами, лежа без сна, перебирал в памяти прошлое, стараясь разобраться в «сложных и запутанных перипетиях современной жизни». Он пытался скрыть свое состояние от жены, но она, как и всякая любящая женщина, угадывала:

— Опять не спишь? — и ласково гладила по волосам. — Не переживай. Обойдется...

Не обошлось.

В 1935 году его арестовали. Особое Совещание 4 апреля 1935 года вынесло решение: ссылка на 3 года в Казахстан. Там в 1937 году Алексей Артемьевич Соловьев-Тверяк был арестован вторично и 31 декабря 1937 года расстрелян.

Лиана Ильина



**Григорий
Эммануилович
СОРОКИН**

1898 — 1954

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Сорокин Григорий Эммануилович, 11 января 1898 года рождения, уроженец г. Бобруйска, еврей, гражданин СССР, беспартийный, главный редактор издательства «Советский писатель», проживал: Ленинград, кан. Грибоедова, д. 9, кв. 19

жена — Сорокина Нина Николаевна, 1898 года рождения, проживала с мужем.

Арестован 30 июля 1949 года Управлением МГБ по Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 58-10 (антисоветская агитация и пропаганда), 58-11 (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления) УК РСФСР.

Постановлением Особого Совещания при МГБ СССР от 22 февраля 1950 года определено заключить в ИТЛ сроком на 10 лет.

Наказание отбывал в ИТЛ в пос. Абезь, Кожвинского р-на, Коми АССР.

Ранее (в 1935 году) также арестовывался органами НКВД.

Обвинялся в антисоветской агитации и пропаганде.

Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 15 июня 1935 года определено зачесть в наказание срок предварительного заключения, из-под стражи освободить.

Определением Судебной Коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР от 29 мая 1954 года постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 15 июня 1935 года и постановление Особого Совещания при МГБ СССР от 22 февраля 1950 года в отношении Сорокина Г. Э. отменены, и дела, за недоказанностью предъявленного ему обвинения, прекращены.

Сорокин Г. Э. по данным делам реабилитирован.

Сорокин Г. Э. в 1919 году был направлен из Красной Армии в Педагогический институт им. А. И. Герцена.

С 1922 года начал литературную деятельность в издательстве «Прибой».

С 1927 по 1935 год был редактором и директором «Издательства писателей в Ленинграде» и руководил редакцией русской и советской поэзии «Библиотека поэта».

В 1936 по 1941 год — зав. отделом прозы журналов «Литературный современник» и «Звезда», а также редактор в Военно-морском издательстве.

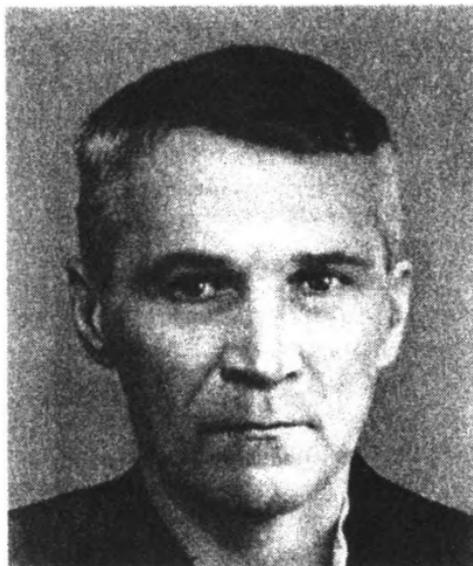
С начала Великой Отечественной войны находился в рядах ВМФ в качестве редактора и военного корреспондента ГПУ Военно-Морского Флота.

После демобилизации (в 1945 году) был назначен главным редактором Ленинградского отделения издательства Союза советских писателей, где работал до 1949 года.

«Из книги «Писатели Ленинграда»

Сорокин Григорий Эммануилович (11.01.1898, Бобруйск — 27.II.1954, Абезь Коми АССР) — прозаик. Учился на мед. фак. Петрогр. ун-та. Был литсотрудником журн. «Крас. студент». В довоенные и первые послевоенные годы работал в издательствах («Издательство писателей в Ленинграде», «Сов. писатель», «Воен.-мор. изд-во»); был редактором, директором, главным редактором. В 1939—1945 служил в ВМФ в качестве писателя-корреспондента. Начал печататься в 1923 как поэт. Автор вступительной статьи и примечаний в кн.: Плещеев А. «Стихотворения» (1937, «Б-ка поэта». Малая серия). Награжден орденом Отечественной войны II степ. и медалями.

Галилея: (Стихи). Л., 1925; Примечания к судьбе: Рассказы. Л., 1931; Кантабрийское море: Повесть. Л., 1941; Чудаки и романтики: Сатирич. очерки. Л., 1941.— В соавт. с А. Флитом; Рассказ летчика. М.— Л., 1941.— В соавт. с Б. Соловьевым; Рассказы капитана Суслина. М.— Л., 1942; Генерал Остряков. М., 1944; Вечный берег. М.— Л., 1946; На Черном море: Зап. воен. кор. Л., 1947; Два героя. М., 1956.



**Сергей
Дмитриевич
СПАССКИЙ**

1898 — 1956

Архивный фонд УФСБ РФ
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
28 сентября 1993 года
№ 10/16—10807

Спасский Сергей Дмитриевич, 1898 года рождения, уроженец г. Киева, русский, с незаконченным высшим образованием, беспартийный, женат, гражданин СССР, писатель, член Ленинградского отделения Союза советских писателей, проживал: Ленинград, Невский пр., 66, кв. 5.

Арестован 8 января 1951 года Управлением МГБ ЛО по обвинению в участии в контрреволюционной группе и антисоветской агитации, т. е. в пр. пр. ст. 58-10 ч. 2 и 58-11 УК РСФСР.

Постановлением Особого Совещания при МГБ СССР от 2 июня 1951 года заключен в ИЛТ сроком на 10 лет.

Постановлением заседания Центральной Комиссии по пересмотру дел на лиц, осужденных за контрреволюционную деятельность, содержащихся в колониях, лагерях и тюрьмах МВД СССР и находящихся в ссылке и на поселении, от 4 октября 1954 года Постановление Особого Совещания при МКБ СССР от 2 июня 1951 года в отношении Спасского С. Д. отменено, и дело на основании ст. 204 и п. «б» УПК РСФСР в уголовном порядке прекращено.

Спасский С. Д. из-под стражи освобожден.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Спасский Сергей Дмитриевич (21.XII.1898, Киев — 24.VIII.1956, Ярославль) — поэт, переводчик, прозаик. В 1915 поступил в Моск. ун-т. В 1918 был призван в Красную Армию. Военную службу проходил в Самаре, был лектором в политотделе губвоенкомата. Литературной работой занимался со студенческих лет. Наряду со стихами, рассказами и повестями написал либретто опер: «Орлиный бунт», «Броненосец «Потемкин», «Севастопольцы», «Щорс», «Молодая гвардия», «Свадьба Кречинского». Ему принадлежат многочисленные переводы стихов грузинских, армянских, азербайджанских, эстонских и белорусских поэтов.

Колдун: Поэма. М., 1916; Как снег. М., 1917; Рупор над миром. Пенза, 1920; Земное время: Стихи. М., 1926; Неудачники: Повесть в стихах. М., 1929; Орлиный бунт. М., 1929; Дорога теней: Рассказы. М., 1930; Особые приметы: Стихи. Л., 1930; Парад осужденных: Двухголосная повесть. Л., 1931; Остров Кильдин. М.—Л., 1931.— В соавт. с Куклиным и Н. Чуковским; Новогодняя ночь. Л., 1932; Первый день: Роман. Л., 1933; Да: Сб. стихов. Л., 1933; Портреты и случаи. М., 1936; Пространство: Стихи. Л., 1936; Маяковский и его спутники: Воспоминания. Л., 1940; Перед порогом: Роман. Л., 1941; Два романа: Перед порогом; 1916 год. Л., 1957; Стихотворения. Л., 1958; Земное время: Избр. стихи. Л., 1971.

Фотография
не
найдена

**Александр
Осипович
СТАРЧАКОВ**

1893 — 1937

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Старчаков Александр Осипович, 1893 года рождения, уроженец г. Киева, гражданин СССР, член ВКП(б) с 1919 года, исключен в связи с арестом по данному делу, еврей, журналист, работал в Ленинградском отделении «Известий», проживал: Ленинградская область, г. Детское село, д. 19, кв. 8

жена — Вольберг-Вельмонт Евгения Павловна, 36 лет (в 1936 году). В 1957 году проживала: Ленинградская область, г. Пикалево, ул. Советская, д. 2, кв. 4

дочь — Шестова Марианна Александровна, в 1989 году проживала: Ленинград, ул. Рашетова, д. 2, кв. 55.

Арестован 3 ноября 1936 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 58-8 (террористический акт), 58-11 (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления) УК РСФСР.

19 мая 1937 года выездная сессия Военной Коллегии Верховного суда СССР приговорила Старчакова А. О. к высшей мере наказания — расстрелу.

Расстрелян 20 мая 1937 года в Ленинграде.

Определением Военной Коллегии Верховного суда СССР от 10 октября 1957 года приговор Военной Коллегии Верховного суда СССР от 19 мая 1937 года в отношении Старчакова А. О. отменен, и дело, за отсутствием в его действиях состава преступления, прекращено.

Старчаков А. О. по данному делу реабилитирован.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Старчаков Александр Осипович (1893 — 1938) — критик, литературовед, прозаик. Автор многих работ по русской классической и современной литературе. Написал предисловие к кн. В. Серошевского «Янг-хун-цзы» (1927), Д. Рида «Вдоль фронта» (1928), Л. Толстого «Анна Каренина» (1928) и др. Автор текста в альбоме: «А. Н. Толстой в портретах и иллюстрациях» (1934).

Граф и бурсак: (Толстой и Чернышевский). М., 1928; Особняк на площади: Рассказы. М., 1930; Слово. Л., 1931; Патент 119: Пьеса в 4-х д. Л., 1933 и М.— Л., 1933.— В соавт. с А. Н. Толстым; Тарас Шевченко. М., 1934; Шевченко и революция. Л., 1934; Ал. Н. Толстой: Критич. очерк. Л., 1935.

А. О. Старчаков

ШЕВЧЕНКО И РЕВОЛЮЦИЯ

1.8.4.4

1.9.3.4

Ленинградское отделение
СРМЗ
ГБХЛ

Фотография
не
найдена

**Валентин
Осипович
СМЕТАНИЧ-
СТЕНИЧ**

1897 — 1938

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Сметанич-Стенич Валентин Осипович, 8 ноября 1897 года рождения, уроженец Ленинграда, русский, гражданин СССР, беспартийный, писатель, член ССП, проживал: Ленинград, кан. Грибоедова, д. 9, кв. 126

жена — Файнберг Любовь Давыдовна, 33 года (в 1937 году). В 1958 году Большинцова Л. Д. проживала: Москва, ул. Королева, д. 7, кв. 114.

Арестован 14 ноября 1937 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 58-8 (террористический акт), 58-11 (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления) УК РСФСР.

Приговором Военной Коллегии Верховного суда СССР от 20 сентября 1938 года определена высшая мера наказания — расстрел.

Расстрелян 21 сентября 1938 года в Ленинграде.

Определением Военной Коллегии Верховного суда СССР от 24 октября 1957 года приговор Военной Коллегии Верховного

суда СССР от 20 сентября 1938 года в отношении Сметанич-Стенича В. О. отменен, и дело, за отсутствием в его действиях состава преступления, прекращено.

Сметанич-Стенич В. О. по данному делу реабилитирован.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Стенич (настоящая фамилия Сметанич) Валентин Осипович (21.XI.1897, Петербург — 20.IX.1938) — переводчик, критик. Окончил немецкую школу (Петершуле) в Петербурге. Литературную деятельность начал как поэт, затем обратился к переводам (часть переводов опубликована под фамилией Сметанич). Перевел «Жив человек» К. Честертона (1924), «Тигры и утки» Ж. Дюамеля (1925), «Мориус и К°» У. Локка (1925—1926, два изд.), «Отважные мореплаватели» Р. Киплинга (1930), «42-я параллель» Дж. Дос. Пассоса (1931), «Смерть в лесу» Ш. Андерсона (1934), «Похороны Патрика Дагнэма» Дж. Джойса (1934), «Путешествие в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера...» Дж. Свифта (пер. и обработ. для детей 1935), историческую драму «...Гасить котлы!» Э. Толлера (авториз. пер., 1935), «Чихи и чухи» и «Трехгрошовый роман» Ф. Вольфа и др. произведения. Его критические статьи и рецензии посвящены творчеству писателей, которых он переводил, и русской советской литературе. Написал новое либретто оперы «Пиковая дама» для Ленингр. Малого оперного театра. Общеизвестно, что героем очерка А. Блока «Русские денди» (1918) является В. Стенич.



Анатолий Дмитриевич СЫСОЕВ

1906 — ?

Архивно-следственное дело

Сысоев Анатолий Дмитриевич, 28 ноября 1906 года рождения, уроженец д. Заозерье, Афаносовского сельсовета, Гдовского района, Ленинградской области, русский, гражданин СССР, беспартийный, журналист газеты «Крестьянская правда», проживал: Ленинград, ул. Каляева, д. 25, кв. 33

жена — Беленькая Беатриса Захаровна, 1909 года рождения, педагог в детском саду, проживала с мужем.

Арестован 25 мая 1936 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 58-10 (антисоветская агитация и пропаганда) УК РСФСР.

11 сентября 1936 года Спецколлегия Ленинградского областного суда приговорила Сысоева А. Д. к лишению свободы сроком на 4 года с последующим поражением в правах сроком на 2 года.

Определением Спецколлегии Верховного суда РСФСР от 22 октября 1936 году приговор Спецколлегии Леноблсуда от 11 сентября 1936 года оставлен в силе.

Постановлением Президиума Верховного суда РСФСР от 29 июля 1964 года приговор Ленинградского областного суда от 11 сентября 1936 года и определение Спецколлегии Верховного суда РСФСР от 22 октября 1936 года в отношении Сысоева А. Д. от-

менено, и дело производством прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Сысоев А. Д. по данному делу реабилитирован.

Сысоев А. Д. в 1936 году проходил по одному делу с Маминым Н. И.

В деле находятся изъятые у него рукописи рассказов.

В 1964 году проживал: Ленинград, Антоновский пер., д. 15, кв. 9, работал начальником ремонтно-строительного участка электромонтажного предприятия № 1 в Ленинграде.

ЗА ЧТО СУДИЛИ АНАТОЛИЯ СЫСОЕВА

Владимир Маяковский писал:

...железки строк случайно обнаруживая
вы
с уважением
ощупывайте их...

Сегодня время извлекает из секретных архивов строки, которые не уничтожаемы ржавчиной лжи. К той правде, до сути которой докапываемся, в которую проникаем все глубже, добавляются все новые и новые железки.

Я, вероятно, никогда бы не узнал, что жил на свете Анатолий Сысоев, родившийся в ноябре 1906 года в деревне Заозерье Ленинградской области, беспартийный, журналист, литератор, сотрудник газеты «Крестьянская правда», если бы не занимался биографией ленинградского писателя Николая Мамина, который тоже прошел через известную триаду: тюрьма — лагерь — ссылка.

В «Справке по архивно-следственному делу» сказано, что Сысоев А. Д. «в 1936 году проходил по одному делу с Маминым Н. И.», однако, каково содержание этого «дела» мы не ведаем, хотя и сказано, что обвинялся Сысоев по ст. 58-10 УК РСФСР (антисоветская пропаганда и агитация). Но, что в «деле» этом никакого истинного дела нет и не было, мы теперь точно знаем: 29 июля 1964 года приговор Ленинградского областного суда от 11 сентября 1936 года был отменен и Сысоев Анатолий Дмитриевич реабилитирован.

И вот получена из архивного дела Управления КГБ по Ленинградской области папка, а в ней изъятые при аресте Сысоева рукописи, различные бумаги, а также служебное удостоверение литературного сотрудника «Крестьянской правды» — «органа Ленинградского областного комитета ВКП(б) и Областного исполкома Советов».

Из сохранившихся в деле материалов можно определить, что Анатолий Сысоев происходил из дворянства (что само по себе могло навлечь на него преследования), учился в Ленинградском университете, знал восточные языки, переводил с персидского Фирдоуси и других поэтов, однако, в силу каких-то, неизвестных нам, но несомненно типичных для тех времен обстоятельств, вынужден был занятия аспиранта Института востоковедения АН СССР сменить на перо рядового сотрудника сельскохозяйственной газеты.

Подтверждала ли статья 58-10 какие-либо преступления Сысоева перед государством?.. Безусловно, нет. Но с точки зрения закона, а вернее беззакония сталинских времен, вина его была доказана прежде всего тем, что содержалось в литературных рукописях, заметках, бумагах, обнаруженных при обыске. В них высказаны крамольные мысли. И потому-то красный карандаш следователя с таким тщанием и усердием подчеркивает, обводит, отчеркивает все то, что является «криминалом».

Длинные узкие розовые листки. На них торопливым почерком записаны отдельные фразы. О таких иногда говорят: «мысли на ходу».

«Надо, чтобы у власти стояла не партия, а люди, человечество... Член партии — узкий человек уже по одному тому, что он идет за кем-то, что подчиняется кому-то, живет мыслями и помыслами не своими... Не обязательно быть членом партии, но обязательно быть человеком здравого смысла, по-своему смотрящим на жизнь, умеющим видеть в ней хорошее и плохое, помогающим хорошему и ненавидящим плохое». Размышляя о прошлом государства, Сысоев замечает: «Российский пролетариат слабый, а сделал революцию». Эту революцию характеризует как «бунт Пугачева».

Это ли не крамола, это ли не криминал с точки зрения того, кто в одном из служебных кабинетов Большого дома выбивает показания очередного подследственного?..

Работая в «Крестьянской правде», Анатолий Сысоев, разумеется, был не только ее корреспондентом, но состоял также и в числе тех, кого то «бросали на посевную», то на «заготовки» и прочие кампании. Отрывочные его заметки, отобранные при обыске — это своего рода дневниковые записи. Они говорят о многом.

«...Я брал списки налогоплательщиков и собирался: одевал шинель со знаками отличия, пристегивал пустую закрытую кобурку и шел по избам. Крестьяне, испуганные моим внушительным видом, несли последние копейки. Я видел, я знал, что беру пос-

леднее, способное продлить его жалкую безрадостную жизнь. И я брал безжалостно, брал, отмечая в списках и выдавая расписку в том, что взял. Брал не потому, что это мне было надо, брал не потому, что это тебе надо, а брал потому, что так партия сказала, партия послала меня брать, брать аванс во имя будущего, до которого не доживет человек, отдающий мне этот аванс. И я знал, что моя расписка в получении должна быть гарантией хорошего будущего, рожденного в слезах и в злобе тех, кому я даю расписку квитанционной книжки, расписки на будущее...»

Кто возразит, если сказать, что слова эти, мысли эти, положенные на бумагу больше полувека назад, звучат как сегодняшние?..

Человек честной души Анатолий Сысоев в своих творческих планах исходит из той реальной жизни, которую он наблюдал и узнал непосредственно. Напрямую.

«Я написал начало рассказа: о человеке, идущем со своего поля вечером. Человек устал. Он рад, видя окружающие его поля, результаты своего труда. Этого человека «раскулачили». За что? И вот после нескольких лет отбытки на строительстве Беломорканала, он вернулся на родину — один, без семьи, без родных. Его мысли. Его переживания».

В заметках Сысоева можно встретить слова о том, что он хотел бы побывать в Китае, в Персии — для востоковеда такое желание естественно. Но и это сейчас же берет «на карандаш» (красный!) рука следователя: Китай?.. Персия?.. Капиталистическое зарубежье?.. Это уже улика. Да еще какая!

Анатолий Сысоев — живой свидетель эпохи. Его записи в глазах сталинских ищек являлись превосходным обвинительным материалом, вполне достаточным для того, чтобы осудить арестанта за «антисоветскую пропаганду и агитацию». Сюда же, в его «дело», включаются и рукописи неопубликованных рассказов: «Человек, который молчит» и «Последняя ночь Василия Темникова».

О чем же рассказ «Человек, который молчит»? Уже само название открывает его смысл: человек мыслит, рассуждает, но все свои суждения таит в душе. Он вынужден таить, скрывать их; таково время, в которое он живет.

Действие рассказа протекает во время летних военных сборов. «Человек, который молчит» думает о том, как бессмысленно и нелепо растрчиваются силы, ум, энергия людей, которых отрывают от обыденной полезной работы, чтобы военкоматом был выполнен какой-то «план». И только. О командирах, которые заняты муштрой. «Человек, который молчит» слушает наставления

командира с тремя квадратиками на петлицах: «Спусковая тяга имеет следующие части...», но думы его обращены на другое. «А что если встать и спросить: зачем все это? И сказать о ненужности и пустоте занятия, сказать теплыми простыми словами о дикой и страшной бессмыслице, над которой они сидят и готовы просидеть всю свою жизнь!»

И опять толстая красная черта, проведенная рукой следователя, выделяет написанное. Хотя бы и записанное только для себя, все это, вся эта идея — армия не нужна, она убивает в человеке человеческое, обнаруживает: автор — пацифист. А в советской действительности пацифизма быть не может; он — порождение буржуазной идеологии. И стало быть враг.

Чем дальше, тем чаще ложатся на страницы рассказа следы красного карандаша. Герой рассказа Дьяконов с места, где проходит военное обучение, посылает письма жене.

«...я спорил, спорил от скуки, от какой-то тупой злости... лишь забыть бы о том, что вот придет командир и еще целый час будем ходить «гусиным шагом», а потом в течение четырех часов, как и каждый день, ложиться под команду: «лежа, тремя патронами, заряжай!» и щелкать без конца затвором, вставать и опять ложиться и щелкать...» Три красных черты проведены слева: это что же? не надо служить в армии?.. А быть может это символика: рассуждения вообще о казенщине, формализме в советской жизни?..

По тому, где сделаны пометки красным карандашом, можно проследить, к каким выводам должен был прийти следователь, читая и такие строки:

«Разве надо молчать тому, кто имеет что-то сказать? Говорить, говорить надо обо всем с беспощадной ясностью, спорить надо, бороться надо. В этом родится истина. Но смелости у нас нет, боимся дерзать...»

Дьяконов (в котором нетрудно узнать самого автора) говорит о революции 1917 года: «я приветствую начало, которое разрушило вековые устои порабощения человека человеком, развеяв темное и страшное, что стало неотвратимым роком над каждой маленькой жизнью... Но когда это начало облеклось в вериги (подчеркнуто красным!) обыденной жизни, оно во многом стало похожим на то, что казалось разрушенным. Только окраска стала другой. Смыть ее надо. Сбросить вериги — пусть в каждой мелочи идет истина в своей наготе».

За попытку в чем-то возразить начальству, сделать что-то более разумное, чем предписано нелепой казенной инструкцией, на Дьяконова накладывают дисциплинарное взыскание. «А ко-

миссар говорил... Из его длинных и скучных фраз, какими говорит официальная печать, я понял, что обвиняюсь в подрыве боеспособности части, что мое неисправление заведет меня далеко...»

Это уже звучало как угроза. И позже она осуществилась.

В другом рассказе — «Последняя ночь Василия Темкова» — центральная фигура — одинокий, разуверившийся во всем человек, неотвратно идущий к самоубийству; зримо тяжелая удушающая атмосфера середины 30-х годов, общая подавленность в условиях, когда террор — постоянная примета времени. «Кто я теперь? Разве я человек? Разве я имею будущее? Я — тень, которая стонет, призрак, который гниет и прячется от всех. Звери так не боятся друг друга, как я боюсь живого человека и люди боятся меня... Но разве я виноват?.. Я много прочитал книг о классовой борьбе, но о таких людях, как я, никто еще не написал. А нас много».

Кого — нас?.. Эти его слова остаются без ответа. Быть может, и даже наверное — тех, кто терзаем сомнениями и кто хотел бы вырваться из под гнета черных мыслей, но не имеет ни душевных сил, ни энергии, а главное — ясной цели.

Надо полагать, что Анатолий Сысоев поверял свои мысли не только бумаге, но и высказывал их. Для тех, кто превыше всего почитал «бдительность», этого оказалось сверхдостаточно, чтобы прилепить ему пункт 10 статьи 58-й. Ибо ведь мысли это были опасные. И хотя в СССР не было, подобно тому как в Японии, «Закона об опасных мыслях», но зато существовало Его Величество Беззаконие. Оно и вершило судьбы миллионов.

Приговор, вынесенный по «делу» А. Д. Сысоева, выглядел по тем временам мягко: 4 года лишения свободы с последующим поражением в правах на 2 года. Но это, может быть, потому, что не надо было господам следователям стряпать «липу», ибо высказываний, мыслей, содержащихся в изъятых заметках и рукописях, с лихвой хватало на то, чтобы назвать их автора преступником и осудить.

Письма, заметки, черновики рукописей... Их авторы, которые испытали на себе кровавый сталинский остракизм, — это не просто элементы биографии одного из миллионов, подвергшихся репрессиям. Они живые документы эпохи. Они — черточки того пунктира, который прочертил все двадцать пять лет царствования Сталин.

Захар Дичаров



**Елена
Михайловна
ТАГЕР**

1895 — 1964

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Тагер Елена Михайловна, 1895 года рождения, уроженка Ленинграда, еврейка, гражданка СССР, беспартийная, писательница, член ССП, проживала: Ленинград, кан. Грибоедова, д. 9, кв. 55

муж — данных нет

дочь — Тагер Мария Николаевна, 12 лет (в 1938 году), проживала: Ленинград, кан. Грибоедова, д. 9, кв. 55.

Арестована 16 марта 1938 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялась по ст. 17—58-8 (пособничество в совершении террористического акта), 58-11 (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления) УК РСФСР.

23 сентября 1938 года Военная Коллегия Верховного суда СССР приговорила Тагер Е. М. к тюремному заключению сроком на 10 лет с последующим поражением в правах сроком на 5 лет.

В 1951 году проживала: г. Бийск, ул. Гражданская, дом 15.
Вторично арестована 4 сентября 1951 года Управлением
МГБ по Алтайскому краю.

Обвинялась по ст. 17—58-8 и 58-11 УК РСФСР.

Постановлением Особого Совещания при МГБ СССР от 19 декабря 1951 года определено сослать на поселение в Северо-Казахстанскую область Казахской ССР под надзор органов МГБ.

Определением Военной Коллегии Верховного суда СССР от 3 марта 1956 года приговор Военной Коллегии Верховного суда СССР от 23 сентября 1938 года и Постановление Особого Совещания при МГБ СССР от 19 декабря 1951 году в отношении Тагер Е. М. отменены, и дело, за отсутствием в ее действиях состава преступления, прекращено.

Тагер Е. М. по данным делам реабилитирована.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Тагер Елена Михайловна (2.XI.1895, Петербург — 14.VII.1964, Ленинград) — прозаик, переводчик. Училась на ист.-филол. фак. Высших жен. (Бестужевских) курсов. В 1918—1922 служила в различных учреждениях. Первые стихи напечатала в 1915 в «Ежемес. журн.» и в студенческих литературных сб. («Арион» и др.) под псев. Анна Регат. Повести «Желанная страна» (1934) и «Праздник жизни» (1937) опубликованы в журн. «Крас. новь» и «Лит. современник»; цикл ее очерков вошел в сб. «Сквозь ветер» (1930), печаталась в журн. «Наши достижения», «Колхозник», «Резец» и др. Переводила произведения фольклора народов СССР («Якутский фольклор», «Долганский фольклор»).

Зимний берег: Л., 1929 и др. изд.; Поясок. (Л.), 1929 и 1930; Венчики-бубенчики. (Л.), 1930; Ревизоры: Рассказы. М., 1935; Повесть об Афанасии Никитине. Л., 1966.

СЛОВО О МОЕЙ МАТЕРИ

Моя мать, Елена Михайловна Тагер, родилась в Петербурге в 1895 году в семье служащего Николаевской железной дороги. С медалью закончила стаюнинскую гимназию, дававшую право преподавать в младших классах и поступила в Университет на филологический факультет. Но Университета не закончила, так как в 1916 году вышла замуж за поэта и студента Георгия Маслова, и через год уехала к родителям мужа в Мелекес под Симбирск, потому что ждала ребенка. Пришел 1917-й. Октябрьская

революция. Начинается гражданская война, и мать застревает на Волге. В это время происходит разрыв с мужем, который как сын офицера ушел с белыми и вскоре погиб от тифа. Пришло трудное время: родилась дочь, встал вопрос как и чем жить?! В Поволжье ужасающий голод. Вездесущие американцы оказывают помощь голодающим, организуют столовые, пункты раздачи продуктов.

Мать знала несколько языков, и американцы предложили ей работу в АРА — так называлось это американское предприятие. Мать отдается этому благородному делу со всей душой и со всей энергией. Но не зря говорят, что добрые дела наказуемы... За связь с американцами, да еще и за белогвардейца мужа мать выслали на пять лет на Север в Архангельск.

В Архангельске она работает экономистом на лесной бирже, много ездит по краю по лесозаводам. Север с его суровой красотой, магическим безмолвием и добрыми открытыми людьми, покорила мою мать навсегда.

В Архангельске родилась и я.

В двадцать восьмом году семья переезжает в Ленинград, и мать начинает литературную деятельность.

Я не критик, тем более не литературовед, поэтому не могу говорить о достоинствах и недостатках написанного ею. Хочу только отметить ее необычайную работоспособность: за довольно короткий срок — 6—7 лет — ею были написаны и изданы: две детские книжки, за ними — книги «Ревизоры» (рассказы) и «Зимний берег», собраны, переведены и изданы две книги северного фольклора — якутского и долганского, активным было и сотрудничество с журналами «Наши достижения», «Колхозник», «Фабрики и заводы», в которых печатались ее рассказы и очерки. Были написаны и почти подготовлены к печати еще две книги. Но работу над ними прервало большое несчастье — весной тридцать седьмого года умерла девятнадцатилетняя старшая дочь Елены Михайловны Аврора, студентка Горного института. Это надолго выбило мать из колеи, более полугода она не могла работать, а когда более менее оправилась от потрясения и вернулась к жизни и работе, ее арестовали. При аресте все бумаги и рукописи были изъяты и исчезли бесследно.

О чем мне хочется рассказать, так это о необычайной способности Елены Михайловны располагать к себе людей.

Круг ее знакомств был очень обширен, я думаю, не одна сотня. Остались ее записные книжки, битком набитые адресами и телефонами. Начиная от народного артиста СССР Аркадия Исааковича Райкина и трижды Героя Социалистического Труда

академика Якова Борисовича Зельдовича до книгоноши Саши и Анны Ивановны из прачечной.

Общительная, знающая, прекрасный рассказчик, жизнерадостная несмотря ни на что, мать притягивала к себе людей, и эти знакомства бывали очень интересными.

Из Архангельска она привезла долголетние знакомства с такими яркими людьми, как художник и писатель Севера Степан Николаевич Пейсахов; знаток северного фольклора сказительница былин и сказок актриса Ольга Эрастовна Озаровская, знаменитый полярный капитан Владимир Иванович Воронин.

Пейсахов — мой крестный отец. Мать считала, что вера в бога — дело совести каждого, но всякий русский человек должен быть крещеным.

Озаровская заразила мою мать любовью к фольклору, особенно к северному. Научила ее сказывать северным говором забавные сказки. Мать одевала старинный сарафан и шитый золотом кокошник и у нее это очень хорошо получалось. Увлечшись этим, она написала пьесу «Василий Буслаев» по мотивам былин.

Владимир Иванович Воронин, когда бывал в Ленинграде, навещал мать или приглашал нас к себе на ледокол «Ермак».

Я попробую перечислить друзей и знакомых Елены Михайловны, естественно, только тех, кого я видела в нашем доме и кого помню. Все они талантливые и очень интересные люди, видимо, и мать была человеком неординарным.

Прежде всего — Корней Иванович Чуковский. Мать рассказывала, что способствовала их близкому знакомству я. А дело было так. В Доме писателей им. В. В. Маяковского, что на улице Воинова, шел детский утренник. Ведущая объявляет: ...а сейчас, ребята, Корней Иванович прочтет свои стихи... И тут, в наступившей тишине раздался мой возмущенный голос: «Все пение да пение, чтение да чтение, а когда же будет едение?!» Корней Иванович прочел своего «Мойдодыра», сошел со сцены, поднял меня на плечо — я сидела в первом ряду — и понес в буфет, а сзади в шоке помчалась мать. Вот так это получилось! В хороших, дружеских отношениях мать была со всей семьей Чуковских: с Лидией Корнеевной, с Николаем и Мариной Чуковскими.

Когда в 1956 году мать после восемнадцати лет лагерей и тюрем вернулась, то около года прожила у Корнея Ивановича в Переделкино, и он с К. А. Фединым приложили максимум усилий для ее скорейшей реабилитации.

Очень хорошие, дружеские отношения были у матери с Самуилом Яковлевичем Маршаком. Он бывал у нас. Очень хорошо помню его несколько глуховатый голос и полноватую фигуру.

Запомнилась надпись на какой-то книге, а может быть фотографии. Не знаю, а теперь уж и никогда не узнаю, кто и по какому поводу написал:

...Однажды, отправившись в лагерь,
Разбили в лесу бивуак
Елена Михайловна Тагер
И левый попутчик Маршак...

Друзья и знакомые у матери были не только из литературных кругов. Хорошо помню Фотия Ивановича Крылова. Начальник ЭПРОНа (экспедиция подводных работ особого назначения), небольшого роста, худошавый с густым окающим говором адмирал. ЭПРОН занимался подъемом затонувших судов. Мать ездила на подъемы, а на один, здесь в Финском заливе, взяла меня. Поднимали пароход «Колывань», подорвавшийся на mine в девятнадцатом году. ЭПРОН, как всегда, сработал отлично. Обе части «Колывани» подняли и отбуксировали в Кронштадт. Присутствовавшую на подъеме группу писателей на берег в Кронштадт не пустили — не было пропусков. Эпроновцы народ гостеприимный, стали думать, чем развлечь гостей и предложили всем, кто пожелает, спуск под воду. Вызвались трое: Бруно Ясенский, Самуил Яковлевич Маршак и кто-то третий. Бруно и третий с этим делом справились легко. Маршака же, во-первых, с огромным трудом затолкали в водолазный костюм, а, во-вторых, к полному изумлению всех присутствующих он начал надуваться и как огромный поплавок кружить по поверхности воды. Тут поднялся невообразимый шум. Все, считая себя крупными специалистами в водолажном деле, начали подавать полезные советы, крича один громче другого, как будто Маршак мог их услышать. Самуил же Яковлевич продолжал безмятежно кружить по поверхности. Наконец его подтянули к борту и общими усилиями вытащили. Маршаку очень понравилось морское дно, о чем он, к моему удивлению, и сообщил через пару дней в «Ленинских искрах». С тех пор я питаю глубочайшее уважение к журналистике.

Александр Прокофьев, Константин Федин, Виталий Бианки, Николай Тихонов, Самуил Алянский, Всеволод Рождественский, Виктор Шкловский, репрессированный художник и режиссер Сергей Радлов, расстрелянный, известный всему Ленинграду блистательный острослов и выдумщик переводчик Валентин Стенич, профессора русской словесности, литературоведы — милейший Борис Михайлович Эйхенбаум и Виктор Максимович Жирмунский, отсидевший свой срок на Колыме Юлиан Григорь-

евич Оксман, всеми любимый обаятельный Евгений Львович Шварц, наконец Анна Андреевна Ахматова и многие, многие другие. Я перечислила только тех, кто бывал у нас, к кому вхожа была моя мать и кого я хорошо помню. Кроме них у матери было громадное количество друзей и знакомых с менее громкими именами, но заслуживавших не меньшего уважения.

Анна Андреевна Ахматова в черные для себя времена поздними вечерами, стараясь, чтобы ее не видели соседи, приходила к матери. Высокая, худая, в черном пальто и черной шляпе, в ярко-красном шарфе с очень бледным пронзительным лицом, она производила на меня какое-то колдовское впечатление своей величавой нищетой и гордой одухотворенностью. Дружбу с А. А. мать сохранила до последних своих дней.

Несколько раз мать брала меня с собой к А. Н. Толстому в Детское Село. Мне очень нравились эти поездки, так как обратно Толстой отправлял нас на машине.

Особенно хочется вспомнить о большой дружбе Елены Михайловны с Иваном Сергеевичем Соколовым-Микитовым. Было время, когда мы жили у них в Гатчине, а они у нас в Ленинграде, жили одной большой семьей.

Я назвала имена людей, которые оставили свой значительный след в русской культуре, литературе, искусстве. И если им было интересно и необходимо общение с моей матерью, то можно заключить, что ее личность, как человека и литератора, была незаурядной и что последующие события погубили талантливого человека.

В марте трижды проклятого тридцать восьмого года в двенадцатом часу ночи раздался роковой звонок и у наших дверей, звонок, вычеркнувший восемнадцать самых активных лет из жизни моей матери.

Прошло пятьдесят с лишним лет, но помнится все отчетливо. Громадный черный фургон подогнали вплотную к подъезду. Целую мать и передаю ей собранный бабушкой узелок, заглядываю в фургон. В нем тесно-тесно сидят безмолвные фигуры с тоской на серо-синих лицах. В фургоне синяя лампочка. Потеснились, уступив место, дверь захлопнулась, и наши судьбы разошлись. Мать в расцвете сил, ей сорок два. А мне двенадцать, бабушке — семьдесят пять...

Сейчас много пишут и говорят о сталинском произволе, необоснованных репрессиях, о пытках и избиениях, расстрелах без суда и следствия. Не буду повторяться. Через полный комплект унижения человеческого достоинства прошла и моя мать, но осталась человеком с незапятнанной совестью.

Мать была арестована вместе с группой ленинградских писателей, обвинявшихся в контрреволюционной деятельности и терроризме — пресловутой пятьдесят восьмой с подпунктами...

В группу, кроме матери, входили поэт Николай Заболоцкий, прозаик Георгий Куклин, литераторы Бенедикт Лифшиц, Юлий Берзин, Степанов и другие. Имя Заболоцкого говорит само за себя. Егор Куклин был талантливый молодой человек, женившийся накануне ареста. У Берзина летом родился единственный долгожданный сын, и он был тогда безмерно счастлив.

Самого Лифшица я помню плохо, но прекрасно помню детские праздники, которые устраивались в их доме. Все приглашенные дети одевались в костюмы индейцев: головные уборы из перьев, раскрашенные лица, бахрама, луки, стрелы. Выходили на «тропу войны» и в восторге переворачивали всю квартиру... Наверное, Лифшицы были хорошие люди.

Вся группа была осуждена, почти все погибли в тюрьмах и лагерях, но совесть их осталась чиста — они никого не оклеветали. И К. А. Федин, и С. Я. Маршак, и Н. С. Тихонов не пострадали, хотя следствие упорно выбивало показания именно на этих людей.

Мать не любила рассказывать о своих мытарствах в тюрьмах и лагерях. Но меня мучил вопрос, как же такая разумная и принципиальная женщина могла подписать этот бредово-чудовищный вымысел?! «Знаешь, — сказала мать, — когда нас привели на очную ставку и я увидела их, избитых, перемолотых, на грани сумасшествия, я поняла, что единственный, быть может, шанс на спасение — безоговорочно и скорее подписывать обвинение». Мать не били, ей просто несколько суток не давали спать... И здесь мы им не судьи, не имеем права их осуждать.

И еще один случай повлиял на ее решение. Однажды, когда ее вели на очередной допрос по коридорам Большого дома, навстречу шел старший офицер НКВД, в котором она, к своему изумлению, узнала коменданта Смольного, при котором произошло убийство С. М. Кирова. Мать была членом правления писателей кооператива и по делам надстройки на кан. Грибоедова часто бывала в Смольном и оформляла пропуски именно у этого коменданта. Так что спутать его ни с кем не могла. «Я, как прозрела, — сказала она, — ведь по логике вещей кто-кто, а уж комендант, осуществляющий охрану Смольного, должен был ответить первым. А тут?! Преуспевающий, в больших чинах! Ясно, что все это не случайно, все спланировано».

Мать поняла, что сопротивляться этому Молоху бесполезно, да и выше человеческих сил. И она подписала обвинение и получила десять лет лагерей с конфискацией имущества.

Оглядываясь на прошедшее, вспоминая общительность Елены Михайловны, ее дар привлекать к себе людей, ее добросердечность, желание помочь и ободрить в трудную минуту, понимаешь, что человеколюбие в то страшное время не могло пройти даром, и судьба матери была predetermined. Вот пример. Возвращаясь из Коктебеля, мы задержались на несколько дней в Москве. Ждали посылку с теплыми вещами. В Ленинграде было холодно, а мы были одеты по-летнему. Так вот, остановились и жили эти дни мы у поэта Николая Клюева — «кулацкого поэта»! Катали нас на своей спортивной машине и показывал Москву Борис Пильняк — «враг»! А билетами на «Красную стрелу» (у матери не было ни гроша) снабдил редактор «Известий» Вронский — опять же «враг»! Так сказать, один «враг» другого!

Бывали развлечения и в лагерях... После войны мы на какое-то время потеряли друг друга из виду. Летом сорок шестого я проездом оказалась в Ленинграде. Остановилась у подруги — подходил срок родов. Здесь, на Невском, меня каким-то чудом обнаружила старинная мамина приятельница Любовь Васильевна Шапорина, жена композитора. Все годы она поддерживала с Еленой Михайловной переписку. Каким образом она обо мне узнала, тайна. Кто-то, где-то видел, кто-то, кому-то сказал... Факт тот, что она появилась и найдя меня целой, невредимой и замужней, отправилась на почту и дала на Колыму телеграмму следующего содержания: «Маша Ленинграде родит конце июля».

Каково же было изумление матери да и всего сообщества, когда она получила сообщение о том, что «Маша Ленинграде родит кошке Колю...». Мать рассказывала, что целую неделю весь лагерь вместе с начальством был занят расшифровкой, думали-гадали, что бы это могло значить?! И все-таки, каким-то седьмым чувством поняли, что в «конце июля». Неисповедимы почтовые чудеса!

Отбыв десять лет на Колыме, мать не имела права ехать в центр России и оказалась на Алтае в Бийске. Там мы увиделись летом сорок девятого. Через некоторое время она вновь была арестована, просидела около трех лет в тюрьме, а потом выслана в тьмутаракань — в Северный Казахстан.

После XX съезда партии дело было пересмотрено, и в 1956 году Елена Михайловна вернулась к жизни, получив справку Верховного Суда СССР о том, что «За отсутствием состава преступления дело прекращено».

Так вместе со здоровьем ушли восемнадцать самых активных лет.

Вернувшись к нормальной жизни, Елена Михайловна полная идей и планов, с необычайной жадностью берется за работу. Дополняет и переиздает сборник «Зимний берег», пишет для Детгиза книжку «Афанасий Никитин», рассказы и, наконец, принимается за большой исторический роман о Жуковском и декабристах. Роман в целом был написан, оставались детали. Была задумана книга о сталинском произволе, о лагерях и тюрьмах, о людях безвинно томившихся в них. Чтобы написать эту книгу, надо было мысленно пережить все заново, но на это уже не хватило сил ни душевных, ни физических.

Смерть Елены Михайловны летом 1964 года поставила на всем точку.

Вспоминая свою мать, я должна вспомнить и людей, которые из уважения и из дружеских чувств к моей матери не боялись помогать нам в то страшное время. Нам — это семидесятипятилетней бабушке и двенадцатилетней мне, оказавшимся без всяких средств к существованию. Их было много, этих добрых людей. Особенно хочется вспомнить семью Ивана Сергеевича Соколова-Микитова, Нину Николаевну Сорокину, жену редактора Ленгиза Г. Э. Сорокина, впоследствии погибшего в лагерях. И, конечно, Зою Александровну Никитину, мать ныне известного артиста Михаила Казакова. В годы войны она была директором Литфонда. В октябре сорок второго она сочла возможным вытащить меня полуживую из блокадного Ленинграда в литфондовский детский лагерь под Пермь. Добрым словом хочется вспомнить Марину Чуковскую, начальника этого детского лагеря, в котором меня отогрели и откормили так, что уже в марте сорок третьего я смогла уйти добровольцем в действующую армию.

И в сталинское время было много смелых, честных и добрых людей. Низкий поклон их памяти.

Мария Тагер



**Даниил
Иванович
ЮВАЧЕВ-
ХАРМС**

1905 — 1942

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Ювачев-Хармс Даниил Иванович, 1905 года рождения, уроженец Ленинграда, русский, беспартийный, член ССП, проживал: Ленинград, ул. Маяковского, д. 11, кв. 8.

Арестован 23 августа 1941 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 58-10 ч. 2 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда).

Заключением судебно-психиатрической экспертизы от 2 сентября 1941 года признан психически больным.

Постановлением Военного Трибунала войск НКВД ЛВО от 7 декабря 1941 года направлен в психиатрическую больницу на принудительное лечение, где и умер 2 февраля 1942 года.

Постановлением Прокурора Ленинграда от 25 июля 1960 года уголовное дело в отношении Ювачева-Хармса Д. И. прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Ювачев-Хармс Д. И. по данному делу реабилитирован.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Хармс Даниил; печатался также под псевд. Я. Баш, Д. Шардам, Карл Иванович Шустерлинг, Дандан, Иван Топорышкин, писатель Колпаков, Анатолий Смушко (настоящее имя Ювачев Даниил Иванович) (12.01.1906, Петербург — февраль 1942) — детский писатель. Сын народовольца И. П. Ювачева, многие годы отбывавшего заключение в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях и высланного затем на Сахалин, автор книги «Петропавловская крепость», «Восемь лет на Сахалине», «Через два океана». Д. Хармс учился в электротехн. ин-те, но оставил его и занялся литературой. В 1927 написал пьесу «Елизавета Бам». Переводил В. Буша. Был активным сотрудником журн. «Чиж» и «Еж». При жизни вышло 11 книг. В послевоенные годы они неоднократно переиздавались, в журн. «Дет. лит.» (1966, № 2) опубликован рассказ Д. Хармса «Профессор Трубочкин».

О том, как Колька Панкин летал в Бразилию, а Петька Ершов ничему не верил. М.— Л., 1928 и др. изд.; Озорная пробка. М.— Л., 1928 и 1930; Театр. М., 1928; Во-первых и во-вторых. М.— Л., 1929; Иван Иванович Самовар. (М.); О том, как старушка чернила покупала. М.— Л., 1929; Игра. М., 1930 и 1962; О том, как папа застрелил мне хорька. М., 1930; Миллион. М., 1931; Лиса и заяц. Л., 1940; Веселые чижи. М., 1965 и 1966.— В соавт. с С. Маршаком; Что это было? М., 1967 и 1976; 12 поваров. М., 1972; Иван Иванович Самовар; Иван Топорышкин: Скороговорка. Л., 1973; Принти-прам: Кукол. представление по стихотворениям Д. Хармса в 7-ми карт. Подгот. Н. Гернет. М.: ВААП, 1977; Загадочные картинки. М., 1980.

ЧЕЛОВЕК С АБСОЛЮТНЫМ ВКУСОМ И СЛУХОМ

Слова, вынесенные в заголовок, принадлежат С. Я. Маршаку и сказаны они им о Данииле Хармсе в 1963 году, когда о писателе почти все уже забыли. Издательства, по крайней мере. Но в 1967 году «Малыш» выпустил совсем даже не «малышовскую» книгу стихов, прозы и переводов Хармса «Что это было?» и тем положил начало возвращению его в литературу.

Даниил Иванович Ювачев родился в Петербурге 17 (30) декабря 1905 года. Его отец, Иван Павлович, морской офицер, состоял в военной организации партии «Народная воля», за что в 1883 году был арестован и приговорен к 15 годам каторги. Поначалу он находился в Петропавловской крепости, потом — в Шлиссельбургской, после чего его сослали на Сахалин. Там он

встречался с А. П. Чеховым. В 1895 году И. П. Ювачева освободили, и в 1899 году он вернулся в Петербург. Здесь в 1901 году под псевдонимом И. П. Миролубов вышла его первая книга «Восемь лет на Сахалине». Позже, уже под своим именем, он выпускает автобиографические книги «Паломничество в Палестину», «Шлиссельбургская крепость», «Война и вера» и др.

Эти достовернейшие книги сблизили его с Львом Николаевичем Толстым. Вот один из откликов на его присылку новых изданий:

«Вчера вечером прочли вслух «Шлиссельбургскую крепость» и «Монастырские тюрьмы»,— писала Ивану Павловичу 1 марта 1906 года С. А. Толстая.— По мере того как читали, Лев Николаевич неоднократно говорил: «Как хорошо пишет» или «Как просто, как прочувствованно» и все в этом роде... Когда будете близко от Ясной Поляны, заезжайте опять к нам, будем все вам рады. Еще раз спасибо за все присланное. Софья Толстая».

Отец был щедр на устные рассказы, и Даня в детстве заслушивался множеством его фантастических историй о заморских странах («Через два океана»), о его «путешествиях» по тюрьмам и ссылкам.

Даня учился в Петершуле — Главном немецком училище св. Петра, где преподавание велось на иностранных языках. А когда семья переехала в Детское Село, — в школе 2-й ступени, которую закончил в 1924 году. Поступил было в электротехнический техникум, но вскоре бросил. Его уже увлекла литература.

В середине 20-х годов в Петрограде известный поэт той поры А. В. Туфанов, последователь акмеистов, отличающийся от них по его же формулировке «звуковой ориентацией», собрал у себя небольшую группу поэтов, которые называли себя «заумниками». Стал ходить к ним и Даниил Ювачев. Вскоре в «орбиту» Туфанова попал Александр Введенский. Новички тут же подружились, ушли от заумников, выработали платформу «двоих». Вступив в Союз поэтов, они напечатали в сборниках по два стихотворения. То были первые и единственные публикации «взрослой» поэзии Даниила Хармса.

Эти стихи попались на глаза группе энтузиастов Института истории искусств, среди которых были Борис Левин и Игорь Бахтерев, мечтавшие о «новом театре». Студенты пригласили Хармса и Введенского в свой театр как авторов. Началась работа над пьесой «Моя мама вся в часах». И хотя спектакль не состоялся, опыт они приобрели.

Каких только псевдонимов он себе не придумывал в ту пору — Даниэль Шармс, Гармс, Я. Баш, Д. Шардам, Дандан. Сюда следует

добавить его журнальных — в скором времени — персонажей: Ивана Топорышкина, умную Машу, Карла Ивановича Шустерлинга, писателя Колпакова, профессора Трубочкина и проч.

Но чаще всего его публикации выходили под именем Хармс. Так он и стал Даниилом Хармсом. Что было закреплено и в паспорте.

Вскоре к группе присоединились Николай Заболоцкий, только что отслуживший действительную службу в армии, и Константин Вагинов, поэт уже можно сказать маститый, выпустивший три сборника поэзии и прозы, творчество которого они чувствовали близким себе.

Все были людьми очень разными — человечески и творчески, и объединяло их не единообразие платформы, а общность восприятия искусства вообще, и искусства поэзии в частности. Своим почетным и вечным председателем они хотели было «назначить» Велемира Хлебникова, которого все считали своим учителем, но кто-то возразил а почему бы не Пушкина? Так они и остались без председателя.

На одной из встреч решили выработать манифест. Назвались Объединением реального искусства (ОБЭРИУ). «У», — говорили они, — для веселья и чтобы не получилось очередного «-изма». Вскоре журнал «Афиша Дома печати» опубликовал их манифест: «ОБЭРИУ ныне выступает, как новый отряд левого революционного искусства. ОБЭРИУ не скользит по темам и верхушкам творчества, оно ищет органически нового мироощущения в подходе к вещам. ОБЭРИУ вгрызается в сердцевину слова, драматического действия и кинокадра...» «В момент действия предмет принимает новые конкретные очертания, полные реального смысла. Действие, перелицованное на новый лад, хранит в себе «классический» отпечаток и в то же время представляет широкий размах обэриутского мироощущения».

И тут же объявлялось о театрализованном вечере обэриутов «Три левых часа», который должен состояться 24 января 1928 года и на котором в первый час объявлялась «Декларация Обэриу» и читали стихи К. Вагинов, Н. Заболоцкий, Д. Хармс, И. Бахтерев и А. Введенский, а во второй — представлялась пьеса Хармса «Елизавета Бам», третий час — «вечернее размышление о кино».

Объединение начало свою активную деятельность. Не отказывались ни от одного приглашения, ставили спектакли, давали вечера поэзии.

«Хармс — в актерском пиджаке, застегнутом у самого подбородка, под которым был аккуратно расправлен детский шелко-

вый шарф,— вспоминает Вениамин Каверин об одном таком выступлении поэтов в Институте истории искусства.— Даниил Хармс, немного грустный, слегка загадочный, костлявый, очень высокий, прочел отрывки из драматической поэмы «Елизавета Бам», я оценил ее оригинальность. Но в тот вечер я ничего не понял. Потом Введенский прочел несколько стихотворений, и «Елизавета Бам», в свою очередь, показалась произведением, в котором, хотя не без труда, можно разобраться».

На другое выступление обэриутов в Кружке друзей камерной музыки пришли редакторы Детского отдела Госиздата Евгений Шварц и Николай Олейников. Они предложили всем переключиться на писательство для детей. Отказа не последовало. Заболоцкий, Хармс, Введенский, Левин вскоре стали популярнейшими детскими писателями.

В только что начавшем выходить ежемесячном журнале для детей младшего школьного возраста «Еж» одно за другим начинают печататься произведения Даниила Хармса. Уже в первом номере — «Иван Иванович Самовар», во втором — «Рассказ о том, как Панкин Колька ездил в Бразилию, а Ершов Петька ничему не верил» и тут же — «Иван Топорышкин». Издаются и отдельные его книжки: «Театр» (1928), «Озорная пробка» (1928), «Во-первых и во-вторых» (1929), «О том, как старушка чернила покупала» (1929), «Игра» (1930), «Миллион» (1931) и др.

«Хармс умел и любил поиграть словом,— пишет Н. Халатов, исследователь творчества писателя, собравший сборник «Что это было?» (1967),— тут у него просто не было соперников. Лишь сами дети в чем-то могли поспорить с ним по части озорной словесной игры». Корней Чуковский уже в ранних изданиях книги «От двух до пяти» (Л., 1933) писал, что Хармс возводит «словесное озорство в систему и благодаря ему достигает порою значительных, чисто литературных эффектов, к которым дети относятся с беззаветным сочувствием. Нужно видеть, каким восторгом встречают они его эстрадные выступления с таким стихами». Он приводит образы их в «Заповедях детским писателям» как пример поэзии для малышей.

Действительно, «словесное озорство» у Хармса переходило в игровую стихию. «Игрой» названо и одно из лучших его стихотворений для детей. Эта «игра» продолжалась и в жизни. Художник Б. Семенов, тогда еще студент, живший неподалеку от Хармса, записал весьма образно его портрет той поры: «Пристальное любопытство вызывал загадочный человек, вид которого просто мучил воображение. Все было в нем интересно — прекрасное строгое лицо, и красивая массивная трубка, и даже

соломенное канотье с широкой черной лентой,— на другом человеке эта шляпа выглядела бы просто смешно. А как ладно сидел на нем необычный костюм, предназначенный для дальних странствий: серая куртка с большими карманами, двубортный жилет и короткие брюки, заправленные в клетчатые чулки. Туфли у него были на толстой подошве, но не шикарные, на белом, как свиное сало, каучуке, а просто рассчитанные на любые каверзы погоды. Я заметил у него еще карманные часы величиной с блюдечко для варенья — они держались на цепочке, увешенной брелоками. Нарядный галстук выглядывал из-под стоящего воротничка «Альберт» и был заколот булавкой в виде скарабея... Иногда он шагал навстречу, ведя на поводке собачку, похожую на заводную игрушку... И однажды я наконец отважился: «Простите, как зовут вашу собачку?» — «Пожалуйста.— Он приподнял потертую соломенную шляпу.— Ее зовут Чти-память-дня-сражения-при-Фермопилах...— И поглядел на меня юмористически-сочувственно.— А как же...— А так, очень просто. Когда мы куда-нибудь торопимся, я зову ее сокращенно: «Чти» или даже фамильярно: «Шти!» — При этих словах собака ослабилась и посмотрела на меня с веселым любопытством».

Но это была вовсе не игра. Таков был образ жизни — в бытие и в слове. Или, как писал он сам в письме актрисе ленинградского ТЮЗа К. Пугачевой от 16 октября 1933 года, «когда я пишу стихи, то самым главным кажется мне не идея, не содержание и не форма, и не туманное понятие «качество», а нечто еще более туманное и непонятное рационалистическому уму, но понятное мне, и надеюсь, Вам, милая Клавдия Васильевна. Это — чистота порядка. Эта чистота одна и та же в солнце, траве, человеке и стихах. Истинное искусство стоит в ряду первой реальности, оно создает мир и является его первым отражением».

Но тут началось наступление педологов на детскую литературу, и в особенности на ее ленинградский отряд во главе с С. Я. Маршаком и К. И. Чуковским. Сказку посчитали вредной для детей, уводящей их от революционной действительности; «стихи-сценки и рассказы-игры» — за пустое времяпрепровождение. Вопрос заострился до того, что возник спор, нужна ли детская литература вообще. Хармса, как впрочем и Введенского, и Житкова и прочих упрекали в скудости литературных приемов, в том, что они ведут литературу назад, к старине. Максим Горький ответил критикам двумя статьями: «Человек, уши которого заткнуты ватой» и «О безответственных людях и детской книге наших дней». 9 мая 1929 года Детский отдел ГИЗа направил письмо А. В. Луначарскому. Подписали его С. Маршак, Н. Заболоц-

кий, К. Чуковский, Д. Хармс, А. Введенский, В. Каверин, Е. Шварц, Н. Олейников и другие.

В феврале 1931 года состоялась Первая Всероссийская конференция по детской литературе, а чуть позже вышел критический сборник «Детская литература» под редакцией А. В. Луначарского, в котором подводились некоторые итоги дискуссии, пересматривались многие оценки. Уже в предисловии к сборнику Луначарский замечал, что веселость детской книги «очень уж пустая, можно сказать, формалистического порядка. Побед у нас здесь очень мало», и отмечал, что «тут приходится считаться» лишь с Маршаком и Хармсом.

И, однако, несмотря на конференцию, положительные отзывы, заступничество Горького, травля детской литературы и детских писателей продолжалась. Под самый новый, 1932 год были арестованы Хармс, Введенский, художница Е. Сафонова, оформлявшая их книжки, и почему-то А. Туфанов. Обвинялись они ни много ни мало в «антисоветской деятельности в детской литературе». Правда, через полгода всех выпустили.

И тем не менее этот арест сыграл роковую роль в судьбе Даниила Хармса. Он продолжал писать для взрослых и детей, сотрудничал во вновь возникавших (и вскоре исчезающих) журналах для детей: «Маленькие ударники», «Октябрюта», «Сверчок». Отдельными изданиями выходили его книжки. Но в 1933 году был рассыпан набор уже готовой книги стихов Н. Заболоцкого, в 1937 году арестовали Н. Олейникова и некоторых других сотрудников Детского отдела ГИЗа. Перестали печатать и Хармса. «Погибли мы в житейском поле! Нет никакой надежды более. О счастье кончилась мечта. Осталась только нищета», — записал он в середине 1937 года.

Дня за два-три до начала войны Хармс пришел в гости к своему соавтору по некоторым детским вещам Нине Гернет. «Он был, как никогда, серьезен и углублен в себя, — вспоминала впоследствии писательница. — «Уезжайте, скорее. Уезжайте! — говорил он. — Война будет...» О том, чтобы уехать самому, он не помышлял. Я тогда, как многие, до последнего дня надеялась, что войны не будет, несмотря на грозные признаки. Но ему поверила. Мне всегда казалось, что Даниил Иванович знает и предвидит многое, чего еще не знаем мы...»

А вот свидетельство Л. Пантелеева: «Я видел Даниила Ивановича за два, за три дня до ареста. Я всегда знал, что он умен, его чудаковатость была маской, а шутком гороховым, каким его считали некоторые, он никогда не был. Мы пили в этот вечер дешевое красное вино, закусывали белым хлебом. Разговор шел

у нас главным образом о войне. Даниил Иванович верил, что немцев разобьют, и считал, что именно Ленинград — стойкость его жителей и защитников — решит исход войны». И тут в какой-то мере Хармс оказался пророческим. Как предсказал и свою гибель: «Первая бомба упадет на меня», — сказал он сестре в первый день войны. И действительно, в первых же налетах фашистской авиации на Ленинград был разрушен соседний дом, а его квартира сметена взрывной волной. Но сам Хармс этого уже не увидел. Его «бомба» прилетела с другой стороны. 22 августа он был арестован.

До недавнего времени считалось, что Хармс умер в Новосибирской тюрьме, куда была эвакуирована ленинградская. Но вот в интервью «Ленинградской правде», когда речь зашла о реабилитации невинно репрессированных, начальник Управления КГБ СССР по Ленинградской области вдруг рассказал о последних днях писателя: «Во второй раз Хармса арестовали..., когда в городе шла борьба с вражеской агентурой, паникерами, спекулянтами. Органы НКВД располагали сведениями об антисоветских и «пораженческих» разговорах, которые он вел (то есть на него последовал донос «доброжелателя» — *Е. Б.*). Однако состоялся только один допрос (на нем Хармс решительно отверг выдвигавшиеся против него обвинения), после которого проведена судебно-медицинская экспертиза. Хармс действительно был тяжело болен в последние годы. Он лечился еще в 1939 году, но улучшения не наступило. Об этом хорошо знали его близкие. (Ни в одном мемуарном очерке о Хармсе, ни в «Краткой хронике жизни и творчества Даниила Хармса» А. Александрова таких сведений нет. — *Е. Б.*) Судебно-медицинская экспертиза признала Хармса неменяемым, уголовное дело было против него прекращено, и его направили для принудительного лечения в психиатрическую больницу. Здесь он скончался 2 февраля 1942 года, разделив судьбу сотен тысяч ленинградцев, погибших в первую блокадную зиму».

В 1956 году Даниила Хармса реабилитировали. В 1962 году вышел первый его посмертный сборник из одиннадцати стихотворений для детей; в 1967 — второй, в который, помимо стихов, вошла проза и прекрасный вольный перевод «Плиха и Плюха» Вильгельма Буша. Так началось возвращение Хармса в литературу. Назову еще несколько изданий последних лет: «12 поваров» (М., 1980), «Стихи» (М., 1981), «Игра» (Барнаул, 1981); его стихи вошли в антологию детской поэзии «Оркестр» (М., 1983), его «проходят в школе» — в «Книгу для чтения в первом классе» (М., 1986) включено два его стихотворения.

Стали появляться в печати воспоминания о нем, его жизни, статьи о творчестве. И наконец, в 1988 году к нам пришел однотомник Хармса — «Полет в небеса. Стихи, проза, драмы, письма», где биографом и собирателем его творчества Анатолием Александровым опубликовано лучшее из написанного им.

Евгений Биневиц

ДОКУМЕНТЫ И СУДЬБЫ

Во вступительной статье к книге Даниила Хармса «Полет в небеса» (Л., 1988) я писал, что поэт умер в феврале 1942 года в тюремной больнице города Новосибирска.

Незадолго до выхода книги в «Ленинградской правде» было опубликовано интервью с В. М. Прилуковым, начальником Управления КГБ СССР по Ленинградской области, в котором он, ссылаясь на материалы архива КГБ, сообщил, что после ареста «судебно-медицинская экспертиза признала Хармса невменяемым, уголовное дело было против него прекращено, и его направили для принудительного лечения в психиатрическую больницу. Здесь он скончался 2 февраля 1942 года, разделив судьбу сотен тысяч ленинградцев, погибших в первую блокадную зиму».

Итак, Ленинград или Новосибирск?

Указывая Новосибирск, я опирался на письма жены Хармса Марины Владимировны Малич к Наталье Борисовне Шанько (жене артиста Антона Шварца), эвакуированной из Ленинграда в Пермь (эти письма хранятся в ЦГАЛИ).

Приведу выписки из писем.

Письмо от 22 августа 1941 года: «Даня получил II группу инвалидности. Живем почти впроголодь...»

1 сентября 1941 года: «Двадцать третьего августа Даня уехал к Николаю Макаровичу, я осталась одна без работы, без денег, с бабушкой на руках...»

М. Малич, пользуясь условным языком, понятным для адресата, сообщает об аресте Хармса. Николай Макарович — это друг Хармса и Шварцев Олейников, арестованный в 1938 году.

30 сентября 1941 года: «Я всеми силами души стремлюсь отсюда выехать... Одна моя мечта это уехать отсюда и хоть немножко приблизиться к Дане. Изредка вижу Яшку, а так больше никого. Леонид Савельевич пропал без вести — вот уже три месяца мы о нем ничего не знаем. Александра Ивановича постигла Данина участь... Я на всякий случай написала Вам Данин адрес, т. к. боюсь, чтобы он не остался в конце концов совсем один. Город Новосибирск, учреждение Вы знаете, Ювачеву-Хармс. Если

будет возможность, пошлите ему руб. 50 или 40. Если он уже доехал, это будет для него поддержкой».

В письме названы имена близких друзей Хармса. Яшка — Я. С. Друскин (1902—1980), философ, преподаватель математики, Леонид Савельевич — Л. С. Липавский (псевдоним Л. Савельев, 1904—1941), писатель, погибший в Петергофе. Александр Иванович — А. И. Введенский (1904—1941), писатель, арестованный осенью в Харькове.

Письмо без даты (штемпель 27.12.41): «...только что подтвердилось известие, что Дан. Ив. в Новосибирске. Если у Вас есть какая-нибудь материальная возможность, помогите ему, от Вас это ближе и вернее дойдет. Я со своей стороны делаю все возможное, но мне сложнее из-за дальнего расстояния... Адрес: Новосибирск, НКВД, тюрьма, заключенному Дан. Ив. от моего имени. Буду Вам бесконечно благодарна».

Из этих писем совершенно очевидно, что жена Хармса получила сведения об отправке мужа в Новосибирск. Она узнала об этом уже в сентябре, а в декабре была уверена, что он доехал до Новосибирска. Из другого источника мы узнаем, что Хармс никуда не был отправлен и умер в Ленинграде.

Попытаемся разобраться в этих противоречивых данных.

Что нам известно об аресте Хармса? Незадолго до него поэт получил II группу инвалидности. Основанием для этого, думаю, послужило свидетельство о психическом заболевании, выданное Хармсу в 1939 году в психоневрологической больнице, помещавшейся на 15-й линии Васильевского острова Ленинграда. Сейчас нам уже не выяснить, был ли Хармс действительно серьезно болен или же его болезнь — очередная артистическая мистификация, цель которой — получение охранной грамоты, спасавшей от насильственного отъезда «к Николаю Макаровичу».

В 1939—1941 годах Хармс по-прежнему занимался профессиональной деятельностью как детский писатель, печатался на страницах ленинградского детского журнала «Чиж» (кстати, последний номер «Чижа» в 1941 году заканчивался стихами Хармса).

В день объявления войны Хармс, по свидетельству сестры, сказал: первая бомба упадет на меня. Как понимать эти слова? Буквально? Действительно, одна из первых бомб упала рядом с домом Хармса. Или в переносном смысле — как предвидение неизбежной чистки жителей Ленинграда стальным гребнем НКВД в начале войны? Причины для опасения у него были серьезные. И самая главная из них — политическая судимость в 1932 году, из-за нее Хармс находился постоянно в поле зрения НКВД.

За несколько дней до ареста Хармса с ним встретился писатель А. И. Пантелеев. Об этой встрече он записал в дневнике:

«На Надеждинской встречаю Д. И. Хармса. Зовет к себе. Покупаем грузинское вино, белый хлеб (да, был еще в магазинах белый хлеб), идем к нему.

Неожиданно для себя узнаю, что Хармс увлекается («все эти два месяца») старинным русским церковным зодчеством. Оба стола в его комнате завалены монографиями, альбомами — Новгород, Киев, Суздаль, Ростов Великий... Впрочем, не так уж неожиданно.

Маленькая, юркая, красивая и умная Марина Владимировна — женщина героическая. Живется ей трудно. В шкафчике, заменяющем буфет, — шаром покати.

Даниил Иванович настроен патриотически. Не верит в окончательную победу немцев. Марина Владимировна считает, что немцы через неделю, самое большое через две — будут на улицах Ленинграда. Я спорить с ней не решаюсь. Хармс сердится и спорит.

— Если и войдут, через полгода их погонят.

Как всегда, мы с Д. И. много шутим. Помогает этому разливное самтрестовское вино.

Дня через два, рано утром, дворничиха Маша приносит мне повестку».

А. И. Пантелеев был вызван в паспортный отдел городского управления милиции, где лиц, имевших ранее судимость, лишали прописки, что означало высылку из города. В эти же дни и был арестован Даниил Хармс.

За два дня до его ареста в «Ленинградской правде» было опубликовано обращение «Ко всем трудящимся города Ленина», подписанное Ворошиловым, Ждановым и Попковым. В нем говорилось, что над городом нависла непосредственная угроза нападения фашистских войск. По принятому порядку все городские организации откликнулись на обращение, в том числе и органы НКВД. В день ареста Хармса 23 августа в «Ленинградской правде» в передовой статье заявлялось, что «священный долг каждого ленинградца помогать органам НКВД срывать маску со шпионов, диверсантов и их пособников».

Тот же Пантелеев пишет, возможно, опираясь на свидетельство жены Хармса, что в этот день «пришел к нему дворник, попросил выйти за чем-то во двор. А там уже стоял «черный ворон». Взяли его полуодетого, в одних тапочках на босу ногу».

Хармсу было предъявлено стандартное обвинение в «пораженческой» пропаганде (ст. 58, п. 10).

В уже упоминавшемся интервью В. М. Прилуков отметил, что «состоялся только один допрос (на нем Хармс решительно отверг выдвигавшиеся против него обвинения), после которого была проведена судебно-медицинская экспертиза».

При официальной встрече по поводу следственного дела Хармса один из работников КГБ мне сообщил, что Хармс с момента ареста и до 7 декабря 1941 года находился во внутренней тюрьме НКВД. Когда-то через эту тюрьму и больницу при ней прошли друзья Хармса Заболоцкий и Олейников.

В это время Марина Малич наводила справки о судьбе арестованного мужа. В свидании с ним ей было отказано. Вероятно, уже в конце сентября ей каким-то образом удалось узнать, что заключенные, признанные психически больными, вывозились из Ленинграда в Сибирь.

7 декабря 1941 года Военный Трибунал на основании заключения судебно-медицинской экспертизы освободил Д. Хармса от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрическое отделение больницы при пересыльной тюрьме (тюрьма № 2). Из этой тюрьмы заключенные вывозились из Ленинграда даже во время блокады *. Пересыльная тюрьма находилась неподалеку от Александро-Невской Лавры. Рядом с тюрьмой стоял дом, в котором в 1905 году родился Даниил Хармс. Круг замкнулся.

Отец Хармса, народоволец Иван Ювачев, свыше двадцати лет провел в царских тюрьмах, на каторге и под наблюдением полиции. Мать Хармса Надежда Колюбакина была начальницей «убежища для женщин», вышедших из заключения. В этом убежище, находившемся в тени тюрьмы № 2, родился Д. Ювачев. В день, когда ему исполнилось 26 лет, его первый раз арестовали по политическому доносу. Через десять лет — снова решетка.

Следственное дело Хармса заканчивается на документе о переводе его в пересыльную тюрьму. Страшно представить себе мучения Хармса — он испытывал голод как блокадник, унижения как заключенный, и как больной — всю тягость принудительного лечения в психиатрическом отделении тюремной больницы.

В отличие от тюрьмы № 1 (Центральная, «Кресты») в тюрьме № 2 заключенных долго не держали. В жестокие морозы их вывозили через Ладогу на Большую землю. Надо думать, что,

* Сколько ленинградцев было эвакуировано через Дорогу жизни? — Миллион с лишним; в том числе тюрьма и дом умалишенных. (Из частного разговора с бывшим начальником эвакуопункта в Борисовой Гриве Л. А. Левиным.) — Эпиграф к книге М. Дудина «Дорога жизни». (Лениздат, 1968).

как и при эвакуации жителей, потери были страшные. Мы не знаем, умер Хармс в пересыльной тюрьме или на одном из этапов по пути следования заключенных в Сибирь (Новосибирск). Известно лишь одно, что в тюрьму № 1 («Кресты») поступило сообщение о смерти 2 февраля Д. И. Ювачева-Хармса. Место смерти не указано.

Где бы ни умер Хармс, он был жителем города на Неве, жертвой трагических дней блокады. Американский журналист Харрисон Солсбери, находившийся во время блокады в Ленинграде, в своей книге воспоминаний сохранил нам отзыв друзей о Хармсе. Отзыв звучит как эпитафия: «Блестящий сатирик, философ готического настроения, правдивый писатель абсурда» *.

Анатолий Александров

* «Лит. газета» — 21.02.1990

Фотография
не
найдена

Давид Константинович ЧЕРТКОВ

1885 — ?

Архивно-следственное дело

Чертков Давид Константинович (Кусиелевич), 22 ноября 1885 года рождения, уроженец г. Витебска, еврей, гражданин СССР, преподаватель истории школы взрослых при фабрике «Скороход», проживал: Ленинград, ул. Пестеля, д. 8, кв. 5 (в 1957 году)

жена — Лапшина Берта Яковлевна, 48 лет (в 1938 году), детский врач, проживала с мужем.

Впервые был арестован 20 сентября 1920 года Чрезвычайной Комиссией по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией при Союзе коммун Северной области.

Обвинялся в принадлежности к Петроградской организации «Бунда».

Постановлением Петроградского ЧК от 23 сентября 1920 года Чертков Д. К. из-под стражи был освобожден ввиду недоказанности обвинения.

25 февраля 1921 года вновь был арестован Петроградской ЧК.

Обвинялся в принадлежности к «Бунду» (правому), а также в организации волнений на заводах.

7 июня 1921 года был освобожден.

Третий раз был арестован 31 октября 1921 года Петроградской ЧК.

Обвинялся в принадлежности к «Бунду».

10 ноября 1921 года был освобожден под подписку о невыезде.

Постановлением Президиума Петроградской ЧК от 4 декабря 1921 года дело в отношении Черткова Д. К. следствием было прекращено.

Последний раз был арестован 26 января 1938 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 58-10 (антисоветская агитация и пропаганда), 58-11 (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления) УК РСФСР.

Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 21 июня 1938 года определено содержание в ИТЛ сроком на 8 лет.

Постановлением Президиума Ленинградского городского суда от 29 июня 1957 года постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 21 июня 1938 года в отношении Черткова Д. К. отменено, и дело производством прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Чертков Д. К. по данному делу реабилитирован.

Чертков Д. К. родился в г. Витебске в бедной еврейской семье. Окончив городское училище, продолжал учиться, но из-за арестов ни гимназических, ни университетских экзаменов не сдавал.

В 1903 году в Витебске вступил в «Бунд», в котором состоял до 1920 года.

В течение ряда лет пропагандировал идеи социализма среди еврейских и русских рабочих в разных городах России.

В период с 1903 по 1909 год пять раз арестовывался.

Три года пробыл в ссылке в Архангельской губернии.

В 1905 году был тяжело ранен драгунами на рабочем собрании в лесу под г. Борисов: была перерублена правая рука.

В 1907 году был на Лондонском съезде РСДРП в делегации «Бунда».

С 1918 года по день ареста проживал в Ленинграде.

Осенью 1918 года поступил канцелярским служащим в Комиссариат снабжения и распределения Северной области и проработал там до весны 1919 года.

В 1919 году являлся Председателем Петроградской организации «Бунда».

С 1924 года по день ареста работал лектором по историко-культурным, бытовым, литературным и философским вопросам Ленинградского Политпросвета. Помимо этого последние три года перед арестом преподавал историю в рабочих школах среднего образования фабрики «Скорород» и др.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЧЕВИДЦА

21 января 1924 года умер Ленин. Друзья, соратники, сподвижники, знавшие его со времен «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», со времен сибирской ссылки и эмиграции, оставили нам множество словесных портретов и характеристик Владимира Ильича. Вероятно, каждая из них, если не в целом, то в чем-то, верна. Из сотен и тысяч увиденных и воскрешенных ими деталей мы составляем для себя единый, цельный портрет Ленина.

Однако развернутых описаний В. И. Ленина, сделанных до 1917 года, мы не знаем. По соображениям конспирации, а также потому, что он сам категорически восставал против какого-либо прославления своей личности, никто из его соратников, большевиков, ничего нигде о нем не публиковал. Впрочем, и после Октября, вплоть до кончины Ленина, этих описаний, воспоминаний, литературных портретов было не много. Литературных же портретов Владимира Ильича, созданных при его жизни, да еще за несколько лет до революции 1917 года, повторяю, мы не знаем. Считалось, что их нет.

А между тем такой портрет — существовал. О нем я и хочу рассказать. Под пером Давида Черткова мы видим Ленина таким, каким он и был когда-то, в начале века. Мы слышим живое слово свидетеля — без вымысла и пристрастия...

«...Море. Весенняя лунная ночь тихо веет над тихими зелеными волнами... На палубе не много пассажиров. Не слышен громкий говор, словно закралась в сердце тишина волн...»

Таким лирическим вступлением начинается одна из глав большого очерка «Встречи и думы (силуэты современников)», в значительной мере посвященная Ленину.

«Беседует группа пассажиров. Беседа давно началась и не видать, когда кончится. Все о том же: самом главном, самом важном, поглотившем все внимание, всю энергию мысли, воли».

Что же это — «самое главное, самое важное», сущность которого не раскрывает нам автор?.. Борьба. Революционная борьба народа и социал-демократов России с царизмом. Именно это подразумевают и последующие строки: «Идет борьба за свободу народную, и верится еще в неизбежность близкого прилива».

«Прилив», о котором здесь сказано, новая волна революционного подъема после 1905 года, особенно высоко поднявшаяся накануне первой мировой войны. Открыто сказать об этом, однако, нельзя. Строки написаны и напечатаны в России в 1914 году.

Но тот, кому адресовано написанное, марксист, социал-демократ, поймет, о чем идет речь. И он мог бы читать дальше:

«Как собирать силы, с кем идти, по каким путям,— тревожные вопросы волновали, жили, порождали неумолчные споры...»

И вот автор, волнуемый, так же как и его собеседники, этими вопросами, прежде всего мыслями своими обращается к Ленину.

То, о чем он пишет, еще свежо в его памяти. Море, что вызывает в нем столь поэтические образы, это Северное море, по волнам которого плывут из Брюсселя в Лондон делегаты V съезда РСДРП. Время действия 1907 год.

Съезжаются в столицу Великобритании подпольщики из Питера и Москвы, с Урала и Украины, едут посланцы Польши, Литвы, Латышского края... И направляются туда же люди революционной эмиграции, разные люди: и те, кто с Лениным, и те, кто против него. Цюрих, Женева, Париж, Брюссель...— пестра карта их обитания.

Впрочем, где бы они ни жили — кто из них не слышал о Ленине?

«Имя Ленина часто мелькало в спорах,— продолжает наш автор,— то в ореоле твердокаменного, неумолимо последовательного борца, то в темной тени заговорщика-бланкиста, не умеющего слиться воедино с творческим, самостоятельным самоосвобождающимся классом.

— Видали Ленина? Говорили с ним? Он здесь.

Сильно потянуло поговорить со знаменитым большевистским вождем. Беседа на палубе затянулась. Доводы спорящих казались неистощимыми. Текущий момент, ближайшие перспективы, очередные задачи, быстро мелькали знакомые, все знакомые слова и выражения. И думалось:

— Как ОН ответил бы, доказывал, разъяснял, что ОН возразил бы?

— Идем...

И мы спустились туда, где был Ленин.

— Вот,— многозначительно указал мне товарищ.

Сжавшись в комок, положив под голову руки, не то дремал, не то думал с закрытыми глазами тот, на кого товарищ указал мне.

— Сядем. Когда встанет — познакомлю...

«Тулин» — это было давно, когда марксизм только прокладывал себе путь в открытую русскую литературу. Печальна была судьба «Тулина»: написанное им было предано сожжению. Но не умер «Тулин». Из потухшего пепла выявилось новое лицо: в литературу вошел Илья Ильин... С замиранием сердца читали мы

первые марксистские книги. На столе моем, среди учебных руководств, лежали «Капитал», «Монический взгляд», «Наши разногласия» и «Развитие капитализма в России» Вл. Ильина.

В книге Ильина было много цифр, но какие веселые цифры! Целые горы вычислений, выкладок, подсчетов, но за этими горами виднелась заря. С захватывающим интересом читались страницы, извещавшие о вступлении России в цикл европейского развития. Была радость в сознании, что экономическая жизнь подрезала корни антитезы Россия и Запад, Россия становится Западом...»

Я чувствую, что читатель в нетерпении: кто же, кто пишет о Ленине в таком восторженном и в то же время в чем-то критическом тоне?..

Над заглавием очерка стоит имя «Владимиров Н.» Оно пока ничего нам не говорит, ибо это — один из псевдонимов автора. Псевдоним этот нам еще предстоит раскрыть. Но до этого обратимся вновь к очерку.

Встречи и думы

(Отрывок)

...Шли годы. Весенним цветом зацвела молодая Россия. В саду за круглым столом сидели мы, смелые, веселые и юношески уверенные, и читали «Что делать?» Ленина. Тулин-Ильин принял новое имя.

Когда Чернышевский учил, «Что делать?», у него было много слушателей, но мало соратников. У автора нового «Что делать?» каждый читатель был соратником.

Ликвидация так называемого «Третьего периода», периода «кустарничества» в деятельности российских марксистов, выдвигала на очередь дня сложные проблемы: создание дееспособного коллектива, роль и задачи профессиональной деятельности его. Ленин давал отчетливые планы, рисовал яркие идеалы сочетания Бебелей и Ауэров с героическими чертами представителей боевого народничества.

Книга Ленина создавала культ этих новых деятелей. Были горячие дискуссии... В пылу споров загоралось в сердцах желание быть теми и такими, каких рисовал Ленин.

Ленин был в первых рядах среди тех, кто звал, вел, смыкал ряды. Издалека его лицо казалось овечьим пороховым дымом.

— Капитан,— кричали ему во след дальнороркие.— Дым застилает вам глаза. Вы плохо видите.

— Капитан,— кричали во след наиболее чуткие,— вы оглушены боем. Вы плохо слышите.

Но Ленин неотступно шел впереди, по прямой дороге, рубя направо и налево, неизменно уверенный в неизбежности полной победы...

Лежавший не спал. Он открыл глаза и взглянул на нас, сидевших против него.

Мы познакомились. После минутного неловкого молчания разговорились. Беседа была все о том же — самом главном и важном, поглотившем все внимание и силы...

Я ожидал встретить резко отчетливую фигуру и ошибся.

Средний рост, темно-серый пиджак, темно-серое лицо, улыбается, и русско-деревенская хитрость и «себе на уме», пробежит по лицу.

— Сколько ему лет? — думалось... — Среднее, лет под сорок.

Обыкновенный вид. Что-то сухое, но жилистое в лице, в руках. Лицо молчит. Ни игры, ни певучести. В глазах нет блеска.

Говорит просто, и очень просто, — «по-товарищески» — в обращениях. «Я, как и вы». Не учитель среди учеников, а воин среди воинов, — в шеренге. Говорит, слушает, но мысль его, кажется, погружена в себя. Слова — короткие и звучат, как удары тупого ножа. Весь он будто скрыт и скроен на несговорчивый лад...

Многие дни и недели я встречался с Лениным, имея возможность приглядываться, прислушиваться к нему. Но первые впечатления не сглаживались, они углубились.

Мысль невольно наталкивалась на сопоставление Ленина с Плехановым.

Плеханов — великоросс, «барин», яркая и эффектная фигура. Развернутый талант. Ленин — без резких очертаний, талант свернутый, огонь его где-то скрыт глубоко.

Плеханов естественен в кресле с изящной узорчатой резьбой, Ленин — на простом деревянном табурете. Демократ...

Ленин не учит, как мудрец, не размышляет, не сомневается, как философ. Он знает одну истину и, не отвлекая своего внимания, служит ей, как фанатик.

Логика его прямолинейна, и оттого, когда он говорит, кажется, будто речь его катится по рельсам, положенным по ровному пути. Ни подъемов, ни спусков.

Когда Ленин стоит на трибуне, нападает или обороняется, он прирастает к своему месту. Втянет голову в плечи и несется, — говорит, говорит, сдержанно-страстно, убежденно.

Тогда чувствуется, сколько скрытого электричества в нем, в этом человеке.

Резолюции, поправки, поправочки к поправкам...— Ленин хочет быть последовательным во что бы то ни стало. Если факты жизни не последовательны, тем хуже для них. Ленин ошибаться не может.

Обаяние личности Ленина для его последователей в скрытой мятежности его натуры, в романтике его боевого фанатизма, в его энергии и уверенности безграничной.

Вспомним его «Что делать?», думалось: в нем больше от героев русского былого, чем от современных Бебелей и Ауэров. В эпоху российского «Sturm und Drang», на гребне исторической волны, подымись эта волна достаточно высоко, он был бы там, где требовался диктатор. Плеханов учил бы, указывал, предостерегал. Ленин, втянув голову в плечи, стоял бы на капитанском мостике, уверенный, что корабль идет и придет туда, куда он его ведет.

Музыка борьбы настоящего ближе, внятней сердцу Ленина, чем музыка будущего. В этом его слабость, в этом его сила.

Вот он ходит по залу, заложив руки в карманы; тихая «кошачья» поступь. По сторонам не глядит, раздумывает, будто готовится к нападению на невидимого врага. Подошли к нему..., улыбнулся, не застигнут врасплох; улыбка наружно приветлива, но еще больше замыкает лицо.

...Да, да, он понимает вас, но — «вы ошибаетесь». Оружие критики — доброе дело, но критика оружия — не надо лучше...

Вы не согласны? Вы предаете — сознательно или бессознательно (кто вас знает, недоверие — необходимая добродетель) — вы предаете великие интересы...

Снова ходит по залу мерными шагами...

Спокойный, ушедший в себя, упрямая, несгибаемая фигура. Немного от Робеспьера... Как воздух, ему нужно первенство, если не в Риме, то в большой деревне. Руль власти должен быть в его руках, ибо он уверен, что знает, куда и как вести...

Так вот каким видится Ленин автору этого литературного портрета. Ленин — перед V съездом РСДРП и во время съезда. Ленин 1907 года...

До этого мы представляли его себе в том периоде, по описаниям Максима Горького, Н. К. Крупской, делегатов съезда. Но все эти описания, воспоминания были записаны много позже.

Здесь — свидетельство современника, данное им почти по «свежим следам». Ему, этому современнику, нельзя отказать в наблюдательности и остроте видения. Далеко не все, но многое из высказанного им верно. Верно то, что Ленин был с людьми

малознакомыми осторожен, замкнут, сдержан. И то, что на пути в Лондон «мысль его... погружена в себя», тоже верно. Весь он собран, как перед прыжком, ибо знает: предстоит сражение за единство партии.

В некоторых фразах проскальзывает как будто что-то горьковское, но Горький безусловно не читал и не мог читать эти строки. Почему — скажу дальше.

Но в то же время, наряду с тем, что Ленин предстает перед нами в этом очерке сильным, собранным, вождем масс и партии, наряду со строками о том, что в случае революции («на гребне исторической волны») он «стоял бы на капитанском мостике, уверенный, что корабль идет и придет туда, куда он его ведет», присутствуют в портрете детали, слова иного склада и мысли: «фанатик», «диктатор», «немного от Робеспьера», «Ленин ошибаться не может»... История показала, что в этих словах действительно содержалась доля истины...

В словаре псевдонимов Масанова можно прочесть, что фамилия Н. Владимиров, которой подписан очерк, принадлежит Давиду Черткову. Молодой 22-летний социал-демократ присутствовал на V съезде РСДРП как делегат Минской организации Бунда. В протоколах съезда он значится под кличкой «Наташин».

Как и многие бундовцы, Чертков на съезде был непоследователен. То голосовал вместе с Лениным, с большевиками, то — против них. Но в одном нельзя ему отказать — в искренности, с какой создан им приведенный литературный портрет Ленина.

Судьба и жизнь Давида Константиновича Черткова была сложной и нелегкой. Сын витебского предпринимателя-заводчика, он в юности порвал со своим классом и отдался революционной борьбе. Под псевдонимами: «Наум», «Бунин», «Владимир», «Наташин» его знали рабочие Минска, Витебска, Борисова, Двинска, Варшавы. Не раз подвергался он арестам и ссылкам. Литератор и журналист (в течение двух лет он редактировал «Полесье» — газету левого направления), автор ряда рассказов и книги «Повести дней недавних», он организовал в Саратове легальное социал-демократическое издательство «Горизонты».

В 1914 году это издательство выпустило сборник «Начало», который предварялся следующим обращением от редакции: «Заметное оживление общественной жизни страны сказывается оживлением марксистской мысли. Из столицы оно передается и в «глубину России». Сборник «Начало» — первый шаг на пути создания марксистских сборников в провинции. Мы хотели бы, чтобы за этим первым шагом последовали другие, более твердые шаги.

Все статьи сборника «Начало» проникнуты марксистским мировоззрением и присущим ему настроением социального оптимизма. Годы реакции не сломили этого настроения, а наступающий подъем придаст ему новую яркость и силу...»

Однако до читателей сборник не дошел. Весь тираж был запрещен, конфискован и уничтожен. В газете «Саратовские губернские ведомости» за 8 февраля 1914 года в списке запрещенных изданий значится:

«Определением судебных мест утвержден арест, наложенный в городе Саратове на сборник статей «Начало». Саратов, издательство «Горизонт». 1914 г.»

Один из авторов и редактор подверглись судебному преследованию за то, что в сборнике (как говорится в деле № 49 канцелярии прокурора Саратовского окружного суда от 1914 года) «заведомо распространялись суждения, направленные к ниспровержению существующего в России общественного строя».

Сохранились от этого издания единичные экземпляры. Первый номер «Начала» (издание мыслилось регулярным) содержал в себе, кроме интересного очерка Н. Владимирова, в котором он дает литературные портреты не только Ленина, но Плеханова, Аксельрода, Мартова, Старовера (Потресова) и Горького, статьи литературно-критического характера, материалы, посвященные профессиональному движению и т. п.

Как и многие бундовцы, Чертков до Октября сотрудничал с меньшевиками. Как и многие левые бундовцы, вошел в ряды коммунистов; в 1937 году был арестован и репрессирован. В 1956 году реабилитирован. Умер в 1964 году.

...Знал ли об этой публикации сам Ленин?

Несомненно. В одном из писем Инессе Арманд, периода 1915 года, он вспоминает этот саратовский сборник и досадует, что получил пока только его часть, так как «Начало» в целях конспирации пересылают ему отдельными тонкими брошюрами.

Однако в его личной библиотеке в Кремле сборник «Начало» представлен полным экземпляром, без всяких дефектов.

Надо полагать, что Ленин был знаком с очерком Владимирова о себе.

Захар Дичаров



Борис Дмитриевич ЧЕТВЕРИКОВ

1896 — 1981

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
21 декабря 1990 года
№ 10/14—7379
Ленинград

Четвериков Борис Дмитриевич, 1896 года рождения, уроженец г. Уральска, русский, беспартийный, образование среднее, писатель, член Ленинградского отделения Союза советских писателей, проживал: Ленинград, кан. Грибоедова, д. 9, кв. 85.

Арестован 12 апреля 1945 года Управлением НКВД по Ленинградской области по обвинению в преступлениях предусмотренных ст. ст. 17—58-8 (террористический акт), 58-10 ч. 2 (антисоветская агитация и пропаганда), 58-11 (участие в антисоветской организации), 121 (разглашение сведений, не подлежащих оглашению) и 182 ч. 4 (хранение холодного оружия) УК РСФСР.

Постановлением Особого Совещания МВД СССР от 10 июля 1946 года Четвериков Б. Д. осужден на 10 лет лишения свободы.

Определением Военного Трибунала Ленинградского военного округа от 2 марта 1956 года уголовное дело в отношении Четверикова Б. Д. прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Четвериков Борис Дмитриевич (2.VII.1896, Уральск — 17.III.1981, Ленинград) — прозаик, поэт. В 1917 поступил в Том. ун-т, но учиться не пришлось. Работал в Томской типографии, потом в отделе народного образования в Татарске. Первые его очерки опубликованы в 1915 в газ. «Уфим. вестник». До 1939 печатался под псевдонимом — Дм. Четвериков. В 1922 приехал в Петроград. В 1923—1924 был редактором литературного журн. «Зори», сотрудничал в изд-вах и журналах Москвы и Ленинграда. Участник Великой Отечественной войны, в 1941—1943 был на Ленинград. фронте, в 1944—1945 — в Ленинграде, работал на радио, опубликовал несколько поэм («Ленинград», «Ночной смотр», «Наше поколение», «Иван-да-Марья») и рассказов. Написал брошюру «Три года всеобуча в Ленинграде» (в соавт. с И. Н. Стариковым, 1944). В 1961—1964 напечатал дилогию «Котовский», в 1967—1971 — трилогию: «Утро», «На встречу солнцу», «Во славу жизни». В 1969 Министром обороны СССР был награжден именным кортиком за создание военно-патриотических произведений.

ИЗ ПРОЧНОГО, ДОЛГОВЕЧНОГО РОДА

Судьба подарила мне 25 лет жизни рядом с удивительным человеком — ярким и самобытным. Я вошла в судьбу Бориса Дмитриевича в 1956 году, после пережитых им одиннадцати лет репрессий, и, естественно, смотрю на него сквозь призму тех лет. Как отразился этот период на жизни и характере Бориса Дмитриевича?

Один из предков его был долгожителем, и свое стихотворение «Сестре» Борис Дмитриевич кончает так:

Наш род был долговечный, прочный:
Сто сорок прадед жил почти!
Куда нам — хилым, худосочным...
С нас хватит по ста двадцати!

Может быть, не будь тюрем и лагерей (а перед этим войны и блокады!), Борис Дмитриевич и оправдал бы это шутовское пророчество, организм у него был могучий, но здоровье было подорвано. И приходится еще удивляться, что он сохранил работоспособность и создал столько книг за 1956—1981 годы.

И тут опять-таки сказался перерыв в творчестве: существует как бы два Четверикова — довоенный, «доарестный» и послереабилитационный. (Кстати, почти весь первый период, до 1939

года, Борис Дмитриевич издавал книги под псевдонимом Дмитрий Четвериков. Он объяснял это тем, что, когда пришел в литературу, там была сплошная «Борисиада»: Борис Пильняк, Борис Пастернак, Борис Зайцев, Борис Корнилов... — он и взял для творчества имя отца). Совсем разный стиль у этих двух Четвериковых, разный подход к теме, разная манера письма. Вот что значит быть вырванным из жизни на целое десятилетие и вернуться словно в другую эпоху, в другую страну. В дневниках и воспоминаниях Бориса Дмитриевича есть рассуждения о том, насколько отличались 20-е годы от той атмосферы, в которую он попал, вернувшись в 1956 году в Ленинград.

Две разные вещи — ощущения безвинно пострадавшего человека и виновного. И в этой связи особенно поражает, что Борис Дмитриевич не только вынес все злоключения, выпавшие на его долю, но и сохранил душу, не озлобился, не ожесточился, остался доброжелательным, общительным, не потерял интереса к жизни.

Сам Борис Дмитриевич говорил, что ему в трудных ситуациях помогали запасные профессии и чувство юмора. Запасных профессий у него было много — не только писатель (причем и прозаик, и поэт, и драматург), но и художник, и музыкант. От матери он унаследовал актерские способности, а от отца — любовь к истории и склонность к садоводству. (Дмитрий Никанорович Четвериков, учитель словесности и истории, имел под Уфой «хутор», по-современному говоря, дачу, и приучал своих пятерых детей к земледельческим работам.) Но это не все, Борис Дмитриевич знал и любил медицину (недаром учился на медицинском факультете Томского университета), а также хорошо малярил, интересовался переплетным делом: можно перечислить и другие его пристрастия и умения.

Писательский дар, однако, преобладал надо всем. В юношеские годы Борис Дмитриевич уже деятельно печатался в гимназическом журнале «Мозаика», издававшемся типографским способом, и в уфимских газетах. В те же годы проклюнулись в нем и музыкальные способности, и живописный талант. Став профессиональным писателем, Борис Дмитриевич никогда не бросал ни живописи, ни музыки. Вся наша квартира увешена его картинами: натюрмортами и пейзажами.

При аресте Бориса Дмитриевича чудом сохранились черновики начатого им до войны романа о Котовском, и, естественно, возвратившись в 1956 году к жизни, Борис Дмитриевич прежде всего ухватился за них. Договор был с «Советским писателем», жили мы в загородном доме, который на лето арендовали писа-

тельские семьи, и Борис Дмитриевич яростно, со страстью писал этот роман. Бывало, оторвется утром от стола, ляжет спать, а через некоторое время вскакивает: «Подожди печатать, я тут придумал другой поворот». — «Когда же ты придумал — ты же спал?» — «Не знаю когда. Наверное, во сне». Но, закончив вчерне все, Борис Дмитриевич вдруг поехал в Кишинев, на родину Котовского, а вернувшись, заявил, что будет писать все заново.

В доме у нас постоянно был народ, причем меньше всего писатели, больше было друзей среди врачей, научных работников, часто возникала дружба с читателями, присылавшими письма. Борис Дмитриевич был, по его выражению, «ловец человек», книги свои дарил направо и налево, покупая их по 200—300 штук и приглашая в дом то шофера такси, то работников нашей почты, то продавщиц из магазина. Писателей же среди друзей почти не было.

Почему же у Бориса Дмитриевича не было друзей среди писателей? (Знакомых-то было много, я имею в виду истинных друзей.) Не знаю. Ведь начинал он с Фединым и Зошенко, со Всеволодом Ивановым и Всеволодом Рождественским, с Лавреневым и Брауном, со многими по-настоящему дружил в 20-е годы, даже в годы войны у него ночи напролет просиживал приезжавший из Москвы Федин... Но за одиннадцать лет он от прежних друзей оторвался, а новых не нажил. Может быть, потому, что, стараясь восстановить свое имя в литературе, беспросветно работал и почти не бывал на писательских собраниях, официальных и неофициальных. А может, потому, что был самолюбив и горд, не хотел никому кланяться, навязывать свою дружбу. Кое-кто умер за это время. А кое-кто просто забыл, отвык от него.

Помню, как, разговаривая по телефону, весь побелел Борис Дмитриевич, когда Федин «из-за занятости» отказался написать страничку предисловия к первому тому Избранного Бориса Дмитриевича («Повести и рассказы», Л., 1964). Это была, кажется, одна-единственная его просьба к старым друзьям, которые уже, оказывается, друзьями-то не были.

Последние десять лет Борис Дмитриевич много работал над воспоминаниями, задумав огромный 5—6-томный труд — не только о себе, но о России, о людях своего поколения, о XX веке. Он начал эти свои «Стежки-дорожки» издавала, с корней, с предков (уральских казаков по материнской линии и пензяков по линии отца), с рассказа о родителях, с портрета брата своего деда — весьма популярного писателя XIX столетия Михаила Васильевича Авдеева. А затем, этап за этапом, часто в беллетризованной форме — повествование о себе, особенно

подробно о своей сибирской эпопее периода гражданской войны, когда гастролировал с футуристом Давидом Бурлюком, и оказался вместе со Всеволодом Ивановым у Янчевецкого в его редакции на колесах. Но записав страниц 800, все-таки дошел в своем жизнеописании только до 20-х годов: описал приезд в Петроград в 1922 году по вызову Вс. Иванова, первые впечатления от литературной среды тех лет, свою работу в «Лит. еженедельнике» и журнале «Зори», созданную им литгруппу «Содружество». А потом оборвал хронологический ход событий и переключился на тюремно-лагерные воспоминания, сказав: «Не могу умереть, на записав этот период. Если доживешь до времени, когда это можно будет напечатать, издай мои записи, если не доживешь — отдай в надежные молодые руки: пусть сохранят для истории, когда-нибудь должен народ узнать все».

Увы, ему не суждено было осуществить до конца и этот замысел...

Последние 5 — 7 лет он вообще жил исключительно на своем энтузиазме, на необыкновенной силе воли и никогда не покидающем чувстве юмора. И работал он, пока мог держать ручку. Два последних его стихотворения датированы январем 1981 года, а 17-го марта он умер.

В них есть строчки:

Я в книгах! Не канул я в Лету!
И жизнь эта так хороша!
К Писателю, к Другу, к Поэту
Идите, на праздник спеша!

.....
Я честно писал, без перчаток,
Не памятник я, не музей.
Как пальцев берут отпечаток.
Так душу свою отпечатал
Я в книгах своих — для друзей.

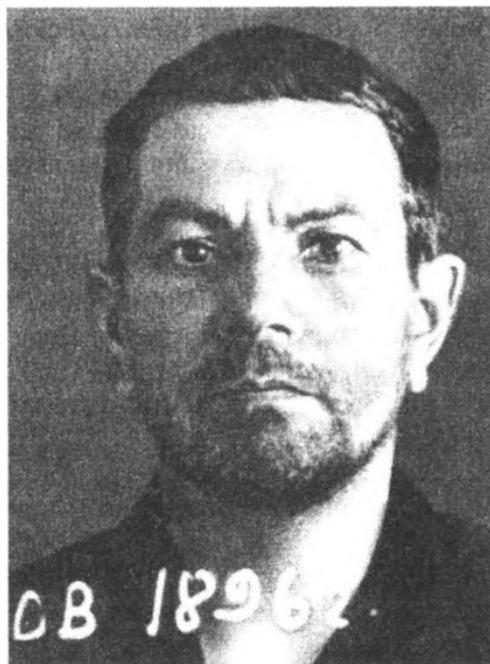
Но он отпечатал в своих произведениях не только свою душу, но и душу народа, страны, отпечатал время, эпоху, в которую жил. Из литературы ушел талантище, борец и мыслитель, человек твердых, несворотимых убеждений и принципов.

Сейчас, в конце 90-х годов, особенно сознаешь, какая сила писателя — его книги. Не ордена, не титулы, не посты и чины, а книги, наследие, которое от человека осталось. Но как же горько было Борису Дмитриевичу не чувствовать при жизни оценки своих трудов! Ни одного награждения, ни одной премии! Единственная награда — именной офицерский кортик,

который был вручен в 1969 году в связи с 50-летием Воениздата и которым он очень дорожил. Внешне Борис Дмитриевич как будто спокойно относился к тому, что «не входил в обойму», как он говорил, что его не склоняют в прессе, на радио и телевидении. Он даже шутил, что, когда все обвешены орденами и медалями, приличнее, пожалуй, быть не награжденным. Но внутренне он, конечно, страдал. Страдал от полного невнимания писательской организации, когда, даже живя в одном с ним доме, на одной лестнице, никто не навещил его, больного, не спросил, не нужно ли чего...

И вот оно пришло, долгожданное время, когда можно издать воспоминания Бориса Дмитриевича о тюрьмах и лагерях сталинской поры, когда можно говорить о Четверикове не обтекаемой фразой «человек трудной судьбы», а рассказать всю правду о пережитом им десятилетии.

Наталья Четверикова



**Александр
Степанович
ЧИСТЯКОВ**

1896 — 1941

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Чистяков Александр Степанович, 1896 года рождения, уроженец д. Кочерыжка, Вологодского уезда, Вологодской губернии, русский, гражданин СССР, член ВКП(б) с 1918 по 1921 год, выбыл механически, писатель, член ССП, проживал: Ленинград, В. О., Малый пр., д. 31, кв. 8

жена — Куприна Руфина Аникитьевна, 38 лет (в 1938 году).
В 1963 году проживала: Ленинград, В. О., 6-я линия, д. 51, кв. 20
дочь — Чистякова Изольда, 11 лет (в 1938 году), проживала с отцом.

Арестован 3 марта 1938 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 58-10 ч. I УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда).

13 сентября 1938 года Военный Трибунал Ленинградского военного округа приговорил Чистякова А. С. к лишению свобо-

ды сроком на 8 лет с последующим поражением в политических правах сроком на 4 года.

Определением Военной Коллегии Верховного суда СССР от 5 февраля 1940 года срок наказания сокращен до 5-ти лет лишения свободы с последующим поражением в политических правах сроком на 3 года.

Умер 6 декабря 1941 года в Севвостлаге.

Постановлением Пленума Верховного суда СССР от 12 декабря 1962 года приговор Военного Трибунала Ленинградского военного округа от 13 сентября 1938 года и определение Военной Коллегии Верховного суда СССР от 5 февраля 1940 года в отношении Чистякова А. С. отменены, и дело, за отсутствием в его действиях состава преступления, прекращено.

Чистяков А. С. по данному делу реабилитирован.

Чистяков А. С. с 1921 по 1923 год учился в Вологодском педтехникуме.

Изданы книги «Бабий грех» (1927), «Андрейка» (1929), «Борода» (1929—1931), «Боковой ход» (1931), «Задворки» (1932), «Большая свадьба» (1938).

Из книги «Писатели Ленинграда»

Чистяков Александр Степанович (1896, д. Кочаренка Вологод. обл.— 1941) — прозаик. Окончил три курса пед. ин-та. Участвовал в боях с белофиннами в 1918 г., был в Первой Конной армии на Польском фронте зам. нач. особого отд. 14-й кавдивизии. Профессиональный литератор с 1925 г. Был чл. бюро литературной группы «Дружба», чл. бюро Ленинград. объединения колхозной литературы. Остались незаконченными роман «Шерлоки» (на тему колхозной жизни) и роман «Артель» (продолжение романа «Боковой ход»). Рецензию А. Чистякова на роман И. Молчанова «Крестьянин» упоминает М. Горький в статье «Литературные забавы».

Фотография
не
найдена

**Александр
Афанасьевич
ШАБАНОВ**

1900 — 1941

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Шабанов Александр Афанасьевич, 1900 года рождения, уроженец г. Двинска (Витебской губернии), русский, гражданин СССР, член ВКП(б) с 1919 года, исключен в связи с арестом по данному делу, секретарь Ленинградского отделения ССП, проживал: Ленинград, ул. Некрасова, д. 60, кв. 90

жена — Шабанова Татьяна Дмитриевна, 30 лет, домохозяйка, проживала с мужем

дочь — Шабанова Н. А., 1929 года, проживала: Ленинград, ул. Савушкина, д. 15, кв. 143.

Арестован 12 марта 1938 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 58-1 «а» (измена Родине), 58-8 (террористический акт), 58-11 (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления) УК РСФСР.

8 июля 1941 года Военная Коллегия Верховного суда СССР приговорила Шабанова А. А. к высшей мере наказания — расстрелу.

Расстрелян 30 июля 1941 года.

Определением Военной Коллегии Верховного суда СССР от 19 сентября 1956 года приговор Военной Коллегии Верховного суда СССР от 8 июля 1941 года в отношении Шабанова А. А. отменен, и дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Шабанов А. А. с 1926 года сотрудничал в «Ленинградской правде».

В 1932 году работал зав. сектором Ленинградского обкома ВКП(б).

В апреле 1934 года командировался на Дубровскую бумажную фабрику.

С 1924 года до ареста преподавал историю ВКП(б) в Комвузе им. И. В. Сталина, на семинаре пропагандистов в Василеостровском районе, на ф-ке им. Володарского, Балтийском з-де, в Доме партийного просвещения.



**Алексей
Матвеевич
ШАДРИН**

1911 — 1983

Архивный фонд УФСБ РФ
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

Шадрин Алексей Матвеевич, 1911 года рождения, уроженец г. Куйбышева, до ареста работавший в Гослитиздате литературным переводчиком.

Арестован 15 февраля 1938 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся в том, что «являлся участником контрреволюционной троцкистской организации, в составе которой принимал участие на нелегальных сборищах, где обсуждались террористические методы борьбы с руководством ВКП(б) и Советского правительства», т. е. в пр. пр. ст. ст. 58-8, 58-10 и 58-11 УК РСФСР. Содержался под стражей по 28 апреля 1940 года.

Постановлением Военной Прокуратуры Краснознаменного Балтийского Флота от 28 апреля 1940 года дело по обвинению Шадрина А. М. прекращено за недоказанностью обвинения в порядке ст. 204 п. «б» УПК РСФСР, из-под стражи Шадрин А. М. освобожден. По данному делу Шадрин А. М. считается реабилитированным.

3 июля 1945 года Шадрин А. М. был повторно арестован Управлением КГБ по Ленинградской области и Ленинграду.

Обвинялся в том, что «проводил среди своего окружения антисоветскую пропаганду, высказывая недовольство советским строем, отдельными мероприятиями ВКП(б) и Советского пра-

вительства», в дневнике, в котором записывал резкую клевету на ВКП(б) и Советское правительство, передавал представителям иностранных государств материалы клеветнического анти-советского содержания, т. е. в пр. пр. ст. ст. 58-4 и 58-10 ч. II УК РСФСР.

По приговору Судебной Коллегии по уголовным делам Ленинградского городского суда от 2—3 декабря 1946 года Шадрин А. М. был осужден к 7 годам лишения свободы с поражением в правах по п. п. «а», «б», «в», «г» ст. 31 УК РСФСР на 5 лет, с конфискацией имущества, с отбытием меры наказания в исправительно-трудовых лагерях.

По определению Судебной Коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР от 6 января 1947 года приговор оставлен в силе. Постановлением Президиума Верховного суда РСФСР от 7 января 1959 года приговор Ленинградского городского суда от 2—3 декабря 1946 года и определение Судебной Коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР от 6 января 1947 года в отношении Шадрина А. М. отменены, дело производством прекращено за недоказанностью обвинения.

Шадрин А. М. реабилитирован.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Шадрин Алексей Матвеевич (28.III.1911, Самара, ныне Куйбышев) — переводчик, литературовед. Окончил Ленинград. пед. ин-т им. А. И. Герцена (1931) по отд-нию романской филологии и аспирантуру Ленингр. науч.-исслед. ин-та языкознания (1936). С 1931 преподавал французский, английский, итальянский яз. и историю французской литературы в вузах Ленинграда. С 1956 занимается исключительно литературной работой. Печатается с 1936. Перевел с французского яз. «Вендетту» Ги де Мопассана, «Трагедию человека», «Амикус и Целестин» А. Франса, «Жизнь Россини» Стендаля, «Об Екатерине Медичи» О. Бальзака, «Воспоминания» и статьи из сб. «Поход» Э. Золя, «Лелию», «Чертово болото» Ж. Санд, стихи Петрюса Бореля и др.; с английского — кн. «Гай Мэннеринг», «Комната с гобеленами» В. Скотта, «Письма к сыну» Ф. Д. Честерфилда, рассказы Ш. Андерсена, К. Мэнсфилд, Н. Готорна, повести Г. Джеймса «Урок мастерства», «Ученик», «В клетке», стихи Д. Донна, А. Марвелла; с итальянского — новеллы М. Банделло, Э. де Амичиса, Л. Капуаны; с испанского — «Сонаты» Р. дель Валье-Инклана, «Возвращение к истокам» А. Карпентьера, прозу М. де Унамуно, стихи Р. Альберти и др.; с португальского — «Гуарани» Ж. де Аленкара, «Ба-

рон» Б. де Фонсека, рассказы Машадо де Ассиза и др. бразильских писателей; с шведского — стихи Ю. Векселля; с немецкого — «Письма из Ломбарене» Альберта Швейцера. Ему принадлежит также комментарий к этой книге. Принимал участие в редактировании собр. соч. Ж. Санд (1971—1974).



Георгий Иванович ШИЛИН

1896 — 1941

Из книги «Писатели Ленинграда»

Шилин Георгий Иванович (14.XI.1896, г. Георгиевск, ныне Ставроп. края — 27.XII.1941, Коми АССР) — прозаик. После окончания городского уч-ща был конторщиком, разносчиком газет. Начал сотрудничать в газ. «Терек». Участник первой мировой войны. В годы гражданской войны и в начале 20-х годов был редактором газ. «Крас. Терек», «Известия Георгиевского Совета», широко печатался в газетах юга России, в «Известиях» — как поэт, очеркист, фельетонист. В 1928 переехал в Ленинград и перешел на литературную работу. Его первую книгу прозы положительно оценил М. Горький. Попав к заболевшему проказой товарищу, был потрясен судьбой прокаженных. Неоднократно жил в лепрозории. Тема эта воплощена в его наиболее значительном произведении «Прокаженные».

Красное знамя: Стихи. Георгиевск, 1917; Страшный Арват. Л., 1929; Главный инженер. Л., 1931; Камо. Л., 1931 и Ставрополь, 1966; Прокаженные: Роман. Л., 1930 и др. изд.; Ревонтулет: Роман. Л., 1934.

Был репрессирован.



**Зелик
Яковлевич
ШТЕЙНМАН**

1907 — 1967

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Штейнман Зелик Яковлевич, 1 февраля 1907 года рождения, уроженец Новосибирска, еврей, гражданин СССР, беспартийный, ответственный секретарь газеты «Литературный Ленинград», член ССП, проживал: Ленинград, кан. Грибоедова, д. 9, кв. 56

жена — Свердлова Розалия Мироновна, 28 лет, артистка «Белгоскино»

сын — Штейнман Леонид — 7 месяцев. Проживал с отцом.

Арестован 16 августа 1936 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 17—58-8 (пособничество в совершении террористического акта), 58-11 (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления) УК РСФСР.

Приговором Выездной сессии Военной Коллегии Верховного суда СССР от 23 декабря 1936 года определено содержание в тюрьме сроком 10 лет с последующим поражением в политических правах сроком на 5 лет.

Вторично арестован 22 марта 1949 года Управлением НКВД по Красноярскому краю.

Обвинялся по ст. 17—58-8 и 58-11 УК РСФСР.

Постановлением Особого Совещания при МГБ СССР от 30 июля 1949 году определено за принадлежность к антисоветской троцкистской организации сослать на поселение.

Был выслан в г. Красноярск, а впоследствии, по собственному ходатайству, переехал в г. Игарку, где проживал (в 1955 году) по адресу: г. Игарка, Биржевая ул., д. 4, кв. 9.

Определением Военной Коллегии Верховного суда СССР от 10 ноября 1956 года приговор Военной Коллегии Верховного суда СССР от 23 декабря 1936 года, постановление Особого Совещания при МГБ СССР от 30 июля 1949 года в отношении Штейнмана З. Я. отменены, и дело, за отсутствием в его действиях состава преступления, прекращено.

В 1956 году проживал: Ленинград, кан. Грибоедова, д. 9, кв. 56.

Штейнман З. Я. в 1925 году вступил в Ленинградскую ассоциацию пролетарских писателей и примкнул к литературной группе «Стройка», во главе которой стоял редактор журнала «Звезда» — Горбачев.

В 1928 году ушел из РАПШа и перешел в Ленинградское отделение союза писателей, где был кооптирован в состав правления.

По 1935 год заведовал отделом литературы и искусства ленинградской «Вечерней Красной газеты», а с конца 1935 года был назначен ответственным секретарем газеты «Литературный Ленинград».

После осуждения 2,5 года пробыл на Соловках, а затем был этапирован в г. Норильск, где работал ст. диспетчером на строительстве основных промышленных объектов.

МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ НА СЕВЕРЕ

Если заглянуть в справочник «Писатели Ленинграда» (Л., 1982), то в тексте, относящемся к имени: Штейнман, Зелик Яковлевич, рождения 1 февраля 1907 года, Новороссийск» мы найдем фразу: «В 1936—1956 годах жил на Крайнем Севере». Но то, что он значится писателем ленинградским — не ошибка: в те годы начала 80-х, когда выходил справочник, сообщать в печати о том, что такой-то в течение двадцати лет подвергался незаконным репрессиям, было невозможно.

Он стал ленинградцем в 1925 году, а затем, вторично — в 1957, и его хватило еще на десять лет: 2 апреля 1967 года он умер. Таковы скобки, в которые вмещается его биография.

Нет, он попал в число не тех, кому вгоняли пулю в затылок, но в то самое двадцатилетие, что провел где-то в высоких северных широтах; убивали не только выстрелом; расстреливало само время.

А время было такое: ныне его называют «мрачным», «зловещим», «страшным» — это было правдой. И хотя тогда, как и во все времена, влюблялись, творили, испытывали муки от неустройства в быту, путешествовали, чему-то радовались, но почти не было дня, когда бы на первой странице газет не появлялось под рубрикой «Хроника», официального сообщения о том, что Военной Коллегией Верховного суда СССР осуждены на смерть такие-то, — следовал перечень имен, и незримая черта подводилась строкой: «Приговор приведен в исполнение».

Мне навсегда запомнились те дни и месяцы. Помню, как у газетных витрин грудились кучки людей и угрюмо молчали. На лицах одних читался страх, на других — отвращение, а иные, уходили в себя, как улитка в раковину и, возможно, каждый думал: «Это — не я, это не про меня. Я ни в чем неповинен. Меня это не касается...»

И в аудиториях истфака ЛГУ, где я учился, в воздухе носилась такая же незримая, но ощутимая угрюмость.

Зелика Штейнмана в 30-е годы я знал только по печати. Его статьи и фельетоны — остроумные, иногда едкие, публиковались в ленинградских журналах и газетах. Он начал печататься в 15 лет в приморском городе, где родился; первой его трибуной стала газета «Красное Черноморье». Перебравшись в Ленинград, он поступил на Высшие курсы искусствоведения при Институте истории искусств, совсем юным, восемнадцатилетним, вступил в Ленинградскую ассоциацию пролетарских писателей и примкнул к литературной группе «Стройка», во главе которой стоял редактор журнала «Звезда» Г. Е. Горбачев. В 1927 году вышла первая книга Штейнмана «Человек из паноптикума», — о творчестве Андрея Соболя, в следующем, 1928 году — «Литературные эпизоды» — сборник критических статей, и в том же году он ушел из ЛАППа, перешел в Ленинградское отделение Союза писателей и был введен в состав правления.

Будучи литератором, Штейнман не расставался и с журналистикой: по 1935 год заведовал отделом литературы и искусства «Вечерней Красной газеты», а в конце 1935 года был назначен ответственным секретарем газеты «Литературный Ленинград». В этом же году вышла его книга «Навстречу жизни» — о творчестве Бориса Лавренева, обильно публиковались критические статьи. В поле зрения Штейнмана находились его современники —

Леонид Леонов, Ольга Форш, Дмитрий Фурманов, Михаил Слонимский, Константин Федин, Юрий Олеша, Бруно Ясенский...

Но в составе редакции «Литературного Ленинграда» он пробыл недолго — 16 августа 1936 года его арестовали. Неукротимая фантазия следователей, как и в тысячах подобных случаев, приписала ему «пособничество в совершении террористического акта — по статье УК РСФСР 17—58-8, и организационную деятельность, направленную к совершению контрреволюционного преступления» (по материалам КГБ). Фантастическая бдительность тогдашних чекистов простиралась глубоко, широко и высоко: да, преступления, как такового, не было, была только «направленность к его совершению», но недреманное око сталинской жандармерии не дало сему произойти,— опасный критик был схвачен!

Военная Коллегия Верховного Суда СССР штамповала приговоры с завидным постоянством, никого не обделяя длительностью сроков заключения: «определено содержание в тюрьме сроком на 10 лет с последующим поражением в политических правах сроком на 5 лет». Уголовники называли это «пять лет по рогам».

С этим приговором его и увезли в арестантском вагоне туда, где предстояло ему «перековываться»: за колючую проволоку лагерной зоны.

Встретился и познакомился я с ним в 1951 году в Игарке. Оба мы относились к категории сосланных бессрочно. О его жизни в этом северном морском порту мне иногда рассказывал Сергей Снегов, его близкий друг. Я же только хочу вспомнить наши встречи в редакции газеты «Заполярная правда», где и он и я помещали иногда короткие корреспонденции. Бывал я у него и дома. Не забуду как мы долгий вечер при незаходящем солнце полярного дня говорили о моей пьесе «Белая кожа».

Жажда литературного творчества томила меня с начального часа заключения, когда я после первого ареста очутился в одиночке. Расстаться с тем, что уже многие годы составляло для меня смысл жизни, было невозможно. В тюрьме и лагере я писал стихи, продолжал заниматься этим и в ссылке, но в Игарке обуял меня еще и бес драматургии: я сочинил пьесу и как-то пришел с нею к Зелику Яковлевичу.

Читал я ее вслух долго, да и немудрено, в ней насчитывалось около полутора ста страниц. Что это было? Нечто с сильной примесью фантастики: действие происходит в вымышленном африканском «Государстве КЭФ», что означает «Страна нерушимого спокойствия», хотя на самом деле это царство насилия, апартеи-

да, где каждый небелый человек порабошен и унижен. Профессор Дримеон, белый, открывает способ изменения цвета кожи, вокруг его открытия закручивается клубок драматических событий...

Штейнман внимательно выслушал мое чтение, а затем, без иронии, спросил:

— Вы конечно, никогда пьес не писали?

Я признался, что да, не грешил этим.

— Оно и заметно. Ваша «Белая кожа» ровно в два раза больше нормального размера. На нее театру придется потратить два вечера. Два!

Увы, это было бы так... Мы еще поговорили на разные литературные темы, но вновь я вернулся к этой своей драматургии лишь спустя годы, и не в Игарке, а в Ленинграде. Театральной сцены она никогда не увидела, но несколько ее картин показали на телевидении, а ряд сцен напечатали в журнале «Азия и Африка сегодня». Советы Штейнмана мнегодились.

Он возвратился в Ленинград в 1957 году. Как и все мы, получил полную реабилитацию, его восстановили в Союзе писателей, появились новые книги: «Плюс улыбка» — сатирические фельетоны (Л., 1963), «Недобитые темы» — рассказы (1966, М.—Л.). Не берусь оценивать ту и другую, но прежних сил у автора уже не оставалось и тот, кто помнил Зелика Штейнмана 30-х годов, не мог узнать в них нынешнего...

Захар Дичаров



**Хаим
Соломонович
ШТЕЙНСОН-
ЛЕНСКИЙ**

1906 — 1943

СМЕРТНЫЙ СВЕРСТНИК ПУШКИНА

У писателя, о котором пойдет речь, совершенно «пушкинское» имя — Ленский. И это не псевдоним. Хаим Ленский — талантливый поэт, писавший на языке еврейского народа, жил и творил в нашем городе. Его судьба, как и судьбы сотен литераторов, оказалась трагичной, а жизнь оборвалась, как и жизнь его любимого поэта Пушкина, в 37 лет...

Хаим Соломонович родился в 1906 году в городе Слониме Гродненской губернии. Он рос и воспитывался у деда Соломона Ленского до самой его смерти в 1921 году. Хаим получил еврейское религиозное образование, учился в хедере, закончил немецкую школу.

С 1921 года обучался в Вильно в Еврейской учительской семинарии. По приглашению отца, жившего в Баку, Хаим в 1924 году нелегально перешел границу с Польшей, но был арестован, сослан в Самару. Он совершил побег из ссылки и стал обладателем паспорта на имя Хаима Штейнсона, с которым и уехал в Баку.

Не имея никакой помощи от отца, Хаим жил впроголодь, разносил газеты, работал в книжном магазине, некоторое время получал пособие от еврейского клуба, где выступал с чтением своих стихов и рассказов на идиш.

В конце 1925 года он обратился с письмом к секретарю ЦК левой еврейской социалистической сионистской рабочей партии

А. Цирлину с просьбой помочь в получении специальности. Его пригласили в Москву, где определили в еврейскую сельскохозяйственную коммуну, а затем направили в Ленинград в еврейскую кооперативную слесарную артель «Амал».

Но судьба молодого поэта оказалась непростой: в 1926 году его вновь арестовали. На этот раз он был обвинен в принадлежности к «националистическим молодежным организациям» (хе-Халуц, циарей Цион). Ленский послал жалобу Председателю ВЦИК М. И. Калинину с протестом против преследований его как ивритского поэта. Времена тогда еще были либеральные, и Ленского вскоре освободили «за недоказанностью преступления».

В 1929 году власти закрыли артель, где он трудился, и тогда Хаим Соломонович подыскал работу на Сталепрокатном заводе недалеко от 4-й линии Васильевского острова, где он и прожил три года вместе с женой и маленькой дочкой.

Еще мальчиком 12 лет Ленский начал писать стихи на древнееврейском языке — иврите и современном еврейском языке — идиш. Сначала он печатался в газетах Вильнюса, позднее — в 20-х годах — он послал свои стихи в Палестину, переписывался с тамошними литераторами и издателями.

По настойчивому совету известного поэта Х. Бялика выбрать один какой-либо язык, Ленский остановился на иврите. На этот язык он трудолюбиво переводил Пушкина.

Двадцатые годы были для Ленского годами большого творческого роста и одновременно учения у классиков русской литературы. Он стал членом Еврейского этнографического общества, вступил в кружок друзей Еврейского этнографического музея. В круг его общения вошли видные еврейские ученые Ленинграда — С. Л. Цимберг, И. И. Равребе и др.

29 ноября 1934 года Хаим Ленский был арестован в третий раз. Одновременно с ним аресту подверглись члены ивритского кружка, который собирался на квартире Александра Зархина. В обвинительном заключении было сказано, что «кружок объединял общий интерес к древнееврейскому языку и литературе», на нем высказывалась критика в адрес правительства, говорилось, что создание центра в Биробиджане — сплошная авантюра и т. п.

Хаим Ленский не отрицал, что в своих письмах Х. Бялику в Палестину жаловался на тяжелое положение писателя, пишущего на древнееврейском языке.

В приговоре по делу Ленского было сказано, что «за антисоветскую деятельность» он приговаривается к 5 годам заключе-

ния в лагере, а после отбытия срока лишается на 5 лет права проживания в центральных городах.

Его отправили в сибирские лагеря — сначала в Красноярский край, под Минусинск, затем в Кемеровскую область, в Мариинск. Там он жил так же, как тысячи других эзков, — валил лес, долбил промерзшую землю, перетаскивал на своем горбу тонны тяжестей. Но и там, обитая в дырявых бревенчатых бараках, ночуя на жердястых нарах с подстилкой из древесных стружек, продолжал писать стихи. В нем жила душа истинного поэта, и ничто не могло заставить ее замолчать.

Как и раньше, он писал на иврите, посылал в Ленинград своей жене Берте, а та пересылала стихи в Палестину. Она делала это вплоть до осени 1937 года, пока ее не выслали в Казахстан, определив местом пребывания Акбулак.

Хаим Соломонович не был богатырем. Наоборот: почти немощный, несмотря на молодые годы, он с трудом переносил лагерный режим и тяжелую физическую работу. Пока в Ленинграде оставалась его жена, ей удавалось получать иногда посылки из Палестины, она поддерживала ими мужа, но когда ее сослали, эта помощь прекратилась.

В 1939 году окончился срок заключения, и Ленский направился к жене. К этому времени завершилась и ее трехгодичная ссылка, она возвратилась в Ленинград. Ленский поехал к ней, не считаясь с тем, что доступ туда был ему запрещен. Чтобы не попасть в руки милиции, он жил на нелегальном положении, ночуя то дома, то у своего друга, поэта Ивана Федорова.

Но такая жизнь, в постоянных поисках ночлега и в страхе быть пойманным, не могла продолжаться долго. Хаим получил прописку в Малой Вишере (Новгородской области, в 150 километрах от Ленинграда), но и там не имел постоянного жилья, скитался по углам, хотя его официальным адресом была 2-я Поперечная улица, 15. Работа, которая могла бы его кормить, была случайной: то подсобник в кожевенной мастерской, то ночной сторож в магазине. В письмах в Ленинград, он писал: «...Я ем раз в сутки и, благодарение Господу, который кормит нас, как собак своих, сыт». Впрочем, он был даже рад голодовке, которая очищает душу и помогает хоть мысленно уходить от страшной действительности. А жене писал, что жизнь в М. Вишере ничем не отличается от концлагеря.

Одна из его знакомых вспоминала в 1987 году: «...Ленский нелегально приезжал к семье в Ленинград и тогда заходил к нам, обедал. ...Я хорошо помню, как Ленский читал свой перевод на иврит «Медного всадника». К сожалению, я не понимала ни сло-

ва, но стиль и ритмика произведения великолепно передавались, а знатоки высоко оценивали каждую фразу. Мнение было единодушным: «Он — гений».

Такая полубездомная жизнь мучила и тяготила поэта. Он обращался то к Жданову, первому секретарю Ленинградского обкома партии, то к Молотову в Москву, добивался разрешения проживать вместе с семьей в Ленинграде. Ответа не было. В одном из писем он говорил: «А может быть, я действительно не достоин лучшей доли, ведь я еврейский поэт, пишущий на одном из семитских языков... Ведь я ужасный националист, бессовестно обираю русскую литературу, заставляю пушкинские стихи шагать справа налево...» *

Свобода, которую Хаим Ленский получил в 1939 году, была призрачной. НКВД не спускало с него глаз. Он находился под постоянным наблюдением. Сразу после начала войны появилось «Постановление на арест», в котором сказано, что «после ареста в 1934 году Ленский, являясь непримиримым врагом, будучи в лагере, не прекращал борьбы против Советской власти, для чего сотрудничал в ряде палестинских газет, в которые через жену отправлял свои литературные произведения антисоветского толка».

30 июня 1941 года его арестовали в четвертый раз в Малой Вишере и отправили в Новгород. Но как только фронт приблизился к городу, его путь вновь пролегал в Сибирь. 11 декабря 1941 года Особое Совещание при НКВД СССР постановило: «За антисоветскую агитацию заключить Штейнсона-Ленского Х. С. в исправительно-трудовой лагерь на 10 лет, считая срок с 30 июня 1941 года».

На этот раз его заключение не было продолжительным. Его легкие, пораженные туберкулезом, не могли выдержать мук, которые они уже испытали ранее. 22 марта 1943 года, находясь в стационаре Ингашского отдельного лагерного пункта Красноярского края, Хаим Ленский умер. И лишь в 1989 году — спустя 46 лет! — последовала его реабилитация.

В 1993 году исполнилось 50 лет со дня гибели Хаима Ленского — одного из наиболее крупных поэтов, писавших на иврите XX века. Один из исследователей его творчества — М. Верещак — писал: «Какого поэта потеряла еврейская поэзия, болдинская осень которого была еще впереди... Ему не было суждено в полной мере выразить себя. Чудовищная сталинская машина

* В еврейской письменности строки идут не слева направо, а наоборот — справа налево.

уничтожила его. Он был хрупким, деликатным человеком, физически слабым, а эта машина перемалывала и богатырей».

В 1938 году, находясь в сибирском концлагере, он писал:

Воет вьюга. Ворота скрипят на ветру.
Машет дерево скрюченной кроной.
Чьи-то окрики. Полночь. К какому одру
Припаду головой обнаженной?
Хлещет режущий снег по горячей щеке.
О, я знаю: меня поджидая,
Исполинской медведицей там, вдалеке,
Притаилась Россия. Туда я
Устремлюсь. Буду схвачен.
И в крике мой рот
Искажится от боли когтящей.
Так настигнут, последний из зубров ревет
Окружен Беловежскою чашей.
И тогда белизну снеговой пелены
В муках брызгами крови усеяв,
Он припомнит о пасынке чуждой страны,
О последнем поэте евреев.

(Перевод В. Слуцкого)

Рукописи Ленского, сохраненные друзьями, в 1958 году были привезены в Израиль. Это стихи разных лет, баллады, перевод на иврит «Мцыри» Лермонтова, в 1969 году они были изданы одной книгой под названием «По ту сторону Леты». Спустя несколько лет, в 1974—1978 годах увидели свет его письма. На этом опубликование литературного наследия поэта не закончилось. В 1985 году в Израиль была прислана его поэма «В снежный день». Она вошла во 2-е издание однотомника (1986).

Уже многое из творчества израильских поэтов переведено на русский язык и издано в нашей стране, но поэзии Хаима Ленского мы не знаем. В оценке израильской критики, ей свойственна музыкальность, конкретность образов, живописное изображение пейзажей, точность в описании быта, особенно лагерного.

Мы надеемся, что эта глава, посвященная памяти единственного ленинградского поэта, писавшего на древнееврейском языке — иврите, послужит тому, чтобы он был, наконец, переведен и признан. Этого требует справедливость.

Захар Дичаров



**Ян
Юрьевич
ЭЙДУК**

1897 — 1938

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Эйдук Ян Юрьевич, 17 июня 1897 года рождения, уроженец усадьбы Гривас, Венденского уезда, Латвия, латыш, гражданин СССР, член ВКП(б) с 1916 по 1937 год, исключен Василеостровским РК ВКП(б) за связь с врагами народа, аспирант-докторант Института литературы АН СССР, проживал: Ленинград, пр. Стачек, д. 31-а, кв. 109

жена — Эйдук Наталия Ивановна, 34 года, зав. иностранным отделом книжного универмага № 1, проживала с мужем

дочь — Эйдук Муза Яновна, 10 лет (в 1937 году), в 1955 году проживала: г. Лиепая, ул. Берза, д. 21, кв. 8.

Арестован 16 июля 1937 года Управлением НКВД по Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 58-6 (шпионаж), 58-11 (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления) УК РСФСР.

Постановлением Комиссии НКВД и Прокурора СССР от 17 января 1938 года определена высшая мера наказания.

Расстрелян 25 января 1938 года.

Определением Военного Трибунала Прибалтийского военного округа от 30 октября 1957 года постановление Комиссии НКВД и Прокурора СССР от 17 января 1938 года в отношении Эйдука Я. Ю. отменено, и дело, за отсутствием в его действиях состава преступления, прекращено.

Эйдук Я. Ю. по данному делу реабилитирован.

Эйдук Я. Ю. родился в крестьянской семье. В Россию приехал до революции.

В 1916 году (в г. Твери) был принят в компартию.

В 1920 году был направлен на работу в Ленинград — редактором газеты «Коммунист». Позже работал в редакции газеты «Ленинградская правда», преподавателем педагогического института им. А. И. Герцена.

В 1925 году вступил в Ленинградскую ассоциацию пролетарских писателей, где состоял председателем секции латышских писателей.

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ЯНА

В приведенной выше справке сказано почти все о внешнем жизненном пути и судьбе Яна Эйдука. Не сказано только, как деревенский парнишка, пастух медленно и трудно становился интеллигентом.

Летом крестьянин — пахарь, скотник и прочее в хозяйстве отца, зимой, с перерывами — учеба в Рижском культурно-техническом училище.

И так постоянно, до самой гибели: работа, а потом прорыв — к новым знаниям, новый курс все более серьезной науки.

В годы первой мировой войны училище было эвакуировано в Тверь. Там, после его окончания (1918), Ян заведовал книжным магазином. А уже в 1920 году он закончил московскую школу журналистики, после чего был направлен в Петроград в качестве редактора латышской газеты «Коммунист». Отныне вся его жизнь связана с нашим городом.

Он сотрудничает и штатно работает в «Петроградской правде», в вечерней «Красной газете», в издательстве «Прибой». Новая ступенька: преподавательская деятельность в Военно-политической школе им. Ф. Энгельса и в институте им. А. И. Герцена.

В 1931—1932 годах Эйдук учится в аспирантуре Института литературы и языка Коммунистической академии. Летом 1935 года он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Фрейлиграт и Маркс», которая вышла в качестве капитальной, обстоя-

тельной монографии; тут же поступил в докторантуру Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР. И уже начал писать докторскую, тоже масштабное исследование — «Литературное окружение Карла Маркса»...

Но зачем коммунистической партийной власти думающие, образованные люди, которые рано или поздно заговорят о разнице между марксовской теорией и звероподобной сталинской практикой, между марксовым коммунизмом и сталинским застенком? Что бы ни утверждали нынешние оппоненты марксизма, такая разница существует.

Шпион, контрреволюционный заговорщик — фантазия энкавдистов-кагэбэшников больше ничего не могла придумать. 130 шпионов и заговорщиков на 400 писателей!.. Через двадцать лет на каждого из 130 было выдано свидетельство о реабилитации. И почти все родственники получили такие заговские свидетельства о смерти, как его дочь Муза Яновна: «Эйдук Ян Юрьевич... Причина смерти — расстрел...»

Когда в 70-е годы я готовил справочник о писателях Ленинграда, кроме фамилии, мне ничего не было известно о Яне Юрьевиче: его личное дело в Союзе писателей исчезло. А помнить его уже было некому — все его друзья, писатели-латыши, так же, как и эстонцы, финны, немцы, как и десятки русских, были уничтожены. Да и в самом Союзе писателей Эйдук был несколько на отшибе, потому что больше печатался на родном языке, а в последние перед арестом годы основное время отдавал науке.

Латышским поэтом, прозаиком, критиком, как и русским ученым — филологом и литератором, Ян Эйдук стал уже в Советском Союзе. Первый сборник стихов был подготовлен еще в Твери. Его писательская работа продолжалась чуть более десяти лет (ранее была журналистика). За это время, по его собственному свидетельству, он успел выпустить «около десяти книг рассказов, пьес, стихов и научно-исследовательских статей», в том числе сборник стихов «Речи на митингах» (1926), «Осенняя любовь» (1927), стихи для детей «Венок радуг» (1928). Активно выступал Эйдук и как критик, писал о латышских современных литераторах (Артуре Кадикас-Грозном, Судрабе Эджусе, Арайс-Берце и др.), начал большую работу о латышском классике Рудольфе Блаумане.

На русском языке были изданы «Революционный трибунал», «Латышские стрелки», «Фрейлиграт и Маркс». Уже после смерти Сталина и реабилитации произведения Эйдука печатались в Москве (сборник «Перо и маузер»); в Латвии опубликованы его дневники 30-х годов, стихи.

Дочь Эйдука, которую я по совершенно невероятной случайности встретил в 1992 году в Даугавпилсе, вспоминает: «До 1933 года семья жила в Первом Доме Советов, комната 511 (бывший отель «Астория»). Там жили или бывали наездами и часто собирались писатели В. Саянов, М. Чумандрин, С. Маршак, В. Маяковский, А. Фадеев, Ю. Либединский и др. Из латышских писателей частыми гостями были А. Кадикас-Грозный, П. Кикутс. Л. Лайцен жил у нас некоторое время, когда вырвался в 30-х годах из Латвии. Отец вел переписку с Эйдеманом из Москвы, из Москвы приезжал и Судрабкалн Эджус».

Эйдук был убежденным сторонником коммунизма. Его отец был членом волостного распорядительного комитета в 1905 году. Он припрятал пачку революционной литературы, брошюр и листовок, с которыми еще в детстве познакомился будущий писатель. Активную партийную и общественную работу вел Эйдук в Твери, в Латвии. Но, как видно из его биографии, с годами он все меньше и меньше ею занимался и все больше и больше уделял внимания литературе и науке. И ни в каких документах не смогли найти отражение его мысли, его ощущения катастрофы и краха иллюзий...

Владимир Бахтин



Вольф Иосифович ЭРЛИХ

1902 — 1937

Управление КГБ по Ленинграду
20 августа 1994 года

Эрлих Вольф Иосифович, 1902 года рождения, уроженец г. Ульяновска, еврей, гражданин СССР, беспартийный, писатель, член ССП, проживал: Ленинград, ул. Рубинштейна, д. 7, кв. 12 совместно с матерью.

Арестован 19 июля 1937 года НКВД Армянской ССР как «участник троцкистской террористической организации в Ленинграде» в период творческой командировки в г. Ереване и для ведения следствия направлен в Управление НКВД по Ленинградской области (прибыл 10 сентября 1937 года).

Обвинялся по ст. 58-1 «а» (измена Родине), 58-7 (подрыв гос. промышленности, транспорта... в контрреволюционных целях), 58-10 (антисоветская агитация и пропаганда), 58-11 (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления) УК РСФСР.

Постановлением Комиссии НКВД и Прокурора СССР от 19 ноября 1937 года осужден к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 24 ноября 1937 года в Ленинграде.

Определением Военной Коллегии Верховного суда СССР от 4 апреля 1956 года постановление Комиссии НКВД и Прокурора СССР от 19 ноября 1937 года в отношении Эрлиха В. И. отменено, и дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Эрлих В. И. по данному делу реабилитирован.

В архивном следственном деле по обвинению Эрлиха В. И. данных об изъятии каких-либо материалов (личных вещей, переписки и т. д.) не имеется.

В материалах дела есть два заявления от Эрлих Анны Моисеевны (матери В. И. Эрлиха) на имя Генерального прокурора СССР т. Руденко от 10 сентября 1954 года и в Комитет государственной безопасности от 16 сентября 1954 года.

РЕПРЕССИЯ, «ИМЕВШАЯ МЕСТО»...

Я не знаю, будет ли такое время, когда не внуки, нет, а правнуки тех, кто уничтожен сталинскими прислужниками, смогут заглянуть в архивы, на которых в правом верхнем углу выведено крупно «Хранить вечно», и узнают, кто, когда и о чем «извещал» карательные органы относительно имярек. И что за этим последовало. А следовало, как правило, одно: смерть.

Осень 1954 года. Хмурится небо, сыплют холодные дожди, задувают колючие ветры, но для тысяч и тысяч людей, томящихся в ссылке, за колючей проволокой лагерных зон эти дни — своего рода весна: семнадцать месяцев назад на Красной площади похоронен Сталин. И тогда же в душах миллионов узников родилась надежда на скорые перемены. На свободу. Близкие, родственники осужденных на длительные сроки заключения «с правом переписки» или «без права переписки» пишут заявления, едут в Москву, выстаивают в длинных очередях на Пушкинской, 15 — в приемной Прокуратуры СССР.

Женщина с морщинистым лицом, рано поседевшая, не дождавшись приема, оставляет обращение на имя Генерального прокурора Р. А. Руденко, датированное 10 сентября. Аналогичное письмо, только помеченное 16 сентября 1954 года, поступает в Комитет государственной безопасности. И в том, и в другом Анна Моисеевна Эрлих пишет по поводу осуждения своего сына:

«Считаю выводы следственных органов в 1937 году необоснованными и однобокими, так как в квартире у него не был произведен обыск, никого не интересовал его быт и переписка. Меня, как мать, на допрос не вызывали и даже книги его долгое время не были изъяты из употребления».

Тот, о ком она хлопочет, Вольф Эрлих. Поэт.

Надежды на то, что обращение в высокие инстанции могут что-то изменить в судьбе ее сына, вернуть из мест, где он наверное уже много лет томится, скрытый от всех, — это частица всеобщей надежды. Нет у нас документа, содержащего ответ из

Прокуратуры и КГБ, скорей всего было в нем сказано, что «Эрлих Вольф Иосифович, 1902 года рождения, уроженец города Ульяновска, еврей, беспартийный, писатель, член Союза советских писателей, проживавший в гор. Ленинграде совместно с матерью по ул. Рубинштейна, д. 7, кв. 12, осужденный тогда-то (без указания за что), скончался в такой-то (скорей всего — далекой, северной!) области от крупозного воспаления легких, или от сердечной недостаточности (диагноз может быть любым...) такого-то числа».

Но в какую бы форму ни была облечена эта ложь, она уже имела немалый стаж, потому что «точка пули в конце», как писал Маяковский, была поставлена много раньше. И только теперь, спустя полвека, мы об этом узнаем.

Былое уходит и уже ушло в окровавленный песок. Где и как искать его следы?.. И все же они находятся. Из архивных недр извлечена «Характеристика», исходившая из секретариата ленинградской писательской организации и помеченная 4 ноября 1955 года. То ли ее запросили из Москвы в результате заявлений матери поэта, то ли дали ей на руки, а она отослала ее «по принадлежности», но говорится в ней разное.

Четыре абзаца. В последнем четвертом, читаем: «В. И. Эрлих проявил себя... как одаренный поэт, стремящийся в своих стихах отобразить советскую действительность. Многие его стихи написаны в результате поездок по различным районам страны. Много работал В. И. Эрлих с молодыми авторами, был членом редколлегии альманаха «Ленинград». Это, говоря словами одного из чеховских персонажей, «за здравие». Но выше, в начальных абзацах, есть и «за упокой».

«...В первых его стихотворениях и книге о С. Есенине настойчиво звучали мотивы упадочничества и богемы. Одно время В. Эрлих состоял в группе ленинградских имажинистов, затем примкнул к ассоциации пролетарских писателей.

В тридцатых годах им был издан ряд сборников стихотворений («Арсенал», 1931, «Порядок битвы», 1933, «Книга стихов», 1934 и др.). В стихотворениях, вошедших в эти сборники, получили отражение мысли и настроения интеллигента, не свободного от пережитков...»

Эти характеристики подписаны тогдашними секретарями Ленинградского отделения Союза писателей, ответственным — Александром Прокофьевым и «просто» секретарем Анатолием Чивилихиным. С момента смерти Сталина минуло к тому времени более полутора лет, уже прошел XX съезд и прозвучал доклад Н. С. Хрущева о зверствах культа личности. Зачем было исчез-

нувшего, пропавшего много лет назад поэта подвергать еще раз политическому остракизму (впервые это было уже сделано в 1937 году, когда Вольфа Эрлиха клеймили на писательских собраниях, как «замаскировавшегося врага народа»)??

Но как было отказаться от своих верноподданнических чувств в отношении «отца народов» Прокофьеву, который в самый разгар репрессий, в 1938 году призывал:

«Встал народ.
И встала с ним Расплата.
И народ увидел:
он отмщен!
Тем, что ненависть прошла до самых
Тихоокеанских берегов...
...Он отмщен всей родиною храбрых,
Каждым нашим, полным жизни, днем,
Всенародной Сталинскою Правдой,
Светом звезд, взнесенных над Кремлем!»

Когда по всей стране лилась кровь лучших людей, когда бросали в казематы сотни тысяч ни в чем не повинных, сей поэт накалял страсти, и, как истинно правоверный большевик, «поэт из народа» призывал к расплате с большой буквы: «Расплате». И она вершилась.

В справочнике «Писатели Ленинграда. 1934—1981» (Л., 1982) о Вольфе Эрлихе сказано: «Учился на медицинском факультете Казанского университета, вскоре перешел на историко-филологический факультет. В 1921 году перевелся в Петроградский университет, окончил его в 1924 году. Первые стихи были опубликованы в начале 20-х годов. В то время он входил в группу имажинистов, был близок к Есенину, о котором оставил воспоминания. Позднее много путешествовал по стране. Совместно с Н. Берсеневым создал сценарий фильма «Волочаевские дни». Им написан также цикл алагезских рассказов и стихотворные произведения для детей». — Здесь все соответствует истине, кроме одного — даты смерти: «1944».

Вольф Эрлих был убит за семь лет до этого.

Последнее, вышедшее при его жизни, издание называлось «Необычные свидания друзей» (Л., 1937). Спустя годы, 4 апреля 1956 года, «Определением Военной Коллегии Верховного Суда СССР постановление Комиссии НКВД и Прокурора СССР от 19 ноября 1937 года в отношении Эрлиха Вольфа Иосифовича отменено и дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Эрлих В. И. по данному делу реабилитирован».

Я помню этого человека. Встречал его в Доме писателя имени В. В. Маяковского, иногда перебрасывался с ним какими-то фразами,— о чем, сейчас уже не вспомнить. Но выступления его запомнились. Небольшого роста, с тонкой талией, перетянутой ремешком, в длинной, почти до колен темной рубашке кавказского покроя, он, выступая, не становился на трибуну, из-за которой был бы виден еле-еле, а стоял рядом. Смугловатый, с короткой стрижкой на круглой голове, он, ввязываясь в спор, азартно жестикулировал и звонким молодым голосом бросал отрывистые фразы с большими паузами, так, точно читал стихи.

Сквозь плотную пелену прошедшего ясно вижу его живую улыбку, слышу горловой смех... Где покоится его прах, не знаем и не знает никто. В письме Управления Комитета государственной безопасности СССР по Ленинградской области, адресованном в ленинградскую писательскую организацию, говорится:

«По имеющимся данным жертвы репрессий, имевших место в 30—40-х и начале 50-х годов, начиная с лета 1937 года, захоранивались в районе поселка Левашово Выборгского района Ленинграда».

О творчестве поэта Вольфа Эрлиха, о его жизни вспомнили в 1963 году. Была издана книга «Стихотворения и поэмы». А много раньше, в 1937 году, издательство «Советский писатель» выпустило книгу стихов Эрлиха «Необычайные свидания друзей». В ней есть такие строки:

Ночь широкая нависла.
В ней — мой шар земной.
Золотые всходят числа
Над его водой.
Пауки прядут на кленах
Теплой ночи нить.
На земле моей зеленой
Так прекрасно жить.

Теперь, когда читаешь эти слова, они воспринимаются трагически: жить поэту оставалось всего несколько недель. Вынесенный ему смертный приговор был приведен в исполнение 24 ноября 1937 года.

Вечная ему память.

Захар Дичаров



**Осип
Иванович
ЮРКУН**

1895 — 1938

Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28—517
Ленинград

Юркун Осип (Юрий) Иванович. 1895 года рождения, уроженец д. Седунцы, Гелванской вол., Виленской губ, литовец, гражданин СССР, беспартийный, писатель, проживал: Ленинград, ул. Рылеева, д. 17/19, кв. 9

жена — Гилдебрант-Арбенина Ольга Н., 37 лет, проживала: Ленинград, Дегтярный пер., д. 6, кв. 4.

Арестован 3 февраля 1938 года Управлением НКВД Ленинградской области.

Обвинялся по ст. 58-8 (террористический акт), 58-11 (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления) УК РСФСР.

20 сентября 1938 года Военная Коллегия Верховного суда СССР приговорила Юркуна О. И. к высшей мере наказания.

Расстрелян 21 ноября 1938 года в Ленинграде.

Определением Военной Коллегии Верховного суда СССР от 22 марта 1958 года приговор Военной Коллегии Верховного суда СССР от 20 сентября 1938 года в отношении Юркуна О. И. от-

менен, и дело, за отсутствием в его действиях состава преступления, прекращено.

Юркун О. И. по данному делу реабилитирован.

ПЕРОМ И КИСТЬЮ

О жизни Юркуна (Юркунаса) Юрия (Осипа) Ивановича сохранилось мало сведений. Мы знаем только, что он родился 16 сентября 1895 года в местечке Седунцы Гелванской волости, Виленской губернии, да и то из справки КГБ о его реабилитации. Знаем, что он литовец, т. е. по нынешним временам — «писатель русскоязычный», что он «гражданин СССР». Последнее в справке оговаривалось особо, ибо на момент ареста Юркуна Литва, как, кстати и теперь, являлась государством иностранным.

Из воспоминаний современников Юркуна известно, что Юркун еще юношей перебрался в Киев, где служил в военном оркестре и где его встретил и узнал Михаил Кузмин и то ли в 1913, то ли в 1914 году привез в Петербург. Кузмина, видимо, привлекла творческая натура восемнадцатилетнего юноши, еще не нашедшего места в жизни. Послушав рассказы Юркуна о своей жизни с их выраженной ясностью изложения, он увидел в нем потенциального литератора. Правда, к 1914 году, Юркун уже нашел свое признание: к этому времени он написал некоторые свои произведения. В его сборнике «Рассказов, написанных на Курской улице...», вышедшем в 1916 году, есть рассказы «Неизвестная машина» и «Стелло Курти», помеченные 1913-м годом. В 1914 году вышел сборник М. Кузмина «Глиняные голубки». Книгу эту Кузмин подарил младшему собрату с автографом: «Единственному Юрочке, любимому, первый экземпляр книги, радуясь, что она выйдет вместе с его «Шведскими перчатками». Любящий его М. Кузмин. 1914 г.»

«Шведские перчатки» вышли с предисловием Кузмина: «Мне приходится говорить о совсем новой книге не потому, что она нова... Книга эта потому нова, что до сих пор такой не было...»

Действительно, роман (а при более точном определении — повесть) считается автобиографическим. Его герой, четырнадцатилетний гимназист Иосиф (Юзек), проводит время в мечтах о самостоятельной взрослой жизни, влюбляется в знакомых девушек; вместе с тем выступает на сцене, уезжает из дома, начинает сам зарабатывать на жизнь. Не следует забывать, что автору в ту пору было всего лишь восемнадцать.

Я пытался извлечь нечто автобиографическое из романа. Но его оказалось не так уж много. Вот портрет мальчика, о котором вспоминает семнадцатилетний герой (не автопортрет ли это?): «Вижу я мальчика, худенького, бледного, с очень девичьим лицом, на которого возлагались большие надежды (родителями, вероятно.— *Е. Б.*), там далеко в провинции, очень далеко... Сидит он над обрывом, поле внизу стелется белою бумагою, он мечтает сделаться большим актером... Забавный эгот мальчик: он мне как будто родня, я его люблю очень, он мечтал о многих простых маленьких вещах, такой скромный!.. Я бы его обнял, прижал к сердцу, но его нет».

Писателя Юркуна заметили сразу. «Заглавие иносказательно и требует объяснения,— прояснил ситуацию критик «Русских записок».— Шведские перчатки допустим не первой свежести; они так легко чистятся, что обычно их носят слегка поношенными; знаешь, что они были чисты, но редко видишь их такими. О такой юности, чистой и не чистой, о начале поношенности человеческой взялся рассказать г. Юркун» (1914, № 1, стр. 403). «Такая милая книжка! — восклицала рецензентка «Утра России». «С нежной и грустной улыбкой читается эта бесхитростная история о мальчике, о юноше, извивными тропами выходившем на широкую дорогу жизни... Очень уж много в этой книге молодой ласки к людям, немножко юмора...» «Искренность тона, придающая произведению несколько интимный характер, подкупает читателя с первых страниц,— как бы дополняет характеристику книги критик «Нового времени»,— и заставляет интересоваться похождениями юного Иосифа; интересно очерчен и ряд молодых и зрелых грешниц, опутывающих его своими сетями» (Бюллетени литературы и жизни, 1914, № 11, стр. 286—287).

Понравился роман и друзьям художника К. А. Сомова. 8 марта 1915 года он записал в дневнике: «Вечером пришел Валечка (Нувель.— *Е. Б.*)... и Нунок. Принесли мне «Шведские перчатки» Юркуна, книгу, которая им очень понравилась своей молодостью, искренностью и наблюдательностью, несмотря на корявый неграмотный стиль...». И 24 марта по прочтении романа: «Интересный документ — искренний и нежный. Едва ли из этого Юркуна выйдет писатель. Вероятно, это будет единственная его книга...» * Сомов тоже, по-видимому, принял роман за автобиографию и пришел к выводу, что автор лишен дара сочинительства.

* *К. А. Сомов. Письма. Дневники. Суждения современников. М., 1979, стр. 142.*

Неправы были В. Нувель и А. Нунок. В действительности будто бы неправильный язык Юркуна присущ только «Шведским перчаткам». Им он просто характеризовал «не русскую» жизнь героев (Иосиф — литовец, дядя Бонифаций — поляк и т. д.). Но не прав был и Сомов. Почти одновременно с этим романом вышла третья книга «Петроградских вечеров», где была напечатана другая повесть Юркуна «Серебряное сердце». В ней нет ничего автобиографического. Ее проза вполне литературна, лаконична, образна. События только обозначатся, намечатся, как тут же прерываются. Остальное автор предоставляет фантазии читателя. Его образы емки, наблюдательность — точна.

Этой повестью открывалась вторая книга Юркуна — сборник «Рассказов, написанных на Кировной улице, в доме под № 48». Посвящения рассказов дают представление о круге общения Юркуна того времени. «Серебряное сердце» посвящено М. Кузмину, «Катарина» — Рюрику Ивневу, «В защиту нравственности» — Е. М. Миклашевской, «Неизвестная машина» — Георгию Иванову, «Маленькая барышня» — Юрию Слезкину, «Последние ноты певицы Арто» — художнику Борису Григорьеву, «Сила любви» — О. А. Глебовой-Судейкиной, цикл «Столичные сцены» — Георгию Адамовичу и т. д. Начинающий писатель вращался в широком кругу таких же молодых, но достаточно известных литераторов и художников.

Под романом «Дурная компания» стоит дата «1914/15 г.», на обложке — «изд. «Фелана», 1918 г.», на титуле — «Петроград, 1917». В нем повествуется о любви Янека Пичунаса к дочери вахмистра Марии Эрнестовне, о графине-проститутке Иозефине Ираклиевне и горбуне, «их превосходительстве, уродливом действительном статском советнике» и прочих персонажах, чьи судьбы сплетены в замысловатый клубок. Посвящен роман художнику С. Ю. Судейкину, а проиллюстрировал его Юрий Анненков.

Это лучшее из известных произведений Юрия Юркуна. Запоминается сочный и образный язык, занимательный сюжет, прекрасно написанные портреты действующих лиц. Вот хотя бы один из них, того самого «уродливого действительного статского советника»:

«Перед шкапным зеркалом в освещенной электричеством спальне, сидит на низком стуле для лилипутов, в длинной, белой ночной с кружевами рубашке, горбатый урод. Черты его лица непомерно резки и огромны, что-то лошадиное проглядывается в них. В лице нет определенной отталкивающей неприятности, наоборот, есть какая-то занятость в крупности рта и отдельной оттопыренности в меру коричневых губ. Волосы с яркой проры-

жью разбросаны в пробор, какой принято звать «безукоризненным». И чем упорнее обладатель этого пробора старается своему чудаковатому лицу придать строгую мину, тем уморительней выглядит линейка, обнаруживающая белую перхоть, выбивающуюся из-под набриолиненных волос».

Писателя Юрия Юркуна никто из читателей уже не знает, ибо его перестали печатать с 1923 года, а те книги, о которых я пишу есть не в каждой библиотеке (в Российской национальной библиотеке, к примеру, они имеются в единичных экземплярах). Позволю себе привести монолог о любви: «Над любовью смеяться смертельный грех. Это чувство огромнее Исаакиевского собора, это — горящая смола, это — целая Москва с золочеными крестами, бульварами, лужами, парками и лавочками... Любовь огромна, таинственна, всесильна и в то же время беспомощна, слаба, как дитя; как дитя — проста и наивна, и благодаря этому может кой-кому показаться глупой и смешной. Красота и любовь реже совмещаются, чем любовь и безобразие...»

Роман написан с тонким юмором, в нем ясно ощутимы элементы гротеска и фантастики, точнее — фантасмагории.

Под одной обложкой с «Дурной компанией» напечатана небольшая повесть «Клуб благотворительных скелетов», подписанная «сентябрем 1915 г.». Она еще более фантасмагорична, чем «Дурная компания»: ожившие скелеты, объединившиеся в клуб, хотят наставить на путь истинный временно здравствующих. Большинство из попыток неудачны. Последняя — облагоразумить «утопшую в плотских утехах» девицу Мишу, за что берутся два самых стойких члена клуба.

Книга, пришедшая к читателям в 1917 или 1918 году, не была замечена критиками. Как не был опубликован и новый роман Юркуна «Туман за решеткой», объявленный анонсом «Дурной компанией», где под рубрикой «готовится» перечислены все книги писателя, в том числе и «Туман».

Правда, один отклик на «Дурную компанию» через несколько лет дошел до Юркуна. Он был тем более драгоценным, что исходил от Бориса Пастернака, только что выпустившего сборник стихотворений «Сестра моя жизнь» и повесть «Детство Люверс»: «...я прочел Вашего причудливого и чудного Пичунаса, — писал ставший уже известным Б. Пастернак Юркуну в июне 1922 года, — который, конечно, ближе и роднее мне сегодняшней и вчерашней, майской и мартовской, Московской и Петроградской, временной и местной и потому разумеется — несвоевременной, ведущей сомнительное существование (появляется, не составляя явления), «художественной» прозы...»

Эта весточка принесла Юркуну отраду. М. Кузмин записывал 22 июня в дневнике: «Юр(кун) сидит в дыму и пишет письмо Пастернаку». И на следующий день: «Юр(кун) все толкует о Пастернаке, самоотверженно забывая, что сам гораздо лучше, в сотни раз, его...» *

Вместе с двумя революциями и гражданской войной жизнь резко переменялась. Голодающие писатели сходились в теплом Доме литераторов, где устраивались чтения и обсуждения новых произведений и где в столовой можно было получить казенную кашу и чай. «В ту зиму мне очень часто пришлось встречать Кузмина, — вспоминает И. Одоевцева. — Он всегда приходил с Юрочкой Юркуном, красивым и удивительно молчаливым. А вскоре к ним присоединилась и Олечка Арбенина, молодая актриса, подруга жены Гумилева Ани Энгельгардт. Прежде Олечка находилась в орбите Гумилева и часто сопровождала его, пока под новый 1921 год не познакомилась с Юрочкой Юркуном и не стала неотъемлемой частью окружения Кузмина. С тех пор они всюду и везде появлялись втроем...» **

Их быт усугублялся еще тем, что у Кузмина имелся «пунктик» — он не позволял делать продовольственных запасов. Одоевцева же вспоминает о случае, когда мать Юркуна, ведавшая их общим «хозяйством», выменяла что-то из своего гардероба на сахар и подсолнечное масло, «но Кузмин тут же, несмотря на ее слезы и мольбы, вылил масло в раковину умывальника, оставив только одну бутылку, и, выйдя на улицу, раздарил встречным ребятам сахар — кроме одного фунта. Фунт не представлял собой запаса».

А между тем круг общения сокращался. Многие литераторы убегали от невзгод. Думали ненадолго, а оставались за границей навсегда. «Только не слишком засиживайтесь там, — говорил им на прощание Кузмин... по-настоящему дома можно чувствовать себя только в Петербурге!» Вероятно, полностью с ним был солидарен и Юркун. Они остались.

Возле них стал образовываться кружок молодых людей, в который вошли поэты Константин Вагинов и Анна Радлова, драматург и переводчик Адриан Пиотровский, театральный режиссер Сергей Радлов, художник Владимир Дмитриев. Они выработали теорию эмоционализма, начали выпускать альманах «Абраксас». Объяснение столь странного названия дал читателям критик А. Тиняков в рецензии на альманах: «Гностик Васи-

* См.: «Вопросы литературы», 1981, № 7, стр. 226—228.

** И. Одоевцева. На берегах Невы.— М., 1988, стр. 287.

лид обозначал словом Абракас совокупность 365 мировых творческих сил. Если вместо каждой греческой буквы в Абракасе подставить ее числовое значение, то получится как раз 365». Инициатором и основным автором «Декларации эмоционализма» был, вероятно, Кузмин, ибо ее основные положения чуть ли не дословно повторяют его статью «Эмоционализм и фактура», напечатанную еще в декабре 1922 года в газете «Жизнь искусства» (№ 51). Но под «Декларацией» стоят также подписи А. и С. Радловых и Юр. Юркуна. Некоторые ее положения таковы:

«1. Сущность искусства — производить единственное действие через передачу в единственной неповторимой форме единственного неповторимого эмоционального восприятия.

...5. Эмоционализм знает, что страстная влюбленность художника в материал его искусства есть лишь способ эмоционального познания мира...

...9. Не существует ни прошедшего, ни будущего вне зависимости от нашего, всеми силами духа эмоционально воспринимаемого священнейшего настоящего, на которое и направляется искусство...» («Абракас», вып. 3 (и последний). П., 1923).

Уже о первом выпуске альманаха, где у Юркуна был напечатан рассказ «Игра и игрок», А. Пиотровский писал в рецензии: «В центре сборника — стихи Кузмина, Радловой, Вагинова и рассказ Юркуна. Эта группа объединена не случайно, хотя и выступает вместе, как кажется, впервые... Художники эти образуют течение любопытное и по существу своему и формально. Сосредоточенное внимание к участи души человеческой, своеобразный гностицизм роднит их. Александрийская гностическая мудрость Кузмина, более элементарная, более национальная окраска ее у Радловой, немножко от Достоевского идущий психизм у Юркуна, у Вагинова совсем еще молодого, страшная взволнованность души...» (Жизнь искусства, 1922, № 47, с. 7).

В начале двадцатых годов еще несколько произведений Юркуна печатаются в различных альманахах. Своей авторской книги у него уже не будет, не выйдет и объявленный роман «Туман за решеткой». Правда, во втором выпуске «Абракаса» (ноябрь 1922 года) напечатаны два его рассказа — «Петрушка» и «День в балетном училище», которые прокомментированы следующим образом: «Помещенные здесь две главы, составляют часть большой повести «Туманный город». Юр. Юр.» Кузмин в «мыслях для себя» «Чешуя в неводе», опубликованных в третьем «Стрельце» (СПб., 1922), постоянно возвращается к этому роману-повести Юркуна, причем говорит о ней, как о вещи вполне завершен-

ной: «Туманный город» Юркуна — вещь, о которой мечтал бы Брюсов, но на которую у него никогда не хватило бы пороху» (стр. 98). И снова Кузмин возвращается к прозе Юркуна в статье «Письмо в Пекин»: «Вихревой блеск описаний, восторженная нежность к жизни, природе и людям, патетизм лирических рассуждений, эмоциональность фабулы и способность показывать каждый предмет, каждое слово со всех сторон, в трех измерениях — еще не оцененные достаточно свойства прозы Юр. Юркуна, может быть, наиболее своеобразной из современной». (Абракас, вып. 2, Пг., 1922, с. 60).

Сергей Радлов упоминает еще одно произведение Юркуна:

«Прекрасным примером высокой театральности служит для меня еще не увидевшая сцены пьеса Юр. Юркуна «Маскарад слов». Для поверхностного суждения это типичный пример засилия слова над театром; очень мало «фабулы» и очень много «разговоров». Но в том-то и дело, что слово проплавлено и пропущено здесь сквозь актера, что своеобразный синтаксис здесь повелительно диктует определенный ритм дыхания говорящих, а следовательно, и определенный ритм жеста...» (Абракас, вып. 1. Пг., 1922, стр. 55).

Перечислю из еще не названного, но напечатанного, а потому — сохранившегося. Это рассказ «Софья-Доротея» (Часы. Час первый. Пг., 1922) и «Повесть о многомиллионном наследстве» (Абракас, вып. 3, Пг., 1923).

Встреча Юркуна с Ольгой Гильдебрант-Арбениной, ради живописи оставившей сцену, изменила его жизнь. Юркун тоже начал рисовать.

Вспоминая ту пору, Ольга Николаевна писала, что Юркун «конечно, нигде не учился. Милашевский — злоязычный — к Юркуну отнесся тепло и любовно. Мне лично как-то даже назвал его «гениальным» — в самом «дионисийском смысле», т. е. в полном кавардаке всех представлений. Об этом свойстве Юркуна точно так же отнесся еще один человек — творческий, но не знаю, как представить его. Помню, как-то Осмеркин, увидев, как Юркун рисует, воскликнул: «Юра, какая у тебя правильная и смелая линия!» — тот ответил: «Саша, ведь я не на трупах учился!..» Рисовать он начал в 1922 году. Один рисуночек похвалил Сомов... Знакомых художников было много, со многими он «менялся» то гравюрами, то вырезками, то оригиналами... Юрий Иванович был в хороших отношениях с Маяковским (но как будто не по линии живописи, а только литературы). До знакомства со мной виделся и был дружен с Судейкиным (тот делал его портрет), с Анненковым...»

«Это художник или писатель — Юрий Юркун? — восклицал В. Милашевский. — Юрий Юркун есть Юрий Юркун. Прежде всего он Юрий Юркун. Замечательная проза, рисунки, философия, и коллекционерство — это эманация его личности... Коллекционерство Юркуна не имеет меркантильных целей... Рисунки Юркуна содержат всегда какой-либо рассказ, придуманный автором во время исполнения вещи...»

Именно Милашевский, петербуржец, перебравшийся в Москву, и был инициатором приглашения в 1929 году Юркуна и Гильдебрандт принять участие в столичной выставке. А так как собралось тринадцать художников, то и назвали они свою группу «Тринадцать». Юркун дал пять своих работ, Гильдебрандт — семь. О выставке писали много и хорошо, хвалили многих. О Юркуне и Гильдебрандт — ни слова. Многие работы были приобретены музеями и коллекционерами — у всех, кроме Юркуна. Может быть, поэтому он больше никогда не выставлялся. Ольга Николаевна участвовала еще в двух экспозициях «Тринадцати».

Кружок «эмоционалистов» распался. Теперь в их доме чаще собирались художники. Молодой, начинающий тогда искусствовед Владимир Петров весьма образно описал «захламленную и тесную коммунальную квартиру» на пятом этаже дома по улице Рылеева (бывшей Спасской), где проживали Кузмин и Юркун с семейством:

«Кузмин вместе с Юрием Ивановичем Юркуном занимал две комнаты с окнами во двор. Одна из них была проходной — та самая, где работал Михаил Алексеевич и главным образом шла жизнь. Хозяева там писали, рисовали и музицировали, там принимали гостей... Во второй комнате скрывалась старушка Вероника Карловна, мать Юркуна. Гости туда не допускались.

...Жизнь шла открыто. Каждый день от пяти до семи приходили гости. Они являлись без приглашения и могли приводить с собой своих знакомых. Михаил Алексеевич сидел за самоваром и разливал чай... Вместе с ним принимали гостей Юрий Иванович Юркун, моложавый и красивый, как Дориан Грей, и Ольга Николаевна Гильдебрандт-Арбенина, жена Юркуна» *.

23 марта 1936 года Михаил Кузмин скончался. Юркуна почитали его сыном, отдали ему кузминские авторские права. А менее чем через два года его арестовали по «писательскому делу». Его товарищами по несчастью оказались Бенедикт Лившиц, Валентин Стенич и Вильгельм Зоргенфрей.

* См.: панорама искусств, вып. 3. М., 1980. стр. 143—144.

Чья фантазия объединила эту четверку вместе? Каким манером занесло Юркуна, не печатавшегося уже почти двадцать лет, в «писательское дело»? Его арестовали 3 февраля 1938 года. Обвинялся он (собственно, как и все они) по статьям 58-8 (террористический акт) и 58-11 (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления). 20 сентября Военная Коллегия Верховного суда СССР приговорила их к высшей мере наказания. Этот день и отмечался О. Н. Гильдебрандт как день гибели Юрия Ивановича. Но расстреляли их на следующий день 21 сентября.

10 октября 1938 года Ольга Николаевна писала В. Д. Бонч-Бруевичу, тогдашнему директору Литературного музея, еще в 1934 году купившего у М. Кузмина часть его архива, о судьбе оставшегося после него литературного наследия, сгинувшего вместе с рукописями Юркуна: «...оставшиеся после смерти Кузмина рукописи были переданы решением суда проживавшей с ним в одной квартире В. К. Амброзевич (она была в течение многих лет его домохозяйкой и иждивенкой), а душеприказчиком был назначен ее сын, писатель Юрий Юркун... Сейчас положение такое: Юркун был арестован в феврале этого года; мать его умерла; в данное время он выслан и имущество его конфисковано... Разрешите мне перечислить хоть приблизительно то, что, по моим сведениям, было вывезено из квартиры вместе с библиотекой:

1) Рукопись мемуаров Кузмина.

2) Рукопись исторической драмы «Нерон» и целый ряд ненапечатанных стихов и прозы, и черновики.

3) Часть кузминского архива (письма, рецензии, фотографии).

4) Рукописи Юркуна (воспоминания о Маяковском и Кузмине, пьесы и рассказы)...»

В надежде, что Бонч-Бруевич сможет выручить хотя бы рукописи, она сообщает точную дату: «Конфискация библиотеки и архива была произведена 8 октября 1938 года» *.

С тех пор о Юрии Юркуне забыли, даже Ольга Николаевна не любила расспросов о нем, о тех временах.

А еще через двадцать лет определением Военной Коллегии Верховного суда СССР он был реабилитирован. Но его наследие до сих пор не собрано. Правда, в 1990 году на конференции, посвященной Михаилу Кузмину, в последний день, 17 мая, Татьяна

* Цит. по сообщению С. В. Шумихина «Дневник Михаила Кузмина: архивная предистория» на Кузминской конференции в Ленинграде (16.05.90).

Никольская сделала доклад, посвященный творчеству Юрия Юркуна, и одновременно в Фонтанном доме впервые экспонировалась персональная выставка его работ, часть сохранившейся его коллекции. Может быть, это станет началом возвращения в историю русской культуры оригинального писателя и художника Юрия Юркуна*.

Евгений Биневиц

* В 1995 году в Санкт-Петербурге в издательстве «Азбука» вышла книга: «Дурная компания» Юрия Юркуна.

В былые времена записные ораторы любили щегольнуть фразой: «Есть у Революции начало — нет у Революции конца». История доказала обратное: мы — свидетели бесславного конца Революции. Но история рабски раздавленного народа конца не имеет. Мы работаем над серией «Распяты. Писатели — жертвы политических репрессий» уже не первый год, и все время выявляются новые и новые имена подвергшихся сталинскому насилию. Не сказать о них слово памяти нельзя. И поэтому, даже в нарушение принятого нами алфавитного порядка, мы помещаем в конце этого раздела имя писателя Бориса Брика.



**Борис
Ильич
БРИК**

1903 — 1942

Министерство
Государственной безопасности РФ
28 сентября 1993 года
№ 10/16—10807

Брик Борис Ильич, 1903 года рождения, уроженец Санкт-Петербурга, еврей, образование высшее, беспартийный, женат, гражданин СССР, литератор-драматург, проживал по адресу: Ленинград, ул. Глухозерская, д. 19, кв. 2.

Арестован 4 января 1931 года ПП ОГПУ в ЛВО по обвинению в пр. пр. ст. 58-10 УК РСФСР (контрреволюционная агитация и пропаганда).

Постановлением Тройки ПП ОГПУ в ЛВО от 20 февраля 1931 года определено заключение в концлагерь сроком на 10 лет.

По заключению Прокурора Ленинградской области от 26 июля 1989 года Брик подпадает под действие ст. 1 Указа ПВС СССР от 16 января 1989 года и о дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30—40-х и начала 50-х годов, т. е. реабилитирован.

ГОВОРИТ СУДЬБА

«Брик получил прочную известность в литературе как поэт-переводчик, специализирующийся на грузинской литературе, как классической, так и современной...» — писал Всеволод Рождественский.

«За сочинение и распространение пасквильных произведений о вождях партии и всей системы советского государства», — говорилось в предъявленном Брику обвинении при аресте. В этом суть всех дальнейших преследований Бориса Брика советской властью. 5 мая 1942 года в г. Мариинске близ Новосибирска Брик был расстрелян по постановлению Особого Совещания при НКВД СССР...

Борис Брик родился 29 декабря 1903 года. Его отец — крещеный еврей, мещанин г. Нарвы Илья Осипович Брик, мать — Елена Осиповна. Оба родителя были музыкантами: отец — артист Государственной филармонии, преподаватель Консерватории, мать с начала 1920-х годов — профессор Ленинградской консерватории.

После революции и временного переезда семьи из голодного Петрограда в Воронеж Брик заканчивает в 1919 году 18-ю советскую трудовую школу 2-й ступени. Романтика народного бунта, поэзия и журналистика увлекают его. Борис вступает в Воронежский коммунистический союз журналистов, состоит в Воронежской организации РКСМ, служит в политотделе 8-й армии информатором информационно-статистического отдела, сотрудничает в газетах «Воронежская коммуна» и «Воронежская беднота», работает в отделе военной цензуры Реввоенсовета цензором печати.

Весной 1920 года Брик вернулся в Петроград и был зачислен студентом на этнолого-лингвистическое отделение факультета общественных наук Петроградского государственного университета.

В ноябре 1925 года Бориса Брика призывают в Красную Армию, но уже в январе 1926 года за три самовольные отлучки его осудили к 6 месяцам лишения свободы. В апреле Брик был освобожден досрочно, однако через неделю снова арестован за то, что «занимался распространением стихотворений контрреволюционного содержания и пасквилями на вождей революции».

В мае 1926 года Брик был освобожден и снова вернулся в свой полк, где прослужил до апреля 1927 года, демобилизовался и уехал в Полтаву с женой Александрой Михайловной и годовалым сыном Валерием.

В 1930 году Борис вернулся в Ленинград и был принят в Общество драматических писателей. Он пытался сотрудничать с Театром сатиры, мюзик-холлом, но от представленных им вещей отказались.

В конце ноября 1930 года Брик читает в Доме печати в узком кругу полужнакомых литераторов стихотворение. Одна из его слушательниц припомнила на допросе в ОГПУ его слова: «Я прочту вам произведение из тех, кои мной пишутся для души и едва ли когда-либо попадут в печать».

Брика арестовали в ночь на 4 января 1931 года как автора «антисоветских произведений, каковые и распространяет». Постановлением Тройки ПП ОГПУ в ЛВО от 20 февраля 1931 года Борис Брик был осужден к 10 годам лагерей и направлен в Соловецкий лагерь ОГПУ (г. Кемь).

После освобождения Брик, не поставив в известность органы ОГПУ, уезжает в Грузию. Там он занимается переводами современных и классических поэтов: Тициана Табидзе, Симона Чиковани, Галактиона Табидзе, Акакия Церетели, Ильи Чавчавадзе. Вскоре в «Библиотеке «Огонька» выходит сборничек «Поэты Советской Грузии в переводах Бориса Брика». Затем выходят: сборник «Поэты Крыма в переводах с татарского Бориса Брика и Арсения Тарковского», перевод поэмы азербайджанского поэта Джабарлы «Девичья башня», ряд оригинальных стихов и переводов в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Звезда», «Литературный современник».

В 1938 году Брик издает сборник переводов стихов Ильи Чавчавадзе и собственную поэму «Василий Чапаев», а в 1940 году — поэму «Шамиль».

В июне 1940 года Брик награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Грузинской ССР «За успешные переводы стихов и поэм классического поэта Грузии Акакия Церетели».

Он мог бы все предвидеть, ведь недаром как-то обмолвился, что печатать свои стихи больше не отдаст: «да их и не напечатывают...» Большой террор вроде бы обошел его стороной, но, оказалось, все его высказывания тщательно фиксировались агентами, передавались «куда следует» и дожидались своего часа.

2 сентября 1941 года Борис Брик был снова арестован органами НКВД у себя на квартире в Доме литераторов (канал Грибоедова, 9). В постановлении на производство обыска и ареста значилось: «Являясь враждебно настроенным к советской власти, в течение ряда лет проводит среди своего окружения антисоветскую агитацию., подвергает критике с враждебных позиций

советскую действительность, допускает клеветнические выпады против руководителей партии и правительства., сочиняет и популяризирует среди молодых поэтов стихи антисоветского содержания... Во время выборов в Верховный Совет СССР и Верховный Совет РСФСР Брик в голосовании участия не принимал. Расценивая с антисоветских позиций эту компанию, заявил: «Я в этой комедии принимать участия не буду».

Его допросили лишь раз в Ленинграде. 4 сентября 1941 года, в связи с блокадой города, Брик был эвакуирован в Новосибирск. И только в декабре того же года прибыл в тюрьму № 2 УНКВД по Новосибирской области.

5 мая 1942 года Брика не стало, 24 июня 1989 года Борис Брик был реабилитирован посмертно Прокуратурой Ленинграда.

Станислав Бернев

СОДЕРЖАНИЕ

Работа над серией должна быть продолжена. <i>Даниил Гранин</i>	3
Возмездие?.. Но — кому? <i>Захар Дичаров</i>	5
Юлий Соломонович Берзин	25
Леонид Павлович Карасев	27
Александр Гервасьевич Лебеденко	29
Екатерина Михайловна Макарова	31
Сергей Арсеньевич Малахов	33
Владимир Павлович Матвеев	35
Крест Владимира Матвеева. <i>Владимир Гладышев</i>	36
Павел Николаевич Медведев	43
Посмертно реабилитирован. <i>Юрий Медведев</i>	44
Александр Иосифович Моргулис	49
Евгения Яковлевна Мустангова	51
Ее прозвали «Мустангом». <i>Захар Дичаров</i>	53
Ида Моисеевна Наппельбаум	60
Ида Наппельбаум — свидетель эпохи. <i>Михаил Рутман</i>	—
Керотта Александровна Нуортева	66
Цветок упал... <i>Захар Дичаров</i>	—
Текки Одулок (Николай Иванович Спиридонов)	83
Первый среди юкагиров. <i>Захар Дичаров</i>	84
Юлиан Григорьевич Оксман	90
Возвращение. <i>Ксения Богаевская</i>	92
Николай Макарович Олейников	98
О Макаре Свирепом. <i>Евгений Биневиц</i>	99
Дмитрий Константинович Остров	107
«Без меня народ не полный...». <i>Елена Вечтомова</i>	108
Дмитрий Остров. <i>Захар Дичаров</i>	113
Адриан Иванович Пиотровский	115
Три этюда о неистовом Адриане	117
Этюд первый. <i>Захар Дичаров</i>	—
Этюд второй. <i>Лиана Ильина</i>	122
Этюд третий. <i>Иосиф Хейфиц</i>	125
Николай Николаевич Пунин	128
Немятежный мятежник. <i>Ирина Пунина</i>	130
Леонид Николаевич Радищев	140
Тезка. <i>Леонид Рахманов</i>	141

Георгий Израилевич Саволайнен	145
Николай Григорьевич Свири	147
Алексей Дмитриевич Скалдин	149
Незнаемый, забытый... <i>Татьяна Царькова</i>	150
Алексей Артемьевич Соловьев	153
Парень с Волыни. <i>Лиана Ильина</i>	154
Григорий Эммануилович Сорокин	159
Сергей Дмитриевич Спасский	162
Александр Осипович Старчаков	164
Валентин Осипович Сметанич-Стенич	166
Анатолий Дмитриевич Сысоев	168
За что судили Анатолия Сысоева. <i>Захар Дичаров</i>	169
Елена Михайловна Тагер	174
Слово о моей матери. <i>Мария Тагер</i>	175
Даниил Иванович Ювачев-Хармс	183
Человек с абсолютным вкусом и слухом. <i>Евгений Биневиц</i>	184
Документы и судьбы. <i>Анатолий Александров</i>	191
Давид Константинович Чертков	196
Свидетельство очевидца. <i>Захар Дичаров</i>	198
Борис Дмитриевич Четвериков	205
Из прочного, долговечного рода. <i>Наталья Четверикова</i>	206
Александр Степанович Чистяков	211
Александр Афанасьевич Шабанов	213
Алексей Матвеевич Шадрин	215
Георгий Иванович Шилин	218
Зелик Яковлевич Штейнман	219
Мы встретились на Севере. <i>Захар Дичаров</i>	220
Хаим Соломонович Штейнсон-Ленский	224
Смертный сверстник Пушкина. <i>Захар Дичарова</i>	—
Ян Юрьевич Эйдук	229
Жизненный путь Яна. <i>Владимир Бахтин</i>	230
Вольф Иосифович Эрлих	233
Репрессия, «имевшая место...» <i>Захар Дичаров</i>	234
Осип Иванович Юркун	238
Пером и кистью. <i>Евгений Биневиц</i>	239
Борис Ильич Брик	250
Говорит судьба. <i>Станислав Бернев</i>	251

Литературно-художественное издание

Распятые

**Писатели —
жертвы
политических
репрессий**

Автор-составитель
Захар Львович Дичаров

Выпуск 3

ПАЛАЧЕЙ СУДИТ ВРЕМЯ

Зав. редакцией *В. В. Винокурова*
Обложка художника *Л. Г. Епифанова*
Художественный редактор *В. Б. Михневич*
Техническое редактирование
и компьютерная верстка *А. Б. Этиной*
Компьютерный набор *Г. В. Гордеевой*

Лицензия ЛР № 010001 от 10.10.96.

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор про-
дукции ОК 005-93-953000. Подписано в печать с оригинал-
макета 20.02.98. Формат 84 × 108 $\frac{1}{32}$. Бумага офсетная. Гар-
нитура Таймс. Офсетная печать. Усл. печ. л. 13,44.

Уч.-изд. л. 13,73. Тираж 3000 экз. Заказ № **3135**

Отделение ордена Трудового Красного Знамени издательства
«Просвещение» Государственного Комитета Российской
Федерации по печати. 191186, Санкт-Петербург,
Невский пр., 28.

Тип. газ. «На страже Родины»